

CAHIERS PERIODIQUES
(3e cahier : Mai 1949)

ВОЗРОЖДЕНИЕ

*Литературно-политическія
тетради*

под редакціей

И. И. ТХОРЖЕВСКАГО

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Май 1949 года.

ПАРИЖ

Editions « LA RENAISSANCE ».

73, av. des Champs-Élysées, Paris (VIII^e).

Tél.: Ely 06-03.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Проф. Е. СПЕКТОРСКИЙ: Пушкин	8
Проф. М. ГОФМАН: Проза Пушкина	19
Проф. С. ФРАНК: Свѣтлая печаль	36
Проф. В. ПОЛЬ: Пушкин в русской музыкѣ	52
Проф. Н. АРСЕНЬЕВ: В творческой тиши	59
А. ШИК: Пушкин и Давыдов	84
ИВ. ТХОРЖЕВСКИЙ: Пушкинская рѣчь Достоевскаго	98
«СКИФ»: Блок о Пушкинѣ	106
М. РАСЛОВЛЕВ: Можно ли переводить Пушкина?	110
ИВ. БУНИН: Ночлег (разсказ)	123
Н. СЕРГІЕВСКИЙ: Камергер и Гишпанка, роман (продолж.)	129
«ДѢЛА И ЛЮДИ» (Политическія замѣтки)	161
М. ВЕСЕЛИТСКИЙ: Нотабены	183
И Л Л Ю С Т Р А Ц І И : Пушкин (портрет раб. Райта) —	
стр. 7. Автограф Пушкина («в селѣ Михайловском») — стр. 7.	
Н. Н. Гончарова — невѣстой — стр. 9. Н. Н. Пушкина (портрет)	
— стр. 11. В. И. Даль (портрет) — стр. 17. Книгиня З. Волковская	
(портрет) — стр. 21. Из архива бар. Леммермана: обложка «Бориса	
Годунова», изд. 1831 г. — стр. 25. Листок альбома Зинаиды	
Волковской — посвященіе ей «Цыган» — стр. 31. Д. В. Веневи-	
тинов (портрет) — стр. 33. Пушкин (портрет раб. Соколова) —	
стр. 37. Автограф с полной подписью Пушкина — стр. 45. Авто-	
граф с рисунками Пушкина 1828 г. — стр. 55. А. С. Хомяков	
(портрет) — 65. Е. А. Боратынскій (портрет) — стр. 83. Сенковский,	
«барон Брамбеус» (портрет) — стр. 85. Князь П. Вяземскій (порт-	
рет) — 93. А. О. Смирнова-Россетти (портрет) — стр. 99. Апол-	
лон Григорьев (портрет) — стр. 103. «Цареубійца»-Дантес (порт-	
рет) — стр. 108. Бюст Пушкина (раб. П. Трубецкаго) — стр. 122.	
В х р о н и к ѣ : Портреты Анны Паукер и болгарина Ко-	
стова — стр. 167. Храм Христа Спасителя в Москвѣ — стр. 173.	
В. А. Маклаков (недавній портрет) — стр. 181.	

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОЗРОЖДЕНИЕ”

Вышла из печати и поступила в продажу:

И. ШМЕЛЕВ

«ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»

роман, 2 т.т. — 610 стр. Цѣна 1000 фр.

В п е ч а т и :

ИВ. ШМЕЛЕВ

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ

В книжном магазинѣ Издательства имѣется в ограниченном количествѣ

экз.: Ив. Шмелев

С Т Е П Н О Е Ч У Д О .

Цѣна 80 фр.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

*Литературно-политическія
тетради*

под редакціей

И. И. Т Х О Р Ж Е В С К А Г О

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Май 1949 года.

ПАРИЖ

Editions « LA RENAISSANCE ».

73, av. des Champs-Élysées, Paris (VIII^e).

Tél.: Ely 06-03.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ОСНОВАНО 3 ЮНЯ 1925 ГОДА, В
ВИДѢ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ, С
1936 ГОДА ПРЕОБРАЗОВАНО В
ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ Г А З Е Т У.
7 ЮНЯ 1940 ГОДА, НАКАНУНѢ
ВСТУПЛЕНИЯ В П А Р И Ж
ГЕРМАНСКОЙ А Р М И И,
ИЗДАНИЕ ВРЕМЕННО
БЫЛО ПРЕКРАЩЕНО;
НЫНѢ ВОЗОБНОВ-
ЛЯЕТСЯ В ВИДѢ
“ ТЕТРАДЕЙ ”

*ВЕЛИЧІЕ И СВОБОДА РОССИИ
ДОСТОИНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВѢКА
ЦѢННОСТЬ КУЛЬТУРЫ —*

**всегда были дороги
А. С. ПУШКИНУ.**

ЕГО ПАМЯТИ

ПОСВЯЩАЕТ ЭТУ ТЕТРАДЬ

ВОЗРОЖДЕНІЕ

к 150-лѣтію со дня рожденія поэта.



Портрет Пушкина, работы Райта.

Недаромъ тѣмъ много имеемъ
Е. предлогамъ мучительнаго лира,
О кѣмъ не забываетъ Пушкинъ и лира
Меня бывилъ Александръ Сергѣевичъ!

15 март
1825

Михаилъ Лобановъ —
— Афаново

ПУШКИН

Пушкин причислял себя к рожденным “для звуков сладких и молитв”. И вот случилось нечто странное. Критики совѣм не обратили вниманія на молитвы и сосредоточились на сладких звуках. Одним они показались недостаточно сладкими, другим — черезчур. Третьи рѣшили, что эти звуки сладки как раз в мѣру и что именно поэтому Пушкин великій поэт. Тѣ же, которым сладость звуков вообще не по вкусу, совѣм отвергли Пушкина.

Первоначально и враги и друзья Пушкина оцѣнивали его исключительно с эстетической точки зрѣнія: поэт бряцает на лирѣ, приносит жертву Аполлону и поет благозвучныя пѣсни. Слѣдя так или иначе понятному канону красоты, одни возмущались Пушкиным: так, например, Надеждин нашел у него только “хлам мелочных орифмованных блестяшек”, “для генія, — писал он, — недостаточно смастерить Евгения”; Булгарин увѣрял, будто у Пушкина “одно господствующее чувство — суетность: ни одной высокой мысли, ни одного возвышеннаго чувства”. Другіе восхищались изяществом Пушкинских стихов. Даже Чаадаев назвал геній Пушкина не болѣе как “граціозным”.

Бѣлинскій, о котором Пушкин выразился “этот чудака меня почему-то очень любит”, усмотрѣл в его творествѣ не только эстетику, но и этику, а именно “чувство безконечнаго уваженія к достоинству человѣка как человѣка”. Он еще признал Пушкина выразителем русскаго національнаго духа: “да, Пушкин был выраженіем современнаго ему міра, современнаго ему человѣчества — но міра русскаго, но человѣчества русскаго”. Таким образом через этику эстетическая оцѣнка Пушкина переходила в соціологическую. С этой новой точки зрѣнія Бѣлинскій не только превознес поэта, но и разочаровался в нем: “один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполнѣ своего призванія”. За три года до смерти поэта Бѣлинскій писал: “теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время”. Соціологическую оцѣнку Пушкина, в котором и Гоголь усмотрѣл “единственное явленіе русскаго духа”, подхватил и усилил Аполлон Григорьев, зятой русскій Тэн и претеча Данилевскаго. “Пушкин, — утверждал он, — это наше все”. Почему? Потому что он “представитель всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашим душевным, особенным, послѣ всѣх столкновеній с чужим, с другими мірами”. У Пушкина “типовая фizioномія”; “это — наш самобытный тип”; “из всякаго броженія выходило в Пушкинѣ цѣльным это типовое”. И тип у Пушкина это не только фактъ, но и принцип, ибо он, “свято чтит народ, религіозно боялся солгать на народ”.

Еще болѣе усилил взгляд на Пушкина как на выразителя того, что французы называют “русскою душою”, Достоевскій. Он усмотрѣл в его творчествѣ “пророчество и указаніе”. Но это не то религиозное пророчество, о котором говорится в Пушкинском “Пророкѣ”. Это пророчество національное, этническій мессіаниззм. Оно напоминает ученіе Ге-



Н. Н. Гончарова, невѣста Пушкина.

геля о міровом призваніи германской націи, вѣру Товянскаго, Мицкевича и Словацкаго в искупительную миссію польскаго народа и превознесеніе славянофилами народа “богоносца”. Призывая русскаго чело-вѣка к смиренію, для того, чтобы он выявил свою всемірную отзывчи-вость и изрек окончательное слово братскаго согласія всѣх племен, Достоевскій больше высказывал свои собственныя задушевныя мысли, чѣм конгеніально воспроизводил сущность творчества и міровоззрѣнія Пушкина.

Имя Пушкина скоро вовлечено в публицистику. Рѣчь Достоевскаго

вызвала ѳдкую полемику с профессором Градовским относительно чисто политическаго вопроса: что важнѣе — люди или учрежденія? Глѣбу Успенскому сначала понравилось утвержденіе Достоевскаго, что Пушкин отказывался основывать счастье одного человѣка на несчастіи другого. Но потом он спохватился и усмотрѣлъ в проповѣди всечеловѣчества “всезаачьи” свойства. Толстой, котораго Тургенев очень уговаривал принять участіе в открытіи памятника Пушкину, отказался наотрѣз. А впоследствии он писал: “на-днях еще заходил ко мнѣ из Саратова грамотѣй мѣщанин, идущій в Москву для того, чтобы обличить духовенство за то, что оно содѣйствовало постановкѣ “монамента” господину Пушкину”. И Толстой сочувствует этому мѣщанину: “в самом дѣлѣ, узнавъ, что Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человѣкъ и писатель, он дѣлает заключеніе о том, что Пушкин должен был быть святой человѣкъ и учитель добра, и торопится прочесть или услышать его жизнь или сочиненія. Но каково же должно быть его недоумѣніе, когда он узнает, что Пушкин был человѣкъ больше, чѣм легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушеніи на убійство другого человѣка, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные”. К. Н. Леонтьев нашел, что единственным оригинальным откликом на пушкинскія торжества 1880 года был отказ Толстого принять в них участіе, так как все это “одна комедія”. В рѣчи Достоевскаго Леонтьев осудил признаніе “удѣлом русскаго народа призваніе космополитической любви” и “это приложеніе полухристіанскаго, полугутилитарнаго всепримирительнаго стремленія к многообразному и демонически пышному генію Пушкина”, “чувственнаго, языческаго”.

Когда появилось народничество, его глашатаи рѣшительно отвергли какую бы то ни было связь Пушкина с народом. В его творчествѣ они усмотрѣли только барство и дворянскую забаву. В этом отношеніи их подбадривал Писарев, издѣвавшійся над “маленьким и миленьким Пушкиным”, “бряцателем”, “стиходѣлателем”, даже “кретинном”. Он рассуждал совсѣм как Надеждин и Булгарин: “Пушкин красиво описывает мелкія чувства, дрянныя мысли и пошлые поступки”; “пользуется своей художественной виртуозностью, как средством посвятить всю читающую Россію в печальныя тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственнаго безсилія”; “лучшее из всѣх добрых чувств, пробуждавшихся при звуках вашей лиры, есть, разумѣется, любовь к красивым женщинам”.

Казалось бы, что с Пушкиным уже все было кончено и что прав был Толстой, когда писал Страхову: “Пушкина період умер”. Однако в новѣйшее время Пушкина возродили. Но о нем стали мудрить. Навели туман и мрак на свѣтлый геній поэта, который, как выразился словенскій поѣв Левстик, “макал перо в солнце”, и смерть котораго произвела на Кольцова впечатлѣніе, что “прострѣлено солнце”. Космос его творчества превратили в хаос. Мережковскій нашел у Пушкина борьбу между галилеянином и язычником с окончательным торжеством сверхчеловѣка. Гершензон усмотрѣлъ “мудрость Пушкина” в том, что он — язычник и фаталист, пытающій затаенную вражду к культурѣ. В своей

парадоксальной статьѣ “Судьба Пушкина” Владимір Соловьев заявил, что он “убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрѣлом в Геккерна”, и что если бы он не был убит, “он жил бы только для дѣла личного душеспасенія, а не для прежняго служенія чистой поэзіи”. Розанов увѣрял: “да, Пушкин больше ум, чѣм поэтической теній”. А Спасович нашел у поэта “мелкій ум”.



Н. Н. Пушкина.

Послѣ октябрьской революціи Маяковский предложил сбросить Пушкина “с парохода современности”. В нем одни усмотрѣли пѣвца барства, а вслѣд за Писаревым еще “негоціанта”, который не продает вдохновенья, но продает рукопись. Другіе, как напримѣр Грушкин (в книгѣ “К вопросу о классовой сущности Пушкинскаго творчества”, 1931), нашли, что Пушкин удовлетворял “соціальному заказу разночинца”. Его “Сцена из Фауста” это “символ нарождающагося капитализма”; “Арап Петра Великаго — поэтизація торговаго капитала”; “Скупой рыцарь — страшный образ капитализма”. Потом большевики

спохватились, что зашли слишком далеко и разрешили считать Пушкина великим поэтом. Так получился, так сказать, Пушкинский нэп. Больше того, Пушкина превратили в предтечу большевиков. Они его присвоили до такой степени, что в 1937 году их попутчик профессор Neiedly выразил в печати свое негодование по поводу того, что русские эмигранты осмѣливаются поминать столѣтіе со дня смерти поэта.

Такова судьба пѣсен Пушкина. О тѣх же молитвах, для которых он сам считал себя рожденным, или совсѣм позабыли или отзывались с таким же недоверіем, как обратившійся к Толстому саратовскій мѣщанин. “Если бы спросить Пушкина, — увѣрял Гершензон, — что же такое Бог? он должен был бы отвѣтить: Бог — абсолютное небытіе”. В книгѣ “Пушкин мистик” (1931) Сергій фон Штейн увѣряет, что Пушкин был очень суевѣрен, вѣрил во всяческія примѣты и всю жизнь находился под впечатлѣніем гадалки Кирхгоф, предсказавшей ему насильственную смерть от руки бѣлокурого человѣка. Но, настаивает автор, в душѣ Пушкина отсутствовали истоки живой вѣры и его мистика не была связана с религіей. Бродскій находит, что даже в стихотвореніях на религіозныя темы Пушкин “ничѣм не выдает присутствія канонической телеологіи”. А в общем он считает, что Пушкинское міровоззрѣніе прочно покоилось “на идейной базѣ просвѣтителей — матеріалистов” и что он напоминал Людвигу Фейербаха. Комсомольцы, к которым примѣнимы слова Пушкина о “нѣких хіосских жителях, которым было дозволено пакостить всенародно”, получили директиву по вопросу об отношеніи Пушкина к религіи в книгѣ главы безбожников Ярославскаго “Атеизм Пушкина”, вышедшей к столѣтней годовщинѣ смерти поэта в 1937 году. Автор категорически заявляет, что “Пушкин был убѣжденным противником религіи, противником церкви”. Встрѣчающіеся у него религіозныя мотивы “звучат нерѣдко фальшиво, в них чувствуется не только натянутость, но и неискренность”. “Когда на смертном одрѣ, — пишет он же, — Пушкин исповѣдался и причастился, то можно представить себѣ, с какой болью он выполнял эти религіозныя обряды, чтобы не оскорбить окружающих в эти послѣднія минуты своей жизни”.

Не только присяжные атеисты, но и служители церкви сомнѣвались в религіозности Пушкина. Духовенство раздѣляло смущеніе саратовскаго мѣщанина, когда по случаю поминовенія поэта приходилось служить панихиды по дуэлянтѣ и авторѣ фривольных стихов, не шадивших религіи и церкви. Архіепископ Никанор как-то нехотя согласился помолиться о рабѣ Божіем Александрѣ — в недѣлю о блудном сынѣ.

Таким образом соотечественники Пушкина проглядѣли у него нѣчто очень существенное, а именно глубокую религіозность, проникавшую его міровоззрѣніе и творчество. То, чего они не усмотрѣли, впервые раскрыл взор иноплеменный. Первыми обратили вниманіе на религію у Пушкина француз Барант и поляк Мицкевич. Талантливый французскій писатель Барант был единственным членом дипломатическаго корпуса в Петербургѣ, который находился при умиравшем Пушкинѣ. А прочіе дипломаты толпились в нидерландском носоельствѣ, чтобы при-

вѣтствовать Дантеса, раненаго “коадьютором великаго мастера ордена рогносцев”, и пожать руку старому Геккерну, упрасивавшему жену поэта, чтобы она “увѣнчала пламя” его любимца, т. е. вступила с ним в прелюбодѣйную связь. Так вот этот Барант замѣтил: “я не подозрѣвал, что у Пушкина такой религиозный ум”. Умѣвший, как выразился Пушкин, с высоты взирать на жизнь, Мицкевич писал о нем: “Пушкин любил разбирать высокіе религиозные вопросы, о которых его землякам и не снилось”.

Только совѣм недавно религиозность Пушкина обратила на себя вниманіе также и русских людей. Начало положили духовныя лица. Митрополит Антоній выпустил в 1929 году брошюру “Пушкин как нравственная личность и православный христіанин”. За ним послѣдовал протоіерей Іоанн Чернавин, автор книги “А. С. Пушкин как православный христіанин” (1936). Вопросом заинтересовались и свѣтскіе авторы. Не довольствуясь заявленіем Владиміра Гишпіуса, что “Пушкин остался у дверей религіи” (“Пушкин и христіанство”), С. Л. Франк помѣстил в “Пути” за 1933 год статью “Религиозность Пушкина”. Здѣсь он отмѣчает у поэта три тенденціи: склонность къ трагическому жизнеощущенію, религиозное воспріятіе красоты и художественнаго творчества и стремленіе къ тайной, скрытой от людей духовной умудренности.

Таким образом только теперь начали полностью цѣнить все духовное величіе Пушкина. О Лопе де Вега говорили, что он гулял по небу и упал на землю, но как ни в чем не бывало продолжал свою прогулку и на ней. Девятую симфонію Бетховена Глинка назвал куском неба, упавшим на землю. О Моцартѣ Пушкинскій Сальери говорит:

Как я́кій херувим,
Он нѣсколько занес нам пѣсен райских,
Чтоб, возмутив безкрылое желанье
В нас, чадах праха, послѣ улетѣть.

Так вот и Пушкин принадлежал къ тѣм Божіим избранникам, у которых скучныя пѣсни земли не заглушали звуков небес. Своею лирою он пробуждал и чувства и мысли. Чувства были добрыя, а мысли были мудрыя. Недаром император Николай I назвал его умнѣйшим человеком в Россіи. “Друг истины поэт” умѣл “говорить языком высшей истины”. Как и всякое великое искусство, в отличіе от средняго и малаго, его творчество было проникнуто высоким религиозным духом. В молодости он отдал дань свойственной многим игривости по отношенію къ религіи и церкви, игривости, происходившей не столько от безбожія, сколько от фамильярной безцеремонности. Его Гавриліада больше напоминает легкую шаловливость Парни, чѣм тяжеловѣсныя потуги совѣтскаго “Безбожника”. Она легкомысленна, но не злостна. Лица, желающія во что бы то ни стало доказать, что Пушкин был убѣжденный атеист, ссылаются на его письмо из Одессы: “беру уроки чистаго аеизма. Здѣсь англичанин, глухой философ, единственный умный аеей, котораго я еще встрѣчал. Он исписал листов тысячу, чтобы доказать не-

возможность бытія разумнаго существа, творца и вседержителя, — мимоходом уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столько утѣшительная, как обыкновенно думают, но к нещастію болѣе всего правдоподобная”. Но вскорѣ послѣ этого по поводу мудрости этого самаго англичанина Пушкин выразился так: “мнѣ наскучило, что ко мнѣ в моем отечествѣ относятся с меньшим уваженіем чѣм к первому попавшемуся дураку, мальчишкѣ-англичанину, который является к нам, чтобы среди нас проявить свою плоскость и свое бормотанье”. По поводу своего общенія с иностранным атеистом Пушкин впоследствии говорил: “я очень хорошо сдѣлал, что брал уроки атеизма; я увидѣл, какія вѣроятности представляет атеизм, взвѣсил их, продумал и пришел к результату, что сумма этих вѣроятностей сводится к нулю, а нуль только тогда имѣет реальное значеніе, когда пред ним стоит цыфра. Этой-то цыфры и недоставало моему профессору атеизма”. “Я часто задаюсь вопросом, чего атеисты кипятятся, говоря о Богѣ. Они яростно воюют против Него. Мнѣ кажется, что они теряют даром силы, направляя свои удары против того, что по их мнѣнію, вовсе не существует”. Через нѣсколько лѣтъ послѣ злополучнаго письма об атеизмѣ Пушкин заявил: “не допускаю существованія Бога — значит быть еще болѣе глупым, чѣм тѣ народы, которые думают, что мір покоится на носорогѣ”. То, что Пушкин писал о Байронѣ — “скептицизм сей было только временным своенравіем ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной”, — примѣнимо и к нему самому. Заслуживает вниманія, что, узнавъ о смерти Байрона, Пушкин попросил отслужить панихиду по нем. Словом, сомнѣнія Пушкина напоминали евангельскую притчу о чловѣкѣ, который сказал “не пойду”, а все-таки пошел.

Пушкин прошел через маловѣріе и невѣріе. И тогда ему казалось, что жизнь это “дар напрасный, дар случайный” и что “безвѣріе одно влечет несчастнаго до хладных врат могилы”. Прощел он и через исканія, когда “ум ищет Божество, а сердце не находит”. Но кончил он блаженством вѣры. Послѣ 1825 года он перестал пародировать религію. Но уже и раньше его творчество неоднократно прорывалось в горній мір. В неотдѣланном стихотвореніи “Вечерня отошла давно” поэт изображает ужас исповѣди злодѣя. Тогда же он размышляет о вѣчном покоѣ во блаженном усненіи

Быть может, с ризой гробовой
 Всѣ чувства брошу я земныя
 И чужд мнѣ будет мір земной;
 Быть может там, гдѣ все блистает
 Нетлѣнной славой и красой,
 Гдѣ чистый пламень пожирает
 Несовершенство бытія,
 Минутных жизни впечатлѣній
 Не сохранит душа моя,
 Не буду вѣдать сожалѣній,
 Тоску любви забуду я.

В 1823 году Пушкин написал стихотворение “Демон”, предваряющее Лермонтовского падшаго ангела:

Тогда какой-то злобный геній
Стал тайно навѣщать меня.

Его язвительныя рѣчи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он Провидѣнье искушал.

На жизнь насмѣшливо глядѣл —
И ничего во всей природѣ
Благословить он не хотѣл.

Через “Подражаніе Корану”, этой “небесной книгѣ”, “дрожащей твари проповѣданной”, поэт перестает жить “без Божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви”. “И с Богом он далѣ пускается в путь”. Этот путь приводит его к автобиографическому, как увѣрял Мицкевич, стихотворенію “Пророк”. Здѣсь вдохновеніе истолковывается как Божій призыв къ созерцанію и проповѣди.

И внял я неба содраганье,
И горній ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

И Бога глас ко мнѣ воззвал:
Возстань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Через два года в стихотвореніи “Поэт” Пушкин называет лиду святою и объясняет тайну творчества как прикосновеніе божественнаго глагола до слуха чуткаго. Так именно понимал он Мицкевича: “он вдохновен был свыше”. В стихотвореніи “Ангел”

Дух отрицанья, дух сомнѣнья
На духа чистаго взирал.
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

Вид монастыря на Казбекѣ вызывает у поэта такое желанье:

Туда б, в заоблачную келью
В сосѣдство Бога скрыться мнѣ.

Поэт благодарит московскаго митрополита, который “с высоты духовной” умирил его послѣднюю вспышку сомнѣнія, не есть ли жизнь “дар напрасный, дар случайный”:

Твоим огнем душа согрѣта,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасѣ поэт.

В “Памятникъ” Пушкин требует от своей музы, чтобы она вѣлѣнно Божію была послушна. Бродя межъ улицъ шумныхъ, входя в многолюдный храмъ или на публичное кладбище заходя, Пушкин предается мечтамъ о метафизическомъ смыслѣ жизни и смерти. И онъ очень близко подходитъ къ христіанскому пониманію жизни какъ призванія и креста: “Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать”. Мог ли безбожникъ написать поэтическое переложеніе великопостной молитвы Ефрема Сирина, гдѣ какъ Божій даръ, какъ особая милость испрашивается способность зрѣти свои собственныя прегрѣшенія. Пушкину далеко не былъ чуждъ “когтистый звѣрь, скребушій сердце — совѣсть”. Это видно изъ его замѣчательнаго стихотворенія “Воспоминаніе”:

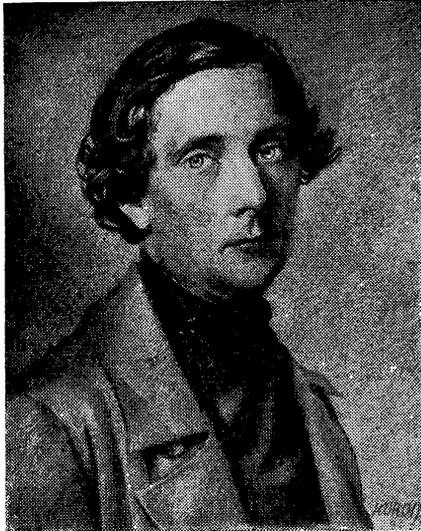
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И, с отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

Не всѣ знаютъ, что именно “Воспоминаніе” Пушкина послужило толчкомъ, побудившимъ Л. Н. Толстого написать свою “Исповѣдь”. Онъ задумалъ было свою автобіографію в традиціонномъ духѣ мнимо скромнаго самолюбования. Но — пишетъ Толстой — “я с величайшей силой испыталъ то, что говоритъ Пушкинъ в своемъ стихотвореніи “Воспоминаніе”. В послѣдней строкѣ я только измѣнилъ бы такъ, — вмѣсто “строкъ печальныхъ” поставилъ бы: “строкъ постыдныхъ не смываю”. Подъ этимъ впечатлѣніемъ я написалъ у себя в дневникѣ слѣдующее: я теперь испытываю муки ада; воспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминанія эти не оставляютъ меня и отравляютъ жизнь”.

Св. Исаакъ Сирин опредѣлилъ адскія муки какъ позднее раскаянье. Это чувство, столь острое у Толстого, далеко не было чуждо и Пушкину при всей свѣтлой гармоничности его генія. И это вносило в его творчество тотъ духъ очищенія, тотъ катарзисъ, который еще Аристотель считалъ плодомъ высокаго искусства. Недаромъ именно Пушкинъ далъ Гоголю идею “Ревизора”, гдѣ черезъ раскрытіе мелкаго взяточничества в захолустномъ городкѣ производится суровый допросъ личной и общественной совѣсти. Недаромъ Нащокинъ закончилъ одно письмо къ Пушкину такъ: “прощай, воскресеніе нравственнаго бытія моего”.

Этотъ же Нащокинъ назвалъ Пушкина “человѣкомъ с необыкновеннымъ умозрѣніемъ”. А Жуковскій писалъ Гоголю: “каждое слово Пушкина драгоцѣнно”. Особенно драгоцѣнны его сужденія о христіанствѣ. Ему нерѣдко приписывали увлеченіе философіею XVIII вѣка. А между тѣмъ онъ рѣшительно отвергъ ее и именно за ея ахристіанскій и даже антихристіанскій духъ. “Ничто, — писалъ онъ, — не могло быть противоположеніемъ поэзіи, какъ та философія, которой XVIII вѣкъ далъ свое имя, ибо “она была направлена противъ господствующей религіи, вѣчнаго источника поэзіи у всѣхъ народовъ”. Не увлекался Пушкинъ и тою нѣмецкою метафизикою, от которой сходили с ума многіе его современники: “Богъ видитъ, какъ я ненавижу и презираю ее, — пишетъ онъ Дельвигу в недавно

найденном письмѣ, — да что дѣлать! Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для нѣмцев, пресыщенных уже положительными знаніями, но мы...” Не впадая ни в гегельянство, ни в шеллингянство, Пушкин искал в словѣ Божіем прочную опору для своего міросозерцанія и творчества. “Если я нашел в Коранѣ та-



В. И. Даль
(автор «Словаря» и друг Пушкина).

кіе чудные и поэтическіе образы, то какой же высокой поэзіею, вѣроятно, преисполнена Библия. Если в Коранѣ с такой силой и глубиной выражается ученіе о личном Богѣ, с какой же силой и глубиной оно должно быть выражено в Библии”. Пушкин взялся за Библию. И не разочаровался. “Библия, — рѣшил он, — ключ живой воды”. “Я читал Библию от доски до доски. Читал даже нѣкоторыя главы своей Ариинѣ. Так бывает всегда со священным писаніем, сколько его ни перечитай; чѣм больше им проникаешься, тѣм болѣе все расширяется и освѣщается”. “Поэзія Библии особенно доступна для чистаго воображенія; перѣдавать этот удивительный текст пошлым современным языком — это кощунство даже относительно эстетики, вкуса и здраваго смысла”. Посему когда А. О. Смирнова предложила Пушкину сочинить поэмѣ на Рождество и на волхвов, он повачал головою и отвѣчал “Евангеліе от Луки, которое читается 25 марта, лучшая из поэм. Никогда мнѣ не написать ничего что бы хоть сколько-нибудь к этому приближалось”. О Евангеліи Пушкин выразился: “вот единственная книга в мірѣ: в ней есть все”.

“Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповѣ-

дано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено ко всевозможнымъ обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра; изъ коей нельзя повторить ни единого выраженія, которое не знали бы всѣ наизусть, которое не было бы уже пословицей народовъ; она не заключаетъ уже для насъ ничего неизвѣстнаго, но книга сія называется Евангеліемъ — и такова ея вѣчно новая прелесть, что если мы, пресыщенные міромъ, или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не в силахъ противиться ея сладостному увлеченію и погружаемся духомъ в ея божественное краснорѣчіе”. Пушкинъ утверждалъ, что “великій духовный и политическій переворотъ нашей планеты есть христіанство” и “исторія повѣйшая есть исторія христіанства”.

В противоположность Бѣлинскому, твердившему объ атеизмѣ русскаго народа, Пушкинъ не представлялъ себѣ Россіи безъ христіанства. Онъ и не помышлялъ о томъ, чтобы Россія могла когда-нибудь стать совершенно безбожной. Высказался онъ и о другой возможности, — надѣтъмъ в его время работали де Местр и іезуиты и чѣмъ хвалился Самозванецъ:

Ручаюсь я, что прежде двухъ годов
Весь мой народъ и вся восточна церковь
Признаютъ власть намѣстника Петра.

Пушкинъ рѣшительно отвергъ эту возможность. Безъ изувѣрства, безъ ханжества, безъ назойливаго оказательства онъ ревновалъ о православіи. Онъ съ глубокимъ пониманіемъ оцѣнилъ дѣло Георгія Конисскаго. И онъ возражалъ Чаадаеву: “мы приняли отъ грековъ Евангеліе и преданія, но не приняли отъ нихъ духа ребяческой мелочности и преній”.

Таинство смерти приковывало къ себѣ в теченіе всей жизни Пушкина его вдумчивое вниманіе. Когда и для него пробилъ смертный часъ, онъ отрѣшился отъ всего земнаго. Этого не понялъ Лермонтовъ, думавшій, что “умеръ онъ съ напрасной жаждой мщенія”. На смертномъ одрѣ Пушкинъ, какъ выразился Плетневъ, проявилъ “высоко религіозное настроеніе”. Онъ сказалъ Данзасу: “требую, чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христіаниномъ”. Священникъ, напутствовавшій его, заявлялъ потомъ: “я стар. Мнѣ уже недолго жить. На что мнѣ обманывать? Вы можете мнѣ не вѣрить, а я скажу, что я для себя самаго желаю такого конца, какой онъ имѣлъ”.

Умирая, Пушкинъ протягивалъ руку Далю и говорилъ: “ну, подымай же меня, да выше, выше, ну пойдемъ”.

Послѣднія минуты поэта Жуковскій описалъ такъ: “таинство смерти совершалось передъ нами во всей умилительной святинѣ своей... Никогда на лицѣ его не видалъ я выраженія такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, тайлась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природѣ, но въ этой чистотѣ обнаружилась только тогда, когда все земное отдѣлилось отъ него, съ прикосновеніемъ смерти”.

ПРОЗА ПУШКИНА

Пушкин принадлежит к числу наиболее чтимых писателей — никто не имеет такого неоспоримаго культа, как Пушкин, — но не наиболее читаемых, и настоящего знания его творчества, собственно, и до сих пор нѣт. Пушкина не только чтут, — кто из самых великих русских писателей может стать рядом с ним! — но и любят — “первую любовь” Россіи, по слову Тютчева, — и, несмотря на то, что всё мы воспитались на Пушкинѣ, из поколѣнія в поколѣніе носим в себѣ Пушкина, мы мало знаем его, мало изучили его и мало цѣним все то неизмѣримое и неисчислимое богатство, которое получили в наслѣдство. Все время больше чувствуем и предчувствуем, чѣм знаем; все время больше стремимся к тому, чтобы, перефразируя слова Достоевскаго о “народъ-богоносцѣ”, быть пушкиноносцами, чѣм носим его — могущественнѣйшій “яд” против всякаго сектанства и всякой узости. Все время *собираемся* полностью понять его и охватить, изучить творчество его — и само по себѣ, и то, как оно вліяло на всѣх писателей, пришедших послѣ Пушкина, и создавших послѣ него, но отправляясь от него, великую русскую литературу XIX-го вѣка.

И все не можем собраться! И отдѣльваемся или общими, всѣм давно извѣстными мѣстами, или выискивая новыя запятыя и новыя слова (занятіе очень полезное, очень нужное и.. очень легкое: достаточно бѣгло, наскоком, заглянуть в рукописи Пушкина, *до сих пор еще не изученныя* — а разговоры о систематическом изученіи рукописей ведутся уже 50 лѣтъ — с юбилея 1899 года, чтобы найти в них множество не одних запятых. Прав был Пушкин, говоря, что “мы лѣнны и нелюбопытны”. Не столько даже нелюбопытны, сколько лѣнны...

Особенно мало понят и мало изучен Пушкин-прозаик. Мы жалуемся на то, что иностранцы мало понимают “нашего Пушкина” и не видят в доступной им прозѣ (конечно, стихи Пушкина для них навсегда останутся закрытыми, потому что кто же сможет передать не на пушкинском языкѣ дыханіе пушкинских стихов) ничего, кромѣ примитивных, мало интересных, устарѣвших анекдотов. Но многим ли больше видим в ней мы, хотя нам и милы и родны эти анекдоты (в этом отношеніи особенно поразительна любовь к неотдѣланному “Дубровскому”, понимаемому слишком просто, по-дѣтски). И это жаль.

Пушкин много работал над прозой, имѣл очень много стимулов для этой работы и создал прозу, оставшуюся в нѣкоторых отношеніях непревзойденной — по крайней мѣрѣ, по чистотѣ языка и по совершенству композиціи. Стремленіе к “смирненной прозѣ” в нем появилось рано (любопытно, что для Пушкина проза всегда “смирненная”,

как будто для него простота является самым большим достоинством). В 1824 году, в третьей главѣ “Евгенія Онегина”, он говорит:

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бѣс,
И, Фебовы презрѣвъ угрзсы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны.
Да нравы нашей старины.

Стимулов для обращенія Пушкина к прозѣ, повторяю, было множество, но едва ли не самым главным было сознание, что русская проза находилась в его время в младенческом состояннн, и отсюда — желанне создать ее. Дама, от лица которой ведется рассказ в “Рославлевѣ”, говорит: “Дѣло в том, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старше Ломоносова и чрезвычайно ограничена. Она, конечно, представляет нам нѣсколько отличных поэтов, но нельзя же от всѣх читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозѣ мы имѣем только “Исторію” Карамзина; первые два или три романа появились два или три года тому назад; между тѣм, как во Франціи, Англнн и Германнн книги, одна другой замѣчательнѣе, поминутно слѣдуют одна за другой... Вѣчныя жалобы наших писателей на пренебреженне, в коем оставляем мы русскія книги, похожи на жалобы русскихъ торговков, негодующих на то, что мы шляпы наши покупаем у Сихлер, а не довольствуемся произведеннми костромскихъ модисток”...

Дать в руки русскимъ читателямъ русскую книгу, которая оставлала бы далеко позади себя “произведеннн костромскихъ модисток” — толпы подражателей Вальтер Скотта, помѣряться силами и, может быть, превзойти самого “шотландскаго чародѣя” — вот, что соблазняло Пушкина. И Пушкин, несомнѣнно, превзошел (особенно чисто художественно) и костромскихъ модисток, и В. Скотта. Как хотѣлось бы дать полный обзор прозы Пушкина! — Но “мы лѣнны” (и к тому же — это очень важно — даже небольшой журналъ является подвигомъ в условнхъ нашего существованнн, и отнимать у него много страницъ — преступленне), а потому ограничимся отдѣльными разрозненными замѣчанными.

“АРАП ПЕТРА ВЕЛИКАГО”.

Первымъ произведеннмъ Пушкина (не считая набросковъ) былъ незаконченный историческнй романъ “Арап Петра Великаго”, начатый в июлѣ 1827 года. Все удивляетъ в этомъ романѣ: начиная от такого неожн-

даннаго для перваго опыта мастерства композиціи, языка и стилиа, и кончая тѣм, что при таких условіях роман остался неоконченным. Почему? — *Не* потому, что Пушкин не справился со своим первым опытом (как это часто бывает); *не* потому, что был недоволен им; *не* потому, что роман затрагивал слишком глубоко интимную жизнь его близких предков (а тѣм самым и его самого, чувствовавшего в своих



Княг. З. А. Волконская, в роли Танкреда из оп. Россини, шедшей в дни Веронскаго конгресса 1818 года. Работы худ. Бруни.

жилах их кровь и их “наслѣдье родовое”); *не* потому, что не хотѣл продолжать... Почему же в таком случаѣ? Как ни неожиданен этот отвѣт, он один является вѣрным: Пушкин *не успѣл* окончить своего романа. Не успѣл, несмотря на то, что со времени начала писанія “Арапа Петра Великаго” и до смерти поэта прошло десять лѣт. И все-

таки не успѣл... Роман был начат прекрасно и вполне удовлетворял своего творца. Так удовлетворял, что Пушкин, вопреки своему обыкновенію, напечатал до его окончанія два отрывка: "*Ассамблея при Петрѣ Великом*" — великолѣпнѣйшая картина, переносица читателя в первые годы XVIII-го вѣка в только что основанный город Санкт-Петербург и "*IV глава из историческаго романа*" — обѣд у именитаго боярина Ржевскаго и неожиданное посѣщеніе его царем. Пушкин мог бы выбрать и другіе отрывки, изумительные по воскресенію эпохи, высокаго историко-художественнаго качества, вполне оправдывающіе названіе произведенія *историческим* романом: описаніе Парижа в эпоху Регентства, встрѣчу Петром Великим Ибрагима, рассказ Корсакова о приѣмѣ его царем на корабельной верфи и проч. и проч. На этот раз прав был Бѣлинскій (ничего не понявшій в "Повѣстях Бѣлкина"), когда писал: "Будь этот роман кончен, как начат, мы имѣли бы превосходный историческій русскій роман, изображающій нравы величайшей эпохи русской исторіи. Поэт в числѣ дѣйствующих лиц своего романа выводит на сцену и великаго преобразователя Россіи, во всей народной простотѣ его приѣмов и обычаев. Не понимаем, почему Пушкин не продолжал этого романа. Он имѣл время кончить его... Эти семь глав неоконченнаго романа, из которых одна упредила всѣ историческіе романы гг. Загоскина и Лажечникова, неизмѣримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всѣх их, вмѣстѣ взятых". Эти строки писались сто лѣтъ тому назад и не перестали быть вѣрными и теперь: за сто лѣтъ не появилось ни одного русскаго историческаго романа, который можно было бы поставить рядом с "Арапом Петра Великаго", — не по воспроизведенію внѣшних вѣлочей стараго быта, не исторической экзотикой — стилизаціей, а по воскресенію самой жизни XVIII вѣка и психики людей этой эпохи. В этом отношеніи цѣлая пропасть отдѣляет "Арапа" (как и "Капитанскую Дочку") от исторической эпопеи Льва Толстаго "Война и Мир": там дѣйствуют лица эпохи великой Отчественной войны, но они чувствуют, мыслятъ и разсуждают, как люди 60-х годов, и их душевный міръ современен героям "Анны Карениной".

Отрывки из "Арапа Петра Великаго" Пушкин печатал в 1829 и 1830 гг., — это значит, что уже в 1828 году он — во всяком случаѣ на долгое время — отказался от мысли о продолженіи своего историческаго романа. Почему? —

Как ни ярки черты, рисующія образ Петра Великаго — *человѣка* (не героя "Полтавы" и не полубога "Мѣднаго Всадника"), *человѣка* ("в зеленом кафтанѣ, с глиняною трубкою во рту"), онѣ были еще недостаточны для историческаго романа. Это понимал Пушкин. И чѣм дальше он писал свой роман, чѣм болѣе удавался он, тѣм больше чувствовал поэт недостаточность исторических матеріалов для созданія историческаго романа. Пушкин не отказался от своих художественнаго замысла, но временно отложил его для собиранія исторических матеріалов, относящихся к Петру Великому и его эпохѣ; он оборвал его с тѣм, чтобы потом снова, уже во всеоружіи историческаго знанія, обратиться к нему. Нас это не должно удивлять. Подобная же исторія про-

изошла позже с “Капитанской Дочкой”. В самом началѣ 1833 года Пушкин задумал писать новый историческій роман, относящійся къ эпохѣ Пугачевского бунта, но, как он говоритъ въ письмѣ къ шефу жандармов, “нашед множество матеріалов, я оставил вымысел и написал Исторію Пугачевщины”. “Оставил вымысел” — не совсѣм точное выраженіе: не “оставил”, а отставил, отложил на время — до окончанія двухтомнаго изслѣдованія “Исторія Пугачевского бунта”. Послѣ ея окончанія Пушкин приступил снова къ “Капитанской Дочкѣ” и могъ свободно создавать живые образы живой дѣйствительности на фонѣ дѣйствительности исторической...

То же самое, конечно, произошло бы и съ “Арапом Петра Великаго”. Пушкин, “нашед множество матеріалов”, приступил къ “Исторіи Петра Великаго. Но матеріалов нашлось такъ много, что Пушкин зарылся въ архивахъ, и работа эта заняла много лѣтъ, — даже “Исторію” он не успѣлъ довести до конца, — смерть помѣшала дальнѣйшей работѣ.

Есть свѣдѣнія, что уже въ 1832 году Пушкин возвращался къ “Арапу”. По крайней мѣрѣ, большой другъ поэта. П. В. Нащокин, съ которым он дѣлился своими планами и читалъ ему отрывки изъ своихъ произведеній, въ письмѣ своемъ отъ 10 января 1833 года ставилъ Пушкину такой вопросъ: “Что твой романъ Петръ I?” Если Нащокин не ошибся и не назвалъ романомъ историческое изслѣдованіе, то въ 1832 году Пушкин снова приступилъ къ работѣ надъ “Арапомъ Петра Великаго” (и можетъ быть, именно тогда нашсалъ нѣкоторыя главы), но оставилъ его для новаго замысла — для “Капитанской Дочки”, законченной только въ 1836 году. До “Арапа Петра Великаго” такъ и не дошла очередь...

“ПОВѢСТИ БѢЛКИНА”.

В нѣкоторыхъ отношеніяхъ нѣтъ ничего не только очаровательнѣе, но и совершеннѣе и значительнѣе прекрасныхъ рисунковъ въ художественной прозѣ, чѣмъ пять маленькихъ рассказовъ, объединенныхъ общимъ именемъ “Повѣстей Бѣлкина”. Если въ нихъ искать только интересной фавбулы, интереснаго анекдота (какъ искалъ Бѣлинскій или какъ обычно ищутъ иностранцы), то онѣ покажутся слишкомъ простыми, почти наивными въ своей кажущейся незамысловатости. Но если подойти къ нимъ съ другихъ сторонъ, то эти бездѣлушки окажутся значительнѣйшими произведеніями словеснаго искусства.

Когда Пушкин прочелъ Боратынскому свои “повѣсти”, тотъ “ржалъ и бился”. И это понятно: самъ большой поэтъ и мастеръ слова, Боратынскій понялъ, какую художественную вершину представляютъ эти пять маленькихъ повѣстей-рассказовъ “славнаго малаго” Ив. Петр. Бѣлкина (въ послѣдствіи Пушкин взмохъ еще на большія высоты). Онъ не могъ не одѣннить и мастерства разсказа, и простого, легкаго, но совершеннаго языка, и изумительнаго плана-композиціи (Пушкин говорилъ, что одинъ планъ Дантова “Ада” уже плодъ созданія великаго генія, — но что можетъ быть совершеннѣе по плану “Выстрѣла” или “Метелл”!).

Аполлонъ Григорьевъ очень много говорилъ о простой, безхитростной натурѣ смиреннаго “славнаго малаго” Ив. Петр. Бѣлкина, съ которымъ

Пушкин якобы слился и который якобы олицетворял ту сторону Пушкина-человѣка, которая в 30-х годах становится доминирующей в нем. Говорить так значит забыть, что в том же 1830 году, в котором были написаны “Повѣсти Бѣлкина”, были созданы и “Скупой Рыцарь”, и “Модарт и Сальери”, и “Пир во время чумы”, и “Каменный Гость”... Пушкин — такой же Бѣлкин, как и средневѣковый скупой рыцарь, как и все другія поэтическія фикціи; поэтическіе образы, которые отличаются истинною объективностью (объективация творчества такой же характерный признак зрѣлаго Пушкина — послѣ “Бориса Годунова”, открывшаго ему новый мѣръ, — как субъективизм творчества молодого Пушкина). В “Повѣстях Бѣлкина” мы видим исключительно совершенное стилизаціонное *мастерство* Пушкина, изумительную стилизацію, даже двойную стилизацію, — и потому к ним надо подходить прежде всего с чисто художественной точки зрѣнія.

Создав образ Ив. Петр. Бѣлкина, Пушкин создал и *бѣлкинскій* стиль повѣстей, отличающійся от всех других прозаических произведений (болѣе приближается к этому стилю, но только приближается, мемуарно-историческая повѣсть “Капитанская Дочка”, написанная Гриневым). Но в “Повѣстях Бѣлкина” на стиль Бѣлкина отразился стиль и его рассказчиков, и в этом отношеніи заслуживают сугубаго вниманія слѣдующія строчки из предисловія Пушкина к его “Повѣстям”: “В самом дѣлѣ, в рукописи г. Бѣлкина, над каждой повѣстію рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или званіе автора и заглавныя буквы имени и фамиліи). Выписываем для любопытных изыскателей: *Смотритель* рассказан был ему титулярным совѣтником А. Г. Н., *Выстрѣл* подполковником И. П. Л., *Гробовщик* прикащиком Б. В., *Метель* и *Барышня* дѣвицею К. И. Т.” (конечно, милою “уздную барышней”).

В совершеннѣйшей композиціи, в языкѣ и в стилѣ, в стилизаціи и заключается главное художественное достоинство “Повѣстей Бѣлкина”, прежде всего художественных произведений. В “Повѣстях Бѣлкина” часто ищут интересных рассказов; они и интересны, но их главный интерес не в фабулѣ, а в штриховых изображеніях русской жизни (особенно провинціальной). В “Повѣстях” представлены все классы русскаго общества: начиная от аристократіи (граф в “Выстрѣлѣ”, гусар Минскій в “Станціонном Смотрителѣ”) — до бѣдных ремесленников “Гробовщика”, переходя через скромных армейских офицеров, уздных барышень и мелких чиновников.

В галереѣ портретов, нарисованных скупым, но вѣрным карандашом, особенно значительны “уздные барышни” (“Метель” и “Барышня-Крестьянка”) и маленькіе обиженные чиновники (“Станціонный Смотритель”): им предстояло играть особенно большую роль в развитіи русской литературы XIX вѣка,

Марія Гавриловна (“Метель”) и Лиза (“Барышня-Крестьянка”) принадлежат к многочисленной семьѣ героинь Пушкина — таких, как его “милая Таня” или Марія Кирилловна (в “Дубровском”). Пушкин, проведшій два года в псковской деревнѣ и часто гостившій в тверских помѣстьях Вульфов, хорошо зналъ помѣщичью жизнь.



Обложка первого изданія «Бориса Годунова».

Книга эта, как и воспроизводимый ниже, впервые, листок альбома княгини З. Волконской, с вписанным рукою Пушкина «Посвященіем» поэмы «Цыгане», находятся в архивѣ княгини, нынѣ принадлежащем барону В. К. Леммерману, в Римѣ.

Всѣ эти героини — духовныя и литературныя матери тургеневских дѣвушек. Тургенев (точно так же, как и Гончаров), поставившій на пьедестал русскую дѣвушку, только углубил и идеализировал гениальный набросок Пушкина, может быть болѣе вѣрный и соответствующій дѣйствительной русской жизни, канувшей в вѣчность.

Как ни важно значеніе типа русской дѣвушки в дальнѣйшем развитіи русскаго романа, маленьким забытым и притѣсняемым чиновникам суждено было сыграть еще болѣе значительную роль в творчествѣ непосредственных преемников Пушкина.

Достоевскій, утверждая, что “всѣ мы вышли из гоголевской “Шинели”, подразумевал под этими “всѣми нами” реалистически психологическую школу, проповѣдывавшую жалость к “бѣдным людям”, к “униженным и оскорбленным” Богом и жестокими людьми. Дѣйствительно, маленькіе люди Достоевскаго вышли из Гоголя (и, в частности, из “Шинели”), но самая-то “Шинель” Гоголя (и не одна она) вышла из “Станціоннаго Смотрителя”. Можно до безконечности называть произведенія русской литературы, начиная со “Старосвѣтских помѣщиков”, в которых звучат отголоски “Станціоннаго Смотрителя” (особенно в чисто литературном отношеніи, в литературных приѣмах)...

И все же самый интересный и самый значительный вопрос, который поднимают “Повѣсти Бѣлкина”, заключается не в чисто историко-литературной области, — литературных приѣмов. Никак не касаясь его, напомним на него одним примѣром: смѣшеніе реального и фантастическаго в реалистическом описаніи сна, так развитое Гоголем (“Невскій Проспект”, “Портрет”), Достоевским (“Преступленіе и Наказаніе”, “Братья Карамазовы”), ведет свое происхожденіе от сна пьянаго Адриана в “Гробовщикѣ”...

“ДУБРОВСКІЙ”.

“Дубровскій” — одна из любимѣйших русских книг — вызывает множество вопросов и недоумѣній. Пушкин, окончив его в 1832 году, не печатал и не отдѣлал, оставив его в карандашном наброскѣ (уже по одному этому “Дубровскій” незаслуженно считается в числѣ лучших произведеній Пушкина: одно из интереснѣйших, но *не лучших* произведеній). Если поэт был доволен своим “Дубровским”, то почему не печатал его? Если был не удовлетворен им и видѣл его недостатки, то почему не исправил и не отдѣлал одно из самых крупных своих произведеній в прозѣ? Или он не надѣялся на то, что цензура пропустит его “Дубровскаго”? Или шаблон и недостатки, такіе явные в “Дубровском”, допущены сознательно Пушкиным, чтобы заглушевать социальный фон повѣсти из русской жизни и обмануть бдительность цензуры?

“Дубровскій” кажется обыкновенным, шаблонным авантюрно-разбойничьим романом, каких расплодилось множество послѣ “Разбойников” Шиллера. В этих романах было много наивно-романтическаго и мелодраматическаго. Несмотря на большую связь с жизнью и болѣе углубленныя индивидуальныя черты, есть такой мелодраматизм и в “Дубровском”. Невольный? Безсознательный? Наивное подчиненіе

шаблону? — Но помимо того даже, что Пушкину был органически чужд всякій мелодрамматизм и декламация (у него было слишком много вкуса и ума), как можно говорить о бессознательном мелодрамматизмѣ, когда автор сам тут же подсмѣивается над мелодрамматическим шаблоном! Когда Троекуров с князем Вереѣйским проѣзжали мимо погорѣлой усадьбы Дубровскаго, между ними произошел слѣдующій разговор. На вопрос князя, кому принадлежит эта земля, Троекуров отвѣчал, что земля теперь е-о, а что прежде принадлежала Дубровскому, —

“— Дубровскому? — повторил Вереѣйскій: — как, этому славному разбойнику?”

“— Отцу его, — отвѣчал Троекуров; — да и отец-то был порядочный разбойникъ.

“— Куда же дѣвался наш Ринальдо? Схвачен ли он, жив ли он?”

“— И жив, и на волѣ... Кстати, князь, Дубровскій побывал въѣд у тебя в Арбатовѣ?”

“— Да, прошлаго года, он, кажется, что-то съел или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим *романическимъ героемъ*..”

Мелодрамматических мѣст много в “Дубровском”. Вспомним хотя бы слѣдующее:

“— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал он, потупя голову: — я не француз Делорм, я — Дубровскій.

“Марья Кирилловна вскрикнула.

“— Не бойтесь, ради Бога; вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, котораго ваш отец, лишив куска хлѣба, выгнал из отеческаго дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно бояться ни за себя, ни за него. Все кончено... я ему простил; послушайте: вы спасли его... Я понял, что дом, гдѣ обитаете вы, священен, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятію.”

Какой приподнятый, декламационный стиль, точно перевод французской мелодрамы! Так всякая мелодрама, всякая фальшь несвойственны Пушкину, что в этом нельзя ничего другого видѣть, кромѣ изумительной стилизации рѣчи романическаго героя, начитавшагося романов, а потому: недостаток ли или достоинство эта мелодрама?

Можно находить много недостатков в “Дубровском”, но в нем есть такія достоинства, которыя дѣлают его значительным произведеніем. Особенно интересен он тѣм, что является первой попыткой социальнаго романа, и тѣм, что пророчит революцію, выявляя бунтарство, бунтарскую стихію русскаго народа. Еще значительнѣе он тѣм, что воскрешает в широком обхватѣ Александровскую эпоху с послѣдними осколками XVIII вѣка. Тут и представитель стариннаго княжескаго рода, потерявшій связь с землей (князь Вереѣйскій), и бывшій фаворит — вельможа Екатерининскаго царствованія, удалившійся “на покой” в свое помѣстье, и “уѣздная барышня”, и бѣдные дворянчики, обѣднѣвшіе помѣщички — Дубровскіе, и гости-приживалы Троекурова, и уѣздные чиновники — судейскіе, “приказные”, и уѣздная жандармерія с ея начальником — исправником, и сельское духовенство, и

крѣпостная старуха-няня, и дворовые, и деревенское начальство — староста, и простые крестьяне... И самое цѣнное во всем этом, самое пушкинское, это в добром безпристрастїи, доброй объективности и справедливости Пушкина, который не чернит невольных “притѣснителей”, не внушает классовой ненависти и не идеализирует “притѣсненных”: Троекуров, конечно, самодур, но его крестьяне любят этого своего вольного, но добродушнаго барина; князя Верейскаго, “злодѣя”, похищающаго молодость дѣвушки, Маша слушала с удовольствїем — “он говорил о картинах не на условленном языкѣ педантическаго знатока, но с чувством и воображенїем”.

И чѣм объективнѣе и человѣчно-справедливѣе Пушкин, тѣм ярче выступает его протест (маскируемый шаблоном авантюрно-разбойничьяго романа) против крѣпостнаго права и сочувствїе къ простому народу, выдвигающему такіе изумительно прекрасные образы, как няня Егоровна. Но крестьяне в изображенїи Пушкина совсѣм не та идеалистическая патока, которая в таком изобилїи текла в русской литературѣ послѣ Пушкина. Русскїе крестьяне в “Дубровском” являют исключительные примѣры доброты, доходящей до того, что кузнец Архип с опасностью для жизни спасает из горящаго дома кошку, самоотреченїя, беззавѣтной вѣрности (крестьяне Дубровскаго готовы идти за своим господином и за него в огонь и в воду), — но в то же время Пушкин не скрывает их жестокости, их злобы, того чернаго гнѣва, о котором пѣлъ другой поэт (Некрасов):

У каждаго крестьянина
Душа, что туча черная.

И тот же кузнец Архип, спасающїй кошку, радуется тому, что в огнѣ гибнут подьячіе, и на их жалобные воли о помощи — “Как не так, сказал Архип, с злобной усмѣшкой взвирающїй на пожар”.

Понятно, что Дубровских — добраго старика и молодого рыцаря, воплощенный идеал всѣх добродѣтелей, крестьяне любят, но и къ жегордятся всемогуществом своего господина; его псаря не жалуются гордятся всемогуществом своего господина; его псаря не жалуются на свое житье “благодаря Бога и барина”.

Пушкин не хочет разжалобить читателя описанїем несчастїй и страданїй бѣднаго народа. В то же время получается яркая картина, очень далекая от патріархальной идилліи добрых помѣщиков, заботящихся о благѣ бѣдствующих под их мудрой опекой счастливых мужичков. Народ страдает — от жестокой и разоряющей его системы крѣпостнаго права, и в нем копятя совсѣм не благодушныя чувства. Рядом с долготерпѣнїем, изумлявшим и иностранцев и гуманно настроенных русских людей, в крестьянствѣ живет гнѣв и бунтарство. Это совмѣщенїе в душѣ народа разных чувств хорошо знает Пушкин, и знает, что когда чаша народнаго гнѣва переполняется, она выливается в жестокой формѣ “безсмысленнаго и безлощаднаго, все сметающаго на своем пути, слѣпнаго бунта. Эта тема русскаго “бунта” болѣе развита (и опять-таки намеками) в “Капитанской Дочкѣ”, и

мы к ней еще вернемся. Но в заключение “Дубровскаго” один вопрос. Народный гнѣвъ и народный бунтъ изображенъ в “Дубровскомъ”, но в нем народъ возстаетъ не противъ, а *за* своего господина, который, защищая всѣхъ бѣдныхъ и обездоленныхъ, становится во главѣ “разбойничьей” шайки. Дубровскаго раззорил Троекуровъ, а онъ мститъ не Троекурову, а всѣмъ богатымъ людямъ, и эта месть ничѣмъ не мотивирована. Не объясняются ли оба парадокса цензурными соображеніями, сковывавшими руку поэта?..

“ПИКОВАЯ ДАМА”.

“Пиковая Дама” — один из прекраснѣйшихъ шедевровъ Пушкина — стоитъ нѣсколько особнякомъ в его творчествѣ (до какой степени богат и разнообразен не повторяющій себя Пушкин!). В этой “петербургской” повѣсти, родоначальницѣ всѣхъ петербургскихъ повѣстей Гоголя и петербургскихъ романовъ Достоевскаго, все фантастично и все реалистично, все насквозь психологически вѣрно. В повѣсти причудливо сплетены бытъ — дѣйствительность, неправдоподобный с перваго взгляда фантастическій анекдотъ и психологія сумасшествія, — проблема, впервые такъ блестяще разрѣшенная в русской литературѣ. В этой переплетающейся тройственности содержания “Пиковой Дамы” ея наибольшій интересъ и значеніе (какъ интересно было бы подробно прослѣдить вліяніе “Пиковой Дамы” на Гоголя и особенно на Достоевскаго!).

В бытовой части “Пиковой Дамы” особенное вниманіе привлекаетъ къ себѣ портретъ старой графини — живой осколокъ великолѣпнаго в своемъ, пусть мишурномъ, блескѣ XVIII-го вѣка. Пушкинъ дорожилъ этой живой исторіей и любовно-внимательно присматривался къ ней гдѣ только могъ.

Мы все время говоримъ о портретахъ и картинахъ — о изображеніи быта сквозь призму художественнаго воспріятія, а не о копированіи быта, болѣе об импрессионистической, чѣмъ фотографически реалистической манерѣ. Этот импрессионизмъ сказывается особенно в воссозданіи петербургской атмосферы — до такой степени, что “Пиковая Дама” является истинно петербургскою повѣстью: Петербургъ чувствуется в каждой мелочи, в каждой падающей мокрой снѣжинкѣ (искусству изображенія Петербурга Достоевскій учился у Пушкина).

В основу повѣсти положенъ простенькій анекдотъ о трехъ вѣрныхъ картахъ. Фантастическая сказка?.. Но из этой “фантастической сказки” Пушкинъ создалъ глубоко правдивую человѣческую драму, из которой вышелъ весь психологическій реализмъ фантастики в русской литературѣ.

Неправдоподобно? Фантастично? Но во всей повѣсти нѣтъ ничего неправдоподобнаго, что не находило бы себѣ правдоподобнаго психологическаго объясненія, все вплоть до того, что призракъ мертвой графини долженъ былъ назначить именно эти три карты — тройку, семерку и туза. Невѣроятно, чтобы двѣ карты (собственно всѣ три, назначенныя графиней) подрядъ выиграли? Чудо? — Но такія чудеса

бывают постоянно: любой игрок в карты и особенно в рулетку удостоверит, что можно выиграть подряд не два и не три, а пять, шесть и больше раз на простой шанс; игроки в рулетку знают гораздо большія чудеса — когда игрок угадывает подряд три номера из 37, а не из двух, как угадал Герман (куда упадет задуманная карта: направо или налево?).

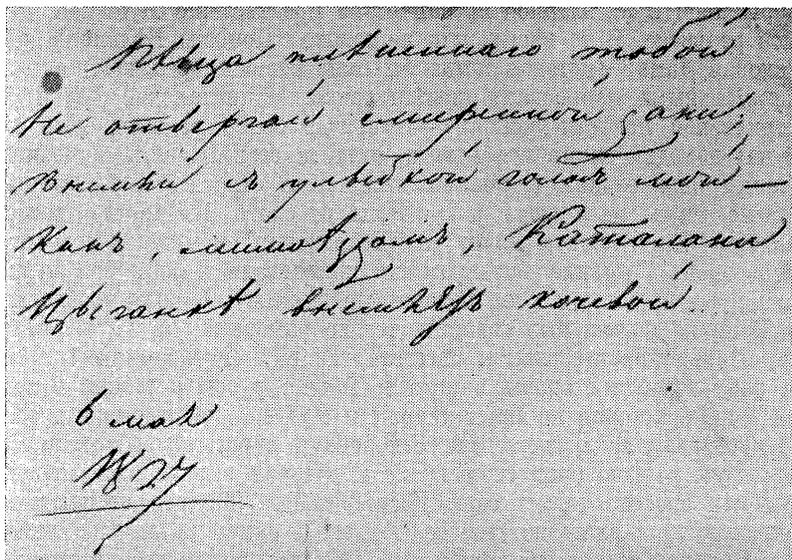
Неправдоподобно, фантастично, чтобы призрак старой графини явился Герману? Неправдоподобно, что разстроенное воображеніе сходявшаго с ума Германа (который к тому же выпил за обѣдом больше обыкновеннаго) увидѣло призрак умершей графини, в руках которой находилось его счастье? — Но он так же необходимо *должен* был увидѣть ее, как полѣвка спустя Иван Карамазов должен был увидѣть чорта. Достоевскій заимствовал у Пушкина прием, заключающійся в том, что автор не говорит, что его герою *показалось*, не раздѣляет героя, себя и читателя, а вводит в душевный мир своего героя и изображает то и так, как видѣл его герой: послѣдній дѣйствительно видѣл, а не думал, что ему только кажется, что он видит; для его воображенія это был *реальный факт*, — и автор описывает его так реалистически в повседневных мелочных подробностях, что и читатель *видит* и *слышит* то же самое. Как мы, отождествляясь с героем, можем сомнѣваться в появленіи старухи, когда мы видим, как она заглядывает с улицы в окно, и слышим ея шлепанье туфлями!

Даже выбор трех карт — тройки, семерки и туза — и роковое, неизбежное “обдергиваніе” Германа находят себѣ психологическое объясненіе, связанное с психологической проблемой, разрѣшенной в “Пиковой Дамѣ”, и с личностью центральной фигуры повѣсти — Германа.

Герман не вполне обычный герой в произведениях Пушкина и мало обычный в русской жизни. Кажется, с перваго взгляда, что он наименѣе подходящій объект для того, чтобы показать дѣйствіе карточной страсти — самой сильной страсти в мирѣ — на человеческую душу. Пушкин нѣсколько раз подчеркивает нѣмецкое происхожденіе Германа и его нѣмецкія добродѣтели: разсудочность — расчет, умеренность, заставлявшую его не трогать даже процентов с капитала, и трудолюбіе. Но в глубинѣ этого аккуратнаго нѣмца с профилем Наполеона и душою Мефистофеля были скрыты и другія, совсѣм не “аккуратныя” свойства: он имѣл честолюбіе, сильныя страсти и огненное воображеніе, которым его нѣмецкая твердость не давала проявляться наружу и держала их под слудом. Тѣм сильнѣе будет эффект карточной страсти, которая сметет все в этой “упорядоченной” душѣ.

Герман в первую минуту сказал об анекдотѣ — “сказка”, но искра уже попала в пороховой погреб и скоро охватит все существо его, вызвав наружу скрытое в глубинѣ души. “Огненное воображеніе” превращает его мысль в манію. В началѣ он еще пробует бороться со своей маніей и мысленно обращается к своему спасительному нѣмецкому якорю: “Что, если — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что, если старая графиня откроет мнѣ свою тайну! или назначит мнѣ эти три вѣрныя карты!.. Нѣтъ! *расчет, умерен-*

ность и трудолюбие: вот мои три вѣрные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал...” Манія, конечно, побѣдила, но эти же разумныя разсужденія — самоубѣжденія-самовнушенія — дадут материал для его бреда: утроит — превратится в тройку, усемерит — в семерку, капитал — эта громадная единица — в туза... Эта манія изгоняет всѣ другія душевныя движенія Германа, опустошает его, — карточная страсть побѣждает все. Мысль об этой душевной опустошенности, оголенности от всего, что находится внѣ маниакальной идеи, только намѣчена Пушкиным, но намѣчена вполне отчетливо. Герман заводит знакомство с воспитанницей старой графини только с цѣлью через нее пробраться в дом и увлекает ее. На первых порах



Листок альбома княгини З. Волконской

(из ея архива, нынѣ принадлежащаго бар. В. К. Леммерману).

это был только расчет: его первое письмо “содержало в себѣ признаніе в любви: оно было нѣжно, почтительно и слово в слово взято из нѣмецкаго романа”. Но скоро он и сам испытал увлеченіе, и слѣдующія письма “уже не были переведены с нѣмецкаго. Герман их писал, *одохновенный страстію*, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаній, и беспорядок необузданнаго воображенія”... И тѣм не менѣе... Когда Герман очутился в спальной графини и “увидѣл узкую, витую лѣстницу, которая вела в комнату бѣдной воспитанницы”, — он остался в спальнѣ графини: карточная страсть побѣдила страсть любовную (так в молодости Пушкин из-за карт пропустил любовное свиданіе)...

Несмотря на очень малый размѣръ повѣсти, развитіе маніи Германа — захватываніе маніей всего существа его — проведено в ней

полно, от ея зарожденія до неизбѣжнаго конца — сумасшествія. Этой одной стороною своею “Пиковая Дама” представляет уже большой интерес, и исключительно ея значеніе в исторіи литературы, — а это только одна сторона гениальной повѣсти Пушкина...

“КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”.

“Капитанская Дочка” — послѣднее произведеніе Пушкина в художественной прозѣ — является вѣнцомъ всего творчества Пушкина. “Капитанская Дочка” такъ совершенна, что намъ понятно увлеченію ею Гоголемъ. — Гоголь готовъ былъ считать ея самымъ великимъ міровымъ произведеніемъ. “Капитанская Дочка” — не только самое завершенное, совершенное и отдѣланное прозаическое произведеніе Пушкина, но и самое развитое. В то время, какъ не только “Повѣсти Бѣлкина”, но и “Пиковая Дама” (которая могла бы быть большимъ романомъ) являются гениальными набросками, повѣствованіе “Капитанской Дочки” — исторической повѣсти-хроники — гораздо болѣе развито, хотя и в ней мы находим много недомолвокъ, отчасти сознательныхъ, нарочитыхъ. К такимъ недомолвкамъ и умалчиваніямъ надо относить недостаточное развитіе соціальнаго фона и — темы русскаго бунтарства, которая сближаетъ “Капитанскую Дочку” с “Дубровскимъ” и которая всю жизнь интересовала Пушкина (недаромъ ето привлекали къ себѣ всѣ бурныя эпохи русской исторіи и ея поворотные пункты). В силу необходимости Пушкинъ долженъ былъ говорить только намеками, но за то эти намеки очень выразительны: и суггестирующіе и поучительные! Пушкинъ зналъ темныя стороны народа и боялся русской слѣпой бунтарской стихіи, которая не знаетъ удержу и при которой жестокие и звѣрскіе инстинкты заглушаютъ всю безконечную народную доброту и мягкость (такъ хорошо зналъ совмѣщеніе в русскомъ народѣ этихъ противоположныхъ свойствъ только одинъ Достоевскій). Тѣ, кто стараются за сходную пѣну сдѣлать изъ свободолюбиваго в самомъ полномъ и истинномъ смыслѣ слова поэта *революціонера*, никогда не смогутъ зачеркнуть этихъ горящихъ неморькующимъ свѣтомъ словъ в “Капитанской Дочкѣ”: “Не приведи Богъ видѣть русскій бунтъ, безсмысленный и безпощадный! Тѣ, которые замышляютъ у насъ невозможные перевороты, или молоды и *не знаютъ нашего народа*, или ужъ люди жестокосердые, коимъ и своя шейка копѣйка и чужая головушка полушка”. Но изъ этого категорическаго порицанія революціи, насильственнаго переворота, отнюдь не вытекаетъ проповѣдь консерватизма, неизмѣняемости режима. Болѣе того: даже для того, чтобы не было страшнаго народнаго бунта, необходимо уничтожить то, что можетъ питать народный гнѣвъ и бунтъ. И в той же “Капитанской Дочкѣ” находится множество намековъ и на это. Разсказавъ о “жестокомъ” XVIII вѣкѣ (узаконеніи жестокости), мемуаристъ семейной хроники продолжаетъ: “Когда вспомню, что это случилось на моемъ вѣку, и что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія Императора Александра, не могу не дивиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію *правилъ человеколюбія*. Молодой человекъ! если записки мои попадутъ в твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, кото-

рья происходят от улучшенія нравов, без всяких насильственных потрясеній”. Ясно Пушкин не мог сказать свою мысль, как не мог и договорить ее, — не мог сказать, что с “правилами челоѡколюбія” несовмѣстимо существованіе крѣпостного права, которое при Николаѣ I (т. е. тогда, ко-да создавалась “Капитанская Дочка”) питало крестьянскія возстанія.

“Капитанская Дочка” была написана под влияніем “Вальтер Скотта и на основаніи устных и печатных матеріалов, относящихся к Пугачевскому бунту и к его эпохѣ. Вліяніе Вальтер Скотта сказалось и в отдѣльных незначущих мелочах и совпаденіях, но больше всего в



Поэт Д. В. Веневитинов,
«пѣвец Зинаиды» и друг Пушкина.

общем тонѣ повѣствованія: Пушкин видѣл главную прелесть романов В. Скотта в том, “что мы знакомимся с его романами, не с *enflure* французской трагедіи, не с чопорностью чувствительных романов, не с *dignité* исторій, но современно, но домашним образом”. “Домашній стиль” семейной хроники, написанный от имени Гринева, так же совершенно выражен, как стиль Бѣлкина в “Повѣстях Бѣлкина”, как письмо няни и романтическая декламация Дубровскаго в “Дубровском”, как... и т. д. — Пушкин был мастером и стиля и стилизаціи.

Но вот что интересно: “Капитанская Дочка” была написана *послѣ* “Исторіи Пугачевского Бунта” (в 1836 году), и между тѣм историческія лица изображены в романѣ иначе, чѣм в “Исторіи”. Это требует объясненія. Пушкин различал двѣ исторіи, обѣ *подлинныя исторіи*: исторію — голый факт, исторію, какою она была сама по себѣ, и исторію-легенду, исторію, какою она представлялась народному воображенію, какою ее творил народ — и она творила и двигала народныя массы. Какая из этих исторій была болѣе подлинною?—Порою Пушкину казалось, что настоящая исторія — народная, и он готов был обрушиваться на отвлеченную историческую “првду” с проклятїями:

Да будет проклят правды свѣтъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угрождает праздно...

Во всяком случаѣ в художественных своих произведеніях Пушкин всегда заботился о созданіи легендарно-историческаго лица, нападая на тѣх, кто “своевольно” искажает исторію. Так он поступал и в “Полтавѣ”, и в “Мѣдномъ Всадникѣ” и даже в “Арагѣ Петра Великаго” — Петр Великій иным рисуется в его художественных произведеніях и в его исторических матеріалах. Поэтому-то и добрый и страшный Пугачев в “Капитанской Дочкѣ” — и в “Истории Пугачевского бунта” — два разных и иногда не похожих друг на друга лица. Поэтому же на историческую часть “Капитанской Дочки” гораздо больше вліяли устныя легенды и рассказы современников Пугачева, чѣм историческіе матеріалы.

В 1833 году Пушкин ѣздил в Поволжье, на мѣста Пугачевского бунта и жадно слушал рассказы старожиллов. Вліяніе этих рассказов сказалось на многих подробностях (так, сцена присяги в “Капитанской Дочкѣ” всецѣло заимствована из рассказов бердской казачки, которая помнила это время так же, как по словам поэта, он с женой 1830-ый год), но больше всего эти рассказы повліяли на созданіе образа самого Пугачева. “Страшный мужик” Емелька Пугачев нарисован такими же правдивыми огромными чертами, какими рисует своих богатырей русская народная пѣсня и сказка. Пугачев Пушкина не вполне соотвѣтствует Пугачеву исторіи, но вполне соотвѣтствует тому богатырю, каким его видѣл народ. По народным легендам, Пугачев был великодушен, и уральскіе казаки сваливали всѣ ужасы Пугачевщины на приближенных “господ енаралов” (“это наши пьяницы его мутили”, говорили они). Анекдот о лютеранском пасторѣ, которому Пугачев подарил жизнь (и посадил на коня) за то, что тот подавал ему мѣдные гроши во время прогулок Пугачева в кандалах по Казани (Пушкин замѣнил гроши заячьим тулупом), послужил фабулой “Капитанской Дочки” и лишним стимулом для великодушія “страшнаго мужика”. Весь бунт Пугачева построен на рискѣ, на том страшном русском “авось”, которому нечего терять. Эта стихійная безшабашность страшна своей силой, которой нѣтъ удержу, которая ни перед чѣм не останавливается, потому что ничего не видит, — все бѣжит перед ея слѣпым, отчаянным натиском, ничто не сопротивляется и не может устоять перед этой безумной храбростью-разбоем. Народу импонировал этот богатырь-разбойник с его безграничным удальством русскаго “авось”, и народ встрѣчал Пугачева колокольным звоном и хлѣбом-солью.

Понимал ли Пушкин соціальныя основы бунта самозванца? Фраза Хлопуши говорит, что безусловно понимал: “Ты уж оскорбил казаков, говорит он Пугачеву, посадив дворянина им в начальники”...

Своими двумя планами — семейным и военным (и мы готовы отдать предпочтеніе первому — изображенію семейств простых людей —

Гриневых и Мироновых) — “Капитанская Дочка” предваряет двуплаенный роман Толстого “Война и Мир” (собственно тоже — история войны и история семей, военная и семейная жизнь). “Война и Мир”, конечно, болѣе красочна; но в каких-то отношеніях написанная болѣе сжато, болѣе очерками, болѣе карандашом, чѣм красками, “Капитанская Дочка” совершеннѣе ея, как историческій роман: она болѣе воскрешает свою эпоху, и не столько ея внѣшнюю сторону, ея внѣшній быт, сколько самую психику людей XVIII вѣка...

Мы далеко не исчерпали, даже бѣглыми, разрозненными замѣтками-набросками, нашей темы, так как, кромѣ “Арапа Петра Великаго”, не говорили ни о каких неоконченных произведеніях Пушкина. А между тѣм среди них множество драгоценнѣйших камней, и в их числѣ — такіе прекрасные, как “Исторія села Горюхина” и “Египетскія Ночи”.

М. Л. Гобман.

СВѢТЛАЯ ПЕЧАЛЬ

Мнѣ грустно и легко; печаль моя светла.

Чѣм больше вдумываешься в духовный мір Пушкина или, вѣрнѣе, непредвзято отдаешься его дѣйствию на себя, тѣм острѣе чувствуешь, как мало еще доселѣ осознаны и оцѣнены его богатство и глубина. Позволю себѣ повторить то, что я сказал к 100-лѣтію смерти Пушкина: “Несмотря на всеобщее признаніе Пушкина величайшим, несравненным русским гением, в русском сознаниі господствует доселѣ какое-то равнодушное, отчасти даже пренебрежительное отношеніе к нему. Настоящіе цѣнители Пушкина, люди, постоянно перечитывающіе его творенія, люди, для которых Пушкин “вѣчный спутник”, источник жизненной мудрости — в русском обществѣ доселѣ одиночки. Тѣнь писаревского отношенія к Пушкину еще продолжает витать в русском общественном сознаниі. Всѣ охотно готовы нести дешевую, условную дань уваженія гениальности Пушкина, как “чистаго поэта”, и этим откупаются от необходимости познавать его и интересоваться им”^{*)}. Это поверхностное отношеніе к духовному міру Пушкина отчасти опредѣлено самой формой его поэзіи. Она так законченно прекрасна, что эстетически приковывает к себѣ, плѣняет сознаніе читателя и — странным образом — отвлекает вниманіе от глубины и значительности выражаемаго ею духовнаго содержанія; и она по большей части так непритязательна и наивно-простодушна, что поверхностному взгляду ея смысл кажется недостаточно серьезным.

Было бы, конечно, варварством не оцѣнивать совершенства этой поэтической формы. Но пора бы, наконец, признать, что она не есть нѣчто самодовлѣющее, что можно надлежащим образом, вполне воспринять и оцѣнить внѣ отношенія к тому, что она выражает. Ея простота, ея совершенство, ея чарующая прелесть есть в конечном итогѣ свидѣтельство того очарованія, которое присуще правдивому, адекватному откровенію глубочайшей духовной истины. Сужденіе Льва Толстого: “нѣтъ величія, гдѣ нѣтъ простоты и правды” можно и обернуть: гдѣ есть простота и правда — и гдѣ есть истинная красота — там всегда есть духовное величіе, духовная значительность.

В предлагаемом кратком и естественно фрагментарном размышленіи я хотѣл бы обратить вниманіе на один доминирующій мотив духовнаго міра Пушкина, обычно менѣе всего замѣчаемый и даже прямо отрицаемый. Пушкина принято считать поэтом “ж и з н е р а д о с т н о с т и ” и противопоставлять дух его поэзіи мотиву т р а г и з м а,

^{*)} О задачах познанія Пушкина. Бѣлградскій юбилейный сборник, 1937.

господствующему во всей остальной великой русской литературѣ 19-го вѣка. Тон этот задал уже Гоголь. Восхищеніе поэзіей Пушкина завершается у него предупрежденіем, что “Пушкина нельзя повторять”. Смысл этого предупрежденія уяснен в словах: “Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всѣм струнам, какія ни есть в русском человѣкѣ, внесет в самыя огрубѣлыя души святыню...” (Гоголь при этом забыл, что сам Пушкин примѣрно в таких же словах говорил о своей собственной поэзіи: “в ы с т р а д а н н ы й стих, пронзительно-унылый, ударит по сердцам с невѣдомою силою”). А если, слѣдуя авторитетному свидѣтельству Мицкевича, к тому же убѣдительно



Портрет Пушкина, работы П. Соколова.
(Акварель).

обоснованному Вл. Соловьевым, признать, что под “Пророком” Пушкин разумѣл поэта, то и слова “глаголом жги сердца людей” по мысли Пушкина должны быть отнесены к назначенію его поэзіи). Сужденіе Гоголя восторжало позднѣе в безчисленных вариантах. Хомяков высказал мнѣніе, что духовной личности Пушкина “недоставало басовых тонов”. Пренебреженіе к духовному міру Пушкина втеченіе всей второй половины 19-го вѣка именно за отсутствіем в нем мотива “скорби” (в частности — “гражданской скорби”) общезвѣстно. И еще в наши дни К. Мочульскій в своей книгѣ о Гоголѣ утверждал, что если бы русскій дух пошел по пути Пушкина, мы имѣли бы одного Майкова, но не имѣли бы великой русской литературы. Но — не говоря уже о сомнительности эстетическаго сближенія Майкова с Пушкиным — не ясно ли, что величайшій послѣ Пушкина русскій художник слова Лев Толстой есть, именно в качествѣ художника, прямой и вѣрный преем-

ник пушкинской традиціи. А Н. А. Бердяев, не скрывавшій своей не-любви к Пушкину, назвал его “единственным ренессансным духом” в Россіи, разумѣя под этим, очевидно, что духовный смысл поэзіи Пушкина исчерпывается лишенным трагизма культом красоты и радости земной жизни. А так как отсутствіе воспримчивости к трагизму человѣческой жизни есть безспорный признак духовной поверхностности, то это господствующее сужденіе о Пушкинѣ равносильно отрицательной или пренебрежительной оцѣнкѣ общаго смысла его творчества.

Столь общераспространенное мнѣніе о наивной жизнерадостности Пушкина должно, конечно, имѣть какое-то основаніе — или, вѣрнѣе, должно имѣть какой-то реальный повод для своего возникновенія. Ближайшій повод настолько бросается в глаза, что о нем достаточно коротко упомянуть. Пушкин был дѣйствительно по своему темпераменту, по стихійному, физиологически опредѣленному душевному складу человеком “жизнерадостным”. В юности это выражалось в буйном веселіи, в неутолимой жаждѣ наслажденій, в склонности к шуткам и смѣху, в игривом кипѣніи души. В зрѣлом возрастѣ это сказывалось в его общительности, в сочувственной отзывчивости, в отталкиваніи от всякаго пуританства, от всего нарочито-суроваго и угрюмаго. По свидѣтельству Хомякова, его смѣх был столь же чарующим, как его стихи. Хотя и эта, чисто психологическая характеристика требует оговорок (современники говорят о припадках меланхоліи у Пушкина, и он называл себя “хандрливым”), но все же в общей формѣ она безспорно сохраняет силу.

К другому, болѣе глубокому и существенному основанію указанного общераспространеннаго сужденія я вернусь ниже. Здѣсь я хотѣл бы лишь указать, что судить о смыслѣ и существѣ поэзіи Пушкина только на основаніи того, что эта черта его характера отразилась и на ней, было бы крайне поверхностно. Приходится все же изумляться, как мало замѣчен и учтен доселѣ именно трагическій элемент поэзіи Пушкина. И при том — как бы парадоксально это ни звучало — можно рѣшительно утверждать, что чувство трагизма жизни есть, по меньшей мѣрѣ, один из главных, доминирующих мотивов его поэзіи. Оставим в сторонѣ, чтобы не усложнять вопроса, ноты “унынія” и “тоски”, звучащія в раннем, лицейском періодѣ его творчества; допустим, что они суть, как однажды позднѣе сказал сам Пушкин, “элегическія затѣи” (хотя я не думаю, чтобы такое объясненіе было исчерпывающим; такой дух, как Пушкин, даже в ранней юности не мог быть просто подражателем моды и не мог изображать чисто фиктивных настроеній; и слишком ясна внутренняя связь этих ранних мотивов с позднѣйшими). Возьмем только зрѣлую лирику Пушкина (включая лирическія признанія в его поэмах). Я прошу разрѣшенія читателя привести немногія общеизвѣстныя строки Пушкина; но я также прошу его при этом, слѣдуя наставленію одного из немногих истинных цѣнителей Пушкина, М. О. Гершензона, “читать Пушкина медленно и внимательно”.

“Так исчезают заблужденья с души и змученной моей”.
“Душа, как прежде, каждый час полна томительною думой”.

“В душѣ утихло мрачных дум однообразное волнение”. “В их наготѣ я нынѣ вижу и свѣтъ, и жизнь, и дружбу, и любовь, угрюмый опыт ненавижу...”. “Мой стих, унынья звук живой...”. “Все мрачную тоску на душу мнѣ наводит”. “Темною стезей я проходил пустыню міра”. “Томленья грусти безнадежной”. “Душевных наших мук не стоит мір”. “Тоскует он (поэт) в забавах міра...”. “В умѣ, подавленном тоской, тѣснится тяжелых дум избыток”. “Томит меня тоскою одозвучный жизни шум”. “Печаль минувших дней в моей душѣ чѣм старѣ, тѣм сильнѣй”. “О люди, жалкій род, достойный слез и смѣха!”. “Горькія кнѣжи в сердцѣ чувства”. Вино дает “минутное забвенье горьких мук”. “Насвѣтъ счастья нѣтъ, а есть покой и воля”. “Кто жил и мыслил, тот не может в душѣ не презирать людей”. Свое главное, любимое твореніе “Евгеній Онѣгин” Пушкин опредѣляет, как плод “ума холодных наблюдений и сердца горестных замѣтъ”, и это опредѣленіе несомнѣнно примѣнимо и к многим другим его твореніям.

Этих немногих, наудачу выбранных примѣров достаточно, чтобы непосредственно воспринять, какое существенное мѣсто занимают в духовной жизни Пушкина чувства горечи, унынія, разочарованія, сознанія имманентнаго трагизма жизни. Да это, в сущности, понятно и само собой; Пушкин был и слишком умным человѣком, чтобы не учитывать этого очевиднаго факта, и слишком страстной и живой натурой, чтобы не переживать его на самом себѣ. Как всегда у Пушкина, правдивость этих поэтических высказываній может быть подтверждена личными признаніями его писем. Он пишет Осиповой: “повѣрьте мнѣ, жизнь, хотя и “сладостная привычка”, содержит в себѣ горечь, от которой наконец дѣлается противной”. “Я — атеист счастья; я не вѣрю в него”. Плетневу: “чорт меня надоумил бредить о счастьѣ, как будто я для него создан”. Дельвигу к его женитбѣ: “будь счастлив, хотя это чертовски мудрено”.

Наряду с лирическими исповѣданіями трагического жизнеощущенія слѣдует обратить вниманіе на то, какое существенное мѣсто в творествѣ Пушкина занимает объективное описаніе трагического начала в человѣческой жизни — что, кажется, тоже еще недостаточно осознано. Об этом свидѣтельствует, прежде всего, драматическое дарованіе Пушкина, которое в “Борисѣ Годуновѣ” бесспорно достигает Шекспировской силы. Всѣ маленькія драматическія сцены посвящены описанію — и сколь мастерскому! — темных демонических сил, властвующих над человѣческой душой и губящих ее. Из поэм — оставляя опять в сторонѣ произведенія юношеской, романтически-байронической эпохи — наиболее зрѣлыя и совершенныя — “Полтава” и “Мѣдный Всадник” — полны самаго напряженнаго драматизма и кончаются трагической гибелью всѣх дѣйствующих лиц. О “Полтавѣ” сам Пушкин говорит, что образ Мазепы возбуждал в нем такой ужас, что он лишь большим усиленіем воли преодолѣлъ желаніе бросить этот замысел.

Настроение “Мѣднаго Всадника” характеризуется в вступлении словами “печален будет мой рассказ”. Но интереснѣе всего в этом отношении “Евгеній Онѣгин”. При всем многообразіи содержанія и разсѣянных в “Онѣгинѣ” “полу-смѣшных, полу-печальных” наблюдений и размышлений, роман имѣет своим композиціонным сосредоточіем три образа: Евгенія, Татьяны и Ленскаго. Изображается трагическое крушение всѣх трех этих жизней. Ленскій безмысленно гибнет от столкновения своей невзрѣлой мечтательности с циническим душевным холодом Онѣгина, а отчасти и с собственным ложным стыдом перед “кумиром общественного мнѣнія”. Онѣгин остается с опустошенной душой, теряет по винѣ своего душевнаго холода счастье своей жизни. Сердце “бѣдной Тани” разбито навсегда, хотя эта трагическая гибель озарена свѣтом добровольнаго самоотреченія.

Из повѣстей Пушкина в “Капитанской дочкѣ” — трагическое вторженіе ужасов пугачевщины (“русскаго бунта, безмысленнаго и безпощаднаго”) в мирную жизнь простых, добрых русских людей; “Дубровский” — трагедія столкновения между царящей в жизни неправдой и пробужденным ею духом отчаянія и мести. “Пиковая Дама” гениально изображает, как затаенная порочная страсть (ж. наживѣ) ведет человѣческую душу через преступленіе и соприкосновеніе с оккультными силами к безумію. И даже сравнительно идиллическія “Повѣсти Бѣлкина” содержат описаніе демоническаго образа Сильвіо (“Выстрѣл”) и безысходно печальный разсказ о человѣческом безсердечіи и легкомысліи, разбивающем жизнь стараго станціоннаго смотрителя.

Присмотримся теперь ближе к характеру и содержанію трагическаго жизнеощущенія Пушкина. В этом отношеніи есть существенное отличіе Пушкина напримѣр от такого типическаго представителя трагическаго духа, как Лермонтов. Несмотря на всю силу поэтическаго слова, Лермонтов настолько субъективен, что никогда не в состояніи объяснить — ни себѣ самому, ни читателям —, отчего собственно он страдает. Пушкин, напротив, слишком объективен и мудр, чтобы просто жаловаться на свои страданія; он сознает их объективное основаніе и объясняет их. Я дерзаю утверждать, что у Пушкина есть нѣчто вродѣ философіи трагизма человѣческой жизни. Но прежде, чѣм обратиться к систематическому изложенію, остановлюсь на отдѣльных примѣрах.

Возьмем “Стансы” (“Брожу ли я вдоль улиц шумных”). На первый взгляд — и таково, кажется, господствующее сужденіе — Пушкин в прекрасных, как всегда у него, стихах выражает весьма банальную истину, что всѣ мы смертны. Но истинный поэт никогда не высказывает отвлеченных мыслей; он всегда выражает живое воспріятіе реальности. В “Стансах” выражено напряженное, отчетливое сознаніе всецѣлой власти смерти над жизнью. Пушкин угнетен сознаніем роковой обреченности всякой человѣческой жизни. У Толстого Ивану Ильичу до его смертельной болѣзни никогда не приходило в голову, что заученный им на школьной скамьѣ силлогизм: “всѣ люди смертны; Кай человѣкъ, слѣдовательно, Кай смертен” имѣет живое, серьезное отношеніе к нему самому, Ивану Ильичу. Не основана ли вся наша повседневная жизнь на забвеніи факта смерти? Часто ли мы имѣем

живое сознание, что и мы сами, и все множество встречаемых нами людей самое позднее через несколько десятков лет, будем лежать мертвыми в земле? Часто ли мы строим и нашу собственную жизнь, и наши отношения к людям на основе этой безспорной истины? Церковь молится о даровании “памяти смертной”, как блага, необходимого для духовной мудрости. Именно эту память смертную отчетливо выражает *здѣсь Пушкин*. Он видит всю человеческую жизнь осѣненной темным крылом неизбежной смерти. Если это само по себе не есть еще религиозное восприятие жизни, то это есть во всяком случае напряженное и ясное метафизическое сознание, которое отсутствует у большинства людей. И в силу этого вся картина жизни предстает, озаренная нѣким неземным, одновременно и печальным, и умиротворяющим свѣтом.

Возьмем элегию “Безумных лет угасшее веселье”. Ея первые четыре строки дают цѣлую философию жизни — как бы нѣкій оригинальный вариант шопенгауэровской философии пессимизма. У Шопенгауэра, как известно, радость есть лишь краткій миг удовлетворения желанія, тогда как страданіе есть постоянный спутник всей жизни, ибо присутствует в самом ея существѣ — волѣ, желаніи, стремленіи, которые предполагают неудовлетворенность. Сама по себе эта теорія чрезмерно упрощает, а потому искажает реальный состав душевной жизни. Пушкин, напротив, открывает нам глубокій психологическій опыт. Чувственные наслажденія быстро испаряются, оставляя послѣ себя горькій осадок; а печаль этого воспріятія неудовлетворяющей человеческую душу земной дѣйствительности крѣпнет вмѣстѣ с духовным созрѣваніем человека. Поэтому единственная, и достойная, и осуществимая цѣль жизни есть “мыслить и страдать”; и при этом человек может надѣяться быть утѣшенным — “меж горестей, забот и тревоженья” — духовными радостями.

Наконец, “Три ключа” — этот даже в составѣ пушкинской лирики исключительный поэтический перл. Одно из самых грустных стихотвореній мировой литературы. Жизнь — печальная пустыня; люди, странствующие по ней, обречены на неутолимую жажду. Лишь как бы в видѣ исключенія, они встрѣчают в ней три ключа — ключ беззаботнаго юношескаго веселья, ключ поэтическаго вдохновенія и — “холодный ключ забвенія”: “он слаще всѣх жар сердца утолит”. (Как всегда, у Пушкина можно найти повтореніе этого мотива. В описаніи Тартара (“Прозерпина”) поминаются “темной Леты усыпленные брега” и о них говорится: “там забвенье, там утѣхамъ итъ конца”). Условіе блаженства есть забвеніе земных впечатлѣній, отрѣшенность от них.

Эту — глубочайшую, но и “пессимистическую философию” Пушкина можно свести к двум основным положеніям. Первое из них состоит в том, что человеческій дух в своих завѣтных мечтах и упованіях одинок среди объективнаго міра дѣйствительности. Этот объективный мір есть, в первую очередь, “равнодушная природа”. Человѣческая жизнь кончается смертью, “в гробовой урнѣ” исчезает и краса, и страданія

любимой женщины, а “равнодушная природа” продолжает сиять “вѣчною красой”. Ветхій домик, в котором жила Параша, “мечта” бѣднаго Евгенія (“Мѣдный Всадник”), безслѣдно исчез перед злою силой наводненія, Евгенийъ сознает, что “вся наша жизнь ничто, как сонъ пустой, насмѣшка рока надъ землей”; и на слѣдующее утро уже нѣтъ “слѣдовъ бѣды вчерашней; багряницей уже покрыто было зло; в порядок прежній все вошло”. “Равнодушіе” природы, контраст между ея жизнью и упованіями человѣческаго сердца Пушкин особенно остро сознает в пору возрожденія природы — весною, и потому явленіе весны ему “грустно”. Как всегда, Пушкин даетъ этому чувству объективное объясненіе или даже рядъ объясненій, которые однако все кульминируютъ въ мысли “с природой оживленной сближаемъ думою смущенной мы увяданья нашихъ лѣтъ, которымъ возрожденья нѣтъ” (“Евгеній Онѣгин”, гл. VII). Напротивъ, “унылая пора” осени своей “прощальною красой” чаруетъ его, напоминая болѣзненную красоту безропотно умирающей дѣвушки.

Но в составъ равнодушнаго къ человѣческой личности объективнаго міра входит и толпа, массовый человѣческій міръ и обычный строй его жизни. Безчувствіе разрушительныхъ силъ природы сближается в приведенномъ мѣстѣ “Мѣднаго Всадника” с “безчувствіемъ холоднымъ” народа, идущаго по улицамъ, гдѣ только что произошла трагедія наводненія. Презрѣніе и отвращеніе Пушкина къ “толпѣ”, “черни”, “людскому стаду” — (при чемъ само собой очевидно, это для него не социальная категорія, а просто человѣческая среда, и прежде всего общество, къ которому онъ самъ принадлежалъ) — настолько общеизвѣстно, что нѣтъ надобности на немъ останавливаться. Вся его жизнь, и потому все его творчество основаны на напряженномъ сознаніи глубочайшей пропасти, отдѣляющей внутренней духовный міръ человѣка от коллективной человѣческой среды и внѣшняго строя ея жизни.

Таковъ первый тезисъ пушкинскаго “пессимизма”: одиночество в мірѣ глубинъ человѣческаго духа. Къ нему присоединяется второй тезисъ: и внутри себя самого человѣческій духъ подверженъ опасности со стороны ирраціональных, хаотическихъ, мятежныхъ страстей самой человѣческой души, влекущихъ ее къ гибели. Этотъ мотивъ духовной жизни и творчества Пушкина общеизвѣстенъ, особенно послѣ того, какъ сперва Мережковскій (в “Вѣчныхъ спутникахъ”) и позднѣе Гершензонъ (“Мудрость Пушкина”) обратили на него вниманіе (хотя оба исказили его значеніе, признавъ его идеаломъ духа Пушкина). Слово “мятежный” есть одно изъ наиболѣе частыхъ словъ пушкинскаго словаря. В остромъ воспріятіи темнаго міра человѣческихъ страстей, ихъ соблазнительности и гибельности плавная сила драматическаго дарованія Пушкина. Страсти, в ихъ столкновеніи с неумолимой реальностью, влекутъ къ безумію; это одна изъ излюбленныхъ темъ пушкинскаго творчества (Марія в “Полтавѣ”, Германъ в “Пиковою Дамѣ”, Евгенийъ в “Мѣдномъ Всадникѣ”; с этой же темой соприкасается “вѣщій сонъ” Татьяны).

О соблазнительности безумія есть лирическое признаніе самого Пушкина (“Не дай мнѣ Богъ сойти с ума”): “я пѣлъ бы в пламенномъ бреду, я забывался бы в чаду нестройныхъ, чудныхъ грез... и силен, воленъ

был бы я...". Еще болѣе извѣстно признаніе демоническаго влеченія человѣческой души к гибели: "Есть упоеніе в бою и бездны мрачной на краю, ... все, все, что гибелью грозит, для сердца смертнаго таит неизъяснимы наслажденья" (ср. о Танѣ: "Тайну прелесть находила и в самом ужасѣ она; так нас природа сотворила, к противорѣчіям склонна"). Автобиографическое значеніе этого мотива подтверждается множеством свидѣтельств, да и самой жизнью Пушкина. Но это влеченіе к гибели есть лишь апогей соблазнительности темнаго, стихійнаго, анархическаго начала страсти вообще: "Страстей безумных и мятежных как учительн язык... Боюсь их пламенной заразы"; "Вѣтру и орлу и сердцу дѣвы нѣтъ закона... Гордись, таков и ты, поэт...".

Пушкин обладает исключительным мастерством в описаніи темных, губительных страстей человѣческой души; Достоевскій в своих великих открытіях в этой области идет по пути, по существу уже намѣченному Пушкиным. Смирнова передает сужденіе Пушкина об "обаяніи зла": "Это обаяніе было бы необъяснимо, если бы зло не было одарено прекрасной и пріятной вѣшностью. Я вѣрю Библии во всем, что касается сатаны. В стихах о падшем духѣ, прекрасном и коварном, заключается великая философская мудрость".

Темныя стихійныя страсти, лишая человѣка устойчиваго духовнаго равновѣсія, уже сами по себѣ влекут его к гибели. Пушкин говорит о "безумствѣ гибельной свободы". "И всюду страсти роковыя, и от судьбы спасенія нѣтъ". Но есть еще одно обнаруженіе трагизма грѣховной человѣческой души, привлекающее особое вниманіе Пушкина: муки угрызенія совѣсти. Кажется, и этот элемент творчества Пушкина остался еще недостаточно оцѣненным. Пушкин не имѣет соперников в русской литературѣ в описаніи угрызеній совѣсти, раскаянія. Кажется странным, но совершенно безспорно, что Достоевскій, гениально изображая и нстинктивную реакцию подсознательных глубин человѣческой души на преступленіе, нигдѣ не дает описанія мук совѣсти, сознательнаго нравственнаго раскаянія. Напротив, у Пушкина лирическое исповѣданіе "Когда для смертнаго умолкнет шумный день", описаніе мук совѣсти Бориса Годунова и Мазепы, угрызенія Онѣгина послѣ убійства Ленскаго — классичны по своей художественной силѣ и выразительности, стоят на уровнѣ шекспировскаго "Макбета".

Угрызенія совѣсти описываются ближайшим образом в их мучительной безысходности; в этом именно и трагизм. "И с отвращеніем читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуясь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю". "И рад бѣжать, да некуда... ужасно! Да, жалок тот, в ком совѣсть нечиста". "Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней, ... того змѣя воспоминаній, того раскаянье грызет". Но Пушкин знает также, что бесплодное раскаяніе о непоправимом прошлом, дойдя до предѣла, может перейти в покаяніе, нравственное очищеніе и просвѣтленіе.

"Воспоминаньями смущенный, исполнен сладкою тоской", он в зрѣлом возрастѣ входит в сады Царскаго Села — пріют его блаженной юности. "Так отрок Библии — безумный расточитель, до капли истощив раскаянья фѣал, увидѣв

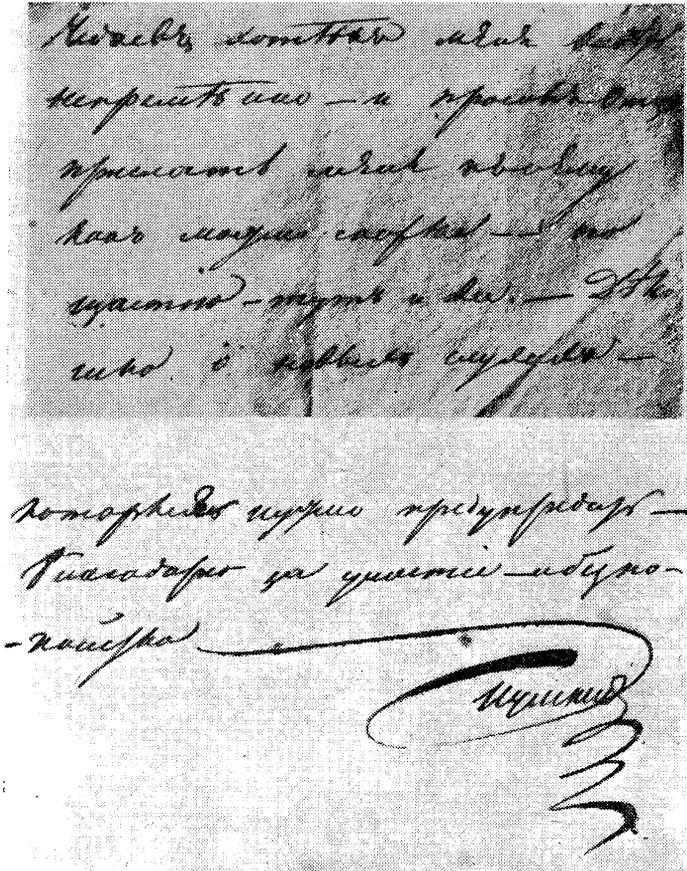
наконец родимую обитель, главой поник и зарыдал". Последний итог нравственного процесса есть духовное возрождение. "Так исчезают заблужденья с души измученной моей и возникают в ней видѣнья первоначальных, чистых дней".

Но здѣсь мы стоим уже на поворотном пунктѣ нашего размышленія. При всем значеніи трагизма в творчествѣ Пушкина, его уясненіе представило бы духовный міръ Пушкина в искаженной перспективѣ, если его не дополнить. Глубоко и ясно видя трагизм человѣческой жизни, Пушкин, сполна его извѣдав, вѣдает и такой глубинный слой духовной жизни, который уже выходит за предѣлы трагизма и по самому своему существу исполнен покоя и свѣтлой радости. Он находит его в уединеніи, в тихой сосредоточенности размышленія и творчества. Наряду с словами "мятежный", "томленіе", "мука", "страсть", такія слова, как "уединеніе", "умиленіе", "тишина", "дума", "чистый", "свѣтлый", "ясный" составляют основной элемент пушкинскаго словаря. "В глуши звучитъ голос лирный, живѣе творческіе сны". "В уединеніи величавом ... творческія думы в душевной зрѣют глубинѣ". "Для сердца новую вкушаю тишину. В уединеніи мой своенравный гений познал и тихій труд и жажду размышленій". Ему вѣдома "свѣтлых мыслей красота". В ушедшей юности ему дороги только "минуты умиленья, младых надежд, сердечной тишины", "жар и нѣга вдохновенья". "Я знал и труд, и вдохновенье, и сладостно мнѣ было жарких дум уединенное волненье". "Ты вновь со мною, наслажденье, спокойныя чувства, ясен ум". Стремленіе к уединенному созерцанію и наслажденіе им проходят через всю жизнь и творчество Пушкина, по большей части символизируясь в культѣ "пенатов" (или "ларов"). Последняя, повидимому, стихотворная строка Пушкина ("пора, мой друг, пора...") говорит о стремленіи "в обитель дальнюю трудов и чистых нѣг"; за ней слѣдует, как извѣстно, прозаическая личная запись: "Скоро ли перенесу мои пенаты в деревню" и пр.

И в этой области мы тоже находим у Пушкина нѣкое философское обоснованіе его душевнаго настроенія. Оно дано в его извѣстном "гимнѣ" пенатам ("Еще одной высокой, важной пѣсни..."). Здѣсь Пушкин достигает глубины мистическаго самосознанія. Совершенно несущественно при этом, что мысль его облечена в излюбленную им мифологическую форму античнаго культа пенатов. Как видно из самаго текста стихотверенія, это есть только неопредѣленное, условное обозначеніе для "таинственных сил", с которыми в тишинѣ уединенія соприкасается углубленное самосознаніе.

...Оставил я людское стадо наше,
Дабы стеречь вашъ огонь уединенный,
Бесѣдуя одинъ с самимъ собою.
Часы неизвѣстныхъ наслажденій!
Они даютъ намъ знатьъ сердечную глубь,
Они любить, лелѣять научаютъ
Несмертныя, таинственныя чувства,
И насъ они научатъ первой учатъ —
Чтитьъ самого себя.

Здѣсь Пушкинъ находитъ ясныя, проникновенныя слова для выраженія основного положенія мистическаго опыта, в разных формах, но всегда с одинаковым смыслом выраженнаго множеством мистиков. Оно состоит в том, что в послѣдней глубинѣ человѣческой души для сосредоточеннаго, отрѣшеннаго от вѣшних впечатлѣній и волненій самосознанія открывается, какъ говоритъ св. Франциск Сальскій, “уже нѣчто



Полная подпись Пушкина, 1820 года,
 (под запиской Н. И. Гнѣдичу, перед высылкой из СПб).

сверхчеловѣческое”, горит “искорка” божественнаго свѣта (Мейстер Экхарт). (В другом стихотвореніи “Два чувства дивно близки нам” Пушкинъ воспринимаетъ душу, какъ “алтарь божества”).

Этимъ послѣдній, глубинный слой человѣческаго духа отчетливо отмежеван от чисто субъективной — пользуясь словом Ницше, “человѣческой, слишкомъ человѣческой” — душевной жизни. Философское и религіозное различіе между “духом” и “душой” становится отчетли-

вым только на основаніи этого сознанія. В конкретной душевной жизни большинства людей это различіе скорѣе только смутно чувствуется, и оба начала по большей части как-то неразличимо слиты, переливаются одно в другое. Как увидим тотчас же далѣе, и у Пушкина эта духовная глубина находит свое отраженіе в душевной жизни и просвѣчивает сквозь нее. Но вмѣстѣ с тѣм для Пушкина характерна отчетливость различія между ними. Это отмѣчено многими современниками. Сам Пушкин признает в себѣ эту двойственность в формѣ указанія на чередованіе в нем двух разнородных духовных состояній: “Прошла любовь, явилась муза...” и “Пока не требует поэта” и пр. Но столь же характерна их одновременная совмѣстность в нем. Это вносит в его жизнь двойственность, в которой источник и нѣкотораго нравственнаго несовершенства, и необычайной внутренней просвѣтленности и углубленности. В молодости, в петербургской и кишиневской період жизни он сочетает и разгул буйнаго веселья, и мученія страстной любви и ревности с почти отшельнически-уединенным созерцаніем и нравственным размышленіем, плоды котораго выражены, на примѣр, в “Деревнѣ” и в “Посланіи къ Чаадаеву” (“В странѣ, гдѣ я забыл тревоги прежних лѣтъ”, “Для сердца новую вкушаю тишину” и пр.). Даже послѣдніе дни его жизни, перед дуэлью, проникнуты той же двойственностью. В то время, как он кипѣлъ в страстных муках оскорбленнаго самолюбія, написал изступленно-бѣшеное оскорбительное письмо къ Геккерну (основанное к тому же лишь на неурѣвренном и, как теперь выяснилось, несправедливом подозрѣніи), ставил условіем дуэли: “чѣм кровавѣе, тѣм лучше” — в это самое время, по свидѣтельству Плетнева, “у него было какое-то высокое религіозное настроеніе. Он говорил о судьбѣ Промысла и выше всего ставил в человѣкѣ качество благоволенія ко всѣм”.

Пушкину в теченіе всей его жизни не удавалось то, что иногда удается и средним людям, менѣе страстным, чѣм он: духовное умиротвореніе практической нравственной жизни, исцѣленіе от душевнаго мятежа (на это — с излишней суровостью — указал Вл. Соловьев). Как мѣтко сказал Тютчев: “он был боговъ орган живой, но с кровью в жилах — жаркой кровью”. Лишь на смертном одрѣ он достиг послѣдняго, полнаго нравственнаго очищенія и просвѣтленія.

Нас интересует здѣсь, конечно, не нравственная оцѣнка Пушкина — дѣло и вообще мало умѣстное, а в особенности в отношеніи генія, обладавшаго великим духовным міром. Нам важно лишь уяснить фактъ скрытой духовной г л у б и н ы Пушкина.

Тишина, гармоничность, неизъяснимая сладость и религіозная просвѣтленность скрытаго, глубиннаго слоя духа Пушкина дают ему, с одной стороны, в силу контраста, возможность особенно отчетливо и напряженно сознать и трагизм, и суету и ничтожество человеческой жизни. С другой стороны, окрашивается свѣтлым колоритом само это трагическое сознаніе. Именно в силу религіознаго характера этого глубиннаго духовнаго слоя, т. е. сознанія его онтологической значительности, Пушкин воспринимает религіозную значительность, святость всяческаго творенія, всѣх явленій міра. Поэтическое воспріятіе

красоты — красоты женщины и красоты природы — есть для него одновременно утѣшающее и просвѣтляющее религиозное сознание. Мятёжная эротика Пушкина — один из главных источников его трагического жизнеощущения — имѣет тенденцію переливаться в религиозную эротика. Он не может “смотреть на красоту без умиления”; совершенная женская красота есть для него явление чего-то, стоящаго “выше міра и страстей”, и в ея созерцаніи он “благоговѣет богомольно перед святынней красоты”. Его эротическое чувство не вмѣщается в предѣлы земного міра, он заклинает умершую возлюбленную вернуться, чтобы снова выслушать его любовное признаніе, или ждет за гробом обѣщаннаго поцѣлуя свиданія. И ему близка средневѣковая эротическая религиозность (“Рыцарь бѣдный”). То же относится к его воспріятію природы. Он слышит “в грустном шумѣ” моря “ропот заунывный”, глухіе звуки, бездны глас”; он сравнивает море с духом Байрона, который был “как ты могущ, глубок и мрачен, как ты, ничѣм неукротим”; но в том же морском шумѣ он слышит и “глубокій, вѣчный хор валов, хвалебный гимн отцу міров”. Вид Кавказа, для него, откровеніе грозных стихійных сил природы (“Кавказ”); и одновременно пробуждается в нем религиозное чувство (“Монастырь на Казбекѣ”).

Но главный итог этой потаенной духовной жизни и испытанных в ней примиряющих “несмертных чувств” есть настроеніе общаго любовнаго вниманія к людям, в силу непосредственнаго религиознаго ощущенія значительности и святости всякой, даже самой ничтожной человѣческой души — драгоцѣнности человѣческой личности, как таковой. То “качество благоволенія ко всѣм”, которое он, по приведенному слову Плетнева, ставил выше всего в человѣкѣ, было в исключительной мѣрѣ присуще ему самому. Это видно по его письмам, это сказывается в его неизмѣнной вѣрности и нѣжности к школьным товарищам. На этом сходятся указанія множества современников. “Натура Пушкина болѣе была открыта к сочувствіям, нежели к отвращеніям. В нем было болѣе любви, нежели негодованія” — вспоминает Вяземскій. “Пушкин говорил: “у всякаго есть ум, мѣт не скучно ни с кѣм, начиная с будочника и до царя” (Воспоминанія Смирновой по запискам Полонскаго). “Пушкин говорил: “злы только дурали и дѣти” (Воспоминанія А. П. Керн). Его разбор книги Радищева кончается словами “Нѣтъ убѣдительности в поношеніях; и нѣтъ мстныи гдѣ нѣтъ любви”. Для его благожелательной широты и терпимости характерно его отношеніе к совершенно чуждому ему типу московских “любомудров” — шеллингианцев, адептов ненавистной ему нѣмецкой метафизики. “Что подѣлаешь”, — так оправдывается он в своем сближеніи с ними, — “собрались ребята теплые, упрямые: поп свое, а чорт свое”. В этой благожелательности непосредственная жизнерадостность темперамента Пушкина преобразуется, через приток духовных сил из глубины его личности, в сознательно осмысленную, нравственно-просвѣтленную общую жизненную установку. За нее ему, конечно, прощены всѣ грѣхи его страстной мятёжной натуры.

В творествѣ Пушкина это сказывается в характерном для него любовном отношеніи почти ко всѣм изображаемым им лицам. Холод-

ная, злая иронія, горькая сатира, основанная на отвращеніи, как у Гоголя и часто у Достоевскаго, ему чужда. Иронія Пушкина или грустна, или благодушно шутлива, но всегда снисходительна. Она заставляет читателя если не любить, то сочувственно понимать почти всѣх своих героев, даже дикаго злодѣя Пугачева и мрачнаго, преступнаго Германа. Исключенія — главное Мазепа — чрезвычайно рѣдки. На этом основан его, в русской литературѣ едва ли не единственный, дар художественно-правдиво, без малѣйшей идеализаціи, изображать простых, скромных, смиренно преданных долгу русских людей.

Нас интересует здѣсь, однако, больше всего отраженіе этой духовной установки на трагизмъ Пушкина. Он совершенно лишен элемента ожесточенія, озлобленности, бунтарства, столь характернаго напримѣр для Лермонтова и Достоевскаго. Пушкинскій трагизмъ есть, наоборот скорбная р е з и н ѣ я ц і я — печаль, смягченная примиреніем. Это не есть, конечно, еще подлинное христіанское смиреніе, но это есть человѣческая ступень к нему. Настроеніе чистой резиньяціи выражено в словах письма к Вяземскому: “Не сердись на судьбу, не вѣдает бо, что творит. Представь себѣ ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цѣпь? Не ты, не я, никто. Дѣлать нечего, так и говорить нечего”. Болѣе утѣшительную форму та же резиньяція принимает в благодушных умудренных простых словах извѣстнаго стихотворенія:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись;
В день унынія смирись,
День веселья, вѣрь, настанет.
Сердце в будущем живет.
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдет,
Что пройдет то будет мило.

Но одной резиньяціей, основанной на покорном пріятіи неизбежнаго горя жизни, не исчерпывается духовная умиротворенность, которую обрѣтает трагизмъ Пушкина. Резиньяція — лишь первая ступень к подлинному внутреннему просвѣтленію. Выше я указал, как безысходная трагика раскаянія в непоправимом восполняется у Пушкина описаніем нравственнаго очищенія души. Аналогичное духовное восполненіе находит у него трагическое воспріятіе жизни вообще. Если, как мы видѣли, вѣчно возрождающаяся красота природы стоит в мучительном контрастѣ к брѣнности и обреченности человѣческой жизни, к навсегда утраченной молодости человѣка и разбитым упованіям его сердца, то, с другой стороны, краса равнодушной природы, как и игра “младой жизни у гробоваго входа” прямо призывается, как нѣкое скорбное утѣшеніе в мысли о неизбежности смерти. Горькое размышленіе разрѣшается гармоническим минорным аккордом. В этом же смысл и очарованіе заключительной сцены “Онѣгина”: Татьяна отвергает позднюю любовь Онѣгина не из какого-либо холоднаго и гордаго пуританства, а из сознанія, что единственный путь к умиротворенію

и спасенію ея разбитой души лежит через самоотреченіе, исполненіе долга. Этот процесс внутренняго просвѣтлѣнія страсти находит свое выраженіе и в эротической лирикѣ Пушкина. Мятежная эротика не только сама приобретает у него религиозный отбѣнок, но сверх того сочетается с безкорыстной, благодной нѣжностью. “Любуясь дѣвою в томлени сладострастном”, поэт благословляет ее и желает ей “всѣ блага жизни сей, все — даже счастье того, кто избран ею, кто милой дѣвѣ даст названіе супруги”.

Самое трогательное выраженіе это настроеніе получает в описаніи духовнаго преображенія мучительной безответной любви в самоотверженное благоволеніе: “Я вас любил так искренне, так нѣжно, как дай вам Бог любимой быть другим”. Это стихотвореніе, быть может, одно из наиболѣе нравственно-возвышенных в міровой лирикѣ. В общей символической формѣ этот основоположный для Пушкина процесс просвѣтлѣнія и преображенія выражен в стихотвореніи “Послѣдняя туча разсѣянной бури”. Этому символическому описанію успокоенія и просвѣтлѣнія соотвѣтствует изумительная по краткости и выразительности формула в описаніи того же начала в духовной жизни: в одном стихотворном наброскѣ Пушкин высказывает требованіе, чтобы его душа была всегда “чиста, печальна и покойна”. И наконец этот процесс просвѣтлѣнія завершается благодным пріятіем всей трагики жизни. “Все благо ... Благословен и день забот, благословен и тьмы приход”.

На первый взгляд могло бы показаться, что и резиньяція, так сильно звучащая в поэзіи Пушкина, и даже это просвѣтлѣніе, завершающееся благодным примиреніем со всѣм, предполагает пассивное пріятіе зла и трагики жизни. Но это есть обманчивое впечатлѣніе. Пушкин был слишком страстно-живой, и слишком духовно-активной натурой, чтобы чистая пассивность могла быть его идеалом. Вѣрно только то, что бунтарство, возмущенное отверженіе міра на манер Ивана Карамазова совершенно не в его духѣ. Он достаточно мудр, чтобы ясно видѣть неизбѣжность, непреодолимость того, что он сам в одной замѣткѣ опредѣляет, как “вѣчныя противорѣчія существенности” (т. е. бытія). Но вмѣстѣ с тѣм он понимает — и эстетически и морально, что всякая трагедія должна имѣть развязку, завершеніе, и осмысленна только при их наличіи. Он никогда не упивается трагизмом, не тонет в нем пассивно. Трагизм дан человѣческому духу, чтобы быть преодоленным — так или иначе. И Пушкин реагирует на него с величайшей активностью. Когда он не в силах совладать с бушующей страстью, влекущей его к трагической безысходности, он сознательно ищет гибели — что вѣдь тоже есть исход. Именно так, согласно, объясняют трагическій конец его жизни всѣ свидѣтели этого конца. Но, как духовное и нравственное существо, Пушкин понимает неудовлетворительность такого исхода: “не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать”. Страданіе, озаренное и преображенное мыслью, должно само войти положительным фактором в процесс духовнаго преодоленія “вѣчных противорѣчій существенности”. Пушкин как бы понимает, что борьба идет здѣсь “не

против крови и плоти, а против духов злобы поднебесных". Но эта борьба требует величайшей или даже единственно подлинной, именно внутренней, духовной активности. Как вся жизнь Пушкина полна напряженного художественного творчества, так же она полна творчества духовного — интеллектуального и нравственного. Он учится "удерживать вниманье долгих дум". Итог этой неустанной духовной активности есть просвѣтленность его духа, странно уживающаяся в нем с до конца непреодолимой мятежностью натуры.

В этом мы находим послѣднее, болѣе глубокое объясненіе обычного недоразумѣнія о "жизнерадостности" Пушкина. Оно состоит в том, что форма его трагической по содержанію поэзіи не только вообще эстетически прекрасна, так что ея совершенство как бы заслоняет глубину ея содержанія, но и отражает на себѣ достигнутое им духовное просвѣтлѣніе: сіяет отраженным свѣтом духовнаго покоя.

Один из самых умных современных писателей, Альдоус Хэкслей, тонкій цѣнитель музыки, вѣрно замѣчает, что музыка Моцарта кажется веселой, на самом же дѣлѣ грустна. То же примѣнимо к поэзіи Пушкина, духовно родственной генію Моцарта. Эту родственность Пушкин и сам повидимому сознавал. Объясненіе в обоих случаях — одно и то же. Художественное выраженіе грусти, скорби, трагизма настолько пронизано свѣтом какой-то тихой, неземной, ангельской примиренности и просвѣтленности, что само содержаніе его кажется радостным.

Пушкин сам отмѣтил національно-русскій характер трагизма своей поэзіи: "от ямщика до перваго поэта — мы всѣ поем уныло". Но я думаю, что еще болѣе національно типично то своеобразие духовной формы его трагизма, которое я пытался намѣтить.

Событія послѣдняго полулѣтца — плод революціоннаго броженія русскаго духа, накоплявшагося начиная по крайней мѣрѣ с второй половины 19-го вѣка —, и преобладающее за послѣдніе сто лѣтъ направленіе русской литературы и мысли приучили нас думать, что существо русскаго духа состоит в какой-то вѣчно бунтующей, мятежной или безысходно томящейся установкѣ. В этом иногда даже принято усматривать существо самого русскаго христіанства. При этом забываются не только образцы русской святости, но и болѣе обычные типы характерно-русской праведности, духовнаго благообразія. Из народных типов, представленных в русской литературѣ — не говоря уже о типах у самого Пушкина — сюда относится, напримѣр, Платон Каратаев, Лукерья из "Живыхъ мощей" Тургенева, праведники Лѣскова.

В русской мысли — оставляя в сторонѣ церковныхъ мыслителей — этот духовный склад отражен еще недостаточно; но что-то от этого "пушкинско-русскаго" духа есть у такихъ мыслителей, как Сковорода, Герцен, Пирогов, Вл. Соловьев (у каждаго на свой лад). Из русскихъ писателей и поэтовъ такое умудренное воспріятіе трагизма жизни встрѣчается у Боратынскаго, Тютчева, Толстого-художника, Чехова, а из нынѣ живущихъ — у Бунина и Ахматовой.

Правъ былъ все же Гоголь, признавшій именно Пушкина образцомъ истиннаго русскаго человѣка. Именно характерное для Пушкина сочетаніе трагизма с духовнымъ покоемъ, мудрымъ смиреніемъ и просвѣтлен-

ностью болѣе всего типично для русскаго духа. Его трагизм есть не мятеж, не озлобленіе против жизни, а тихая, примиренная скорбь, свѣтлая печаль.

Стихи, из которых я заимствую и заголовок, и эпиграф моего размышленія, кончаются, как извѣстно, словами: “И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может”. Ближайшим образом здѣсь имѣется в виду романтическая любовь к женщинѣ, но в это можно вложить и болѣе общій смысл. Печаль Пушкина свѣтла, потому что сердце его не может перестать горѣть и любить. Какая нравственная красота!

В заключеніе — оговорка общаго характера. Я не придаю моему размышленію значенія большаго, чѣм попытка внести скромный вклад в осознаніе духовнаго міра Пушкина. Оно не претендует быть сколько-нибудь адекватным, хотя бы и только схематическим познаніем его общаго облика и существа, не говоря уже о том, чтобы исчерпать его. Всякую попытку отвлеченно опредѣлить это существо, выразить его в какой-либо законченной системѣ понятій я считаю безнадежной. Предѣл этому ставит существо поэзи, как таковой. Слишком полна живого многообразія та изумительная духовная реальность, которая на этом свѣтѣ носила имя Александра Пушкина.

С. Франк.

ПУШКИН В РУССКОЙ МУЗЫКѢ

Кажется, ни один русскій писатель не использован в музыкѣ так многосторонне, как Пушкин. Его поэзія и проза вызвали к жизни и оперы, и сценическую музыку, и симфоническія произведенія, и романсы. Отнимите от русской музыки все пушкинское и образуется вдруг тоскливая пустота.

Пушкин безконечно содержателен. У него много тем, а именно темы и нужны музыкантам. Умѣлому композитору легче написать тридцать двѣ варьяціи на одну тему, чѣм двѣ темы для варьяцій. Любая тема, поэтическая или музыкальная, получается как подарок свыше или заимствуется у кого-нибудь другого. Дальше идет «разработка» темы, ограничиваемая чувством формы, подходящей для даннаго произведенія. Симфонія без разработки не может быть названа симфоніей. Так и в темѣ фуги, как в зернѣ, уже должны быть сжаты всѣ возможные развѣтвленія будущаго развитія.

Темы Пушкина лаконичны и многосоставны, как и темы фуг. В них нѣтъ романтической размазанности, того, что можно назвать «настроением» без опредѣленнаго содержанія. Онѣ всегда философичны и скрывают сжатія, как в зернѣ, возможности музытія и инструментальнаго расцвѣчиванія.

кально-психологическаго и гармонико-контрапунктическаго разви-

Русскими композиторами на темы Пушкина написано множество романсов и более двадцати опер. (Иностранцы еще не создали пушкинских опер, хотя ими уже использованы Чехов и Гоголь).

В романах текст Пушкина остался неприкосновенным, но в оперных либретто, большею частью написанных различными авторами по Пушкину, осталась лишь тѣнь поэта и, однако, оперы эти считаются пушкинскими, несмотря на искаженія текста, иногда даже и мысли Пушкина.

Скажу нѣсколько слов об оперных текстах. Либретто «Руслана» сочинялось послѣ смерти Пушкина, не успѣваго выполнить своего намѣренія составить план и приспособить поэму для Глинки. В автобіографических записках Глинки читаем: «Бахтурин вмѣсто Пушкина! Как это случилось? — сам не понимаю». Помогали Глинкѣ многіе: Кукольник, Ширков, Геденовъ, Маркевич, сводя в одно цѣлое отдѣльныя части оперы. Кукольник, написав стихи для Финала оперы и сцены Ратмира, снабдил их впо-

слѣдствіи примѣчаніями на полях: «Я написал их с тѣм, чтобы по возвращеніи Ширкова они были замѣнены другими стихами со смыслом, но этого не послѣдовало». Многія сцены написал и сам Глинка. Опера, однако, продолжает считаться пушкинской. Глинка назвал оперу так: «Волшебная опера в пяти дѣйствіях, с сохраненіем многих стихов Пушкина». Живя в Парижѣ в 1853 г., Глинка в теченіе зимы прослушал в чтеніи нѣкоей Аделины «Тысяча и одну Ночь». В дневникѣ он записывает: «Жаль, что я не читал этих сказок до сочиненія моей оперы Руслан!» Композитор ненасытен. Волшебства в оперѣ казалось бы и так достаточно для оправданія названія «волшебной»...

Сказка о Царѣ Салтанѣ обработана для Римскаго-Корсакова по Пушкину В. Бѣльским. К счастью — хорошо. Этим же цѣнным сотрудником Римскаго-Корсакова составлено и либретто «Золотого Пѣтушка» (также и «Китежа»). В «Золотом Пѣтушкѣ» не только сохранена таинственная прелесть сказки Пушкина, но в силу сценических требованій досказано недосказанное поэтом, ограничившимся кое-гдѣ лишь намеком. «Сказка ложь, да в ней намек».

Все так же по Пушкину написаны либретто «Евгенія Онѣгина», «Пиковою Дамы», «Капитанской Дочки», «Кавказскаго плѣнника» (Кюи) и «Дубровскаго» (Направник). В замѣтках своих Пушкина называет «Бориса Годунова» комедіей, иногда — драмой и трагедіей. У Мусоргскаго это «Народная Музыкальная Драма по Пушкину и Карамзину» (тот же Мусоргскій свою неоконченную оперу «Женитьбу» сочинил на неизмѣнный текст Гоголя).

Были случаи и иного отношенія к текстам Пушкина. «Каменный Гость» Даргомыжскаго точно слѣдует тексту Пушкина. Также и «Пир во время чумы» Кюи. Подлинныя стихи Пушкина — и в небольшой оперѣ «Моцарт и Сальери» Римскаго-Корсакова. Однако же и тут, сохранив похвалы Гайдну, композитор выпустил из текста строки относящіяся к Глюку, «открывшему нам новыя плѣнительныя тайны», и строки о Пиччини, «плѣнявшему слух диких парижан» (Пиччини, соперник Глюка, приглашенный Маріей Антуанетой, умер в парижскомъ Пасси в 1800 году). Эти нѣсколько строк выпали повидимому не случайно: в «Основах оркестровки» Римскаго-Корсакова, по поводу примѣров из Глюка, сказано: «Язык этих примѣров слишком стар и чужд нашему современному уху, поэтому не может быть полезен». В «Скупом Рыцарѣ» Рахманинова текст Пушкина сохранен, но нѣсколько сокращен.

Об операх на пушкинскіе сюжеты слѣдовало бы написать жестокое изслѣдованіе, но это выходит из рамок моей замѣтки. Интересующимся этой темой предлагаю ознакомиться с небольшой, но замѣчательной книжкой С. Серапина «Пушкин и Музыка» (автор скончался перед войной в Софіи).

С Серапиным иногда хочется спорить, но нужно признать, что немногіе «музыкологи» так глубоко поняли проблему «железнаго

занавѣса» между поэзіей и музыкой. Главная тема книги — двоякая борьба: за дух музыки и с духом музыки. Это совсѣм иное, чѣм у Ницше, блестяще выводившаго происхождение трагедіи из античнаго трагическаго хора и из духа музыки.

Переходя к романсам на слова Пушкина, напомню, что едва ли не единственным *иностранцем*, сочинившим такой романс, был именно Ницше, на слова — в нѣмецком переводѣ Боденштедта — «Заклинанія». С понятным волненіем проиграл я этот романс и с грустью убѣдился, что гений в одной области и слабое пониманіе в другой — вещи иногда совмѣстимыя. Нужно быть очень далеким от духа музыки, чтобы заключительное заклинательно-призывное «Сюда, сюда!» превратить в сладенькую итальянскую каденцію с шаблонным гурбетто...

Отношеніе русских композиторов к текстам поэтов бывает всякое: от глубокаго уваженія к автору стихотворенія до внезапной невнимательности. А. С. Аренскій написал благородно-изящную музыку к «Бахчисарайскому Фонтану». При встрѣчѣ с ним, в Крыму, я спросил его, по поводу его романса, исполнявшагося накануне в концертѣ: «Почему у вас в нотах не назван автор текста?» — и получил полу-шутливый отвѣтъ: «Я так его искромсал, что неловко было помѣщать имя поэта».

Мусоргскій и Бородин ряд текстов для романсов сочиняли сами, а то и вовсе обходились без текстов (в так называемых вокализах). Существует даже соната-вокализ (Н. Метнера), для пѣнія, но вовсе без текста.

Попробую догадаться (сам будучи композитором), как композиторы «омузыкаливают» тексты поэтов. Вот романс Глинки «Гдѣ наша Роза?», написанный на слова лицейскаго стихотворенія Пушкина — «Роза»:

Гдѣ наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари!..
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цвѣтку скажи:
Прости, жалѣю!
И на лилею
Нам укажи.

По академическому изданію (Т. I, стр. 189) в «Розѣ» соединены дактиль с хореем. Брюсов пишет: «Это, конечно, не дактиль с хореем, а двухстопный ямб». Если литераторы между собой не в согласіи, то почему же не выслушать Глинку, и академика литературы и не поэта, предлагающаго еще иное рѣшеніе.

Музыкальное, ритмо-мелодическое и гармоническое толкованіе

26 мая 1828

Дарь какому! дарь кому
Караваго или Жанет Дюас.
Шарль или Лоранс
Моя сагура убогая.

Кто им впрямь впрямь
Кто им впрямь впрямь
Разумный и дурацкий
Кто им впрямь впрямь

Сердце души, сердце души
Кто им впрямь впрямь
Откуда вы откуда

„26 мая 1828 г.“



Автограф Пушкина, с его же рисунками пером.

Глинки, принявшего во внимание чередование в «Розѣ» мужских и женских рифм и значение знаков препинания, — запятых, точек, двоеточий, вопросительных и восклицательных знаков, — вскрывает поэтическую идею «Розы» глубже чѣм анализ, сводящийся к подведению всего под сухо-арифметическіе коэффциенты внутри метра:

дактиль, ямба, хорей. В эти концепты не укладывается главное — то, чѣм полно *сознание* поэта. Глинка же воспринял и передает самый смысл стихотворения: как нить жизни от умирающего тянется к тому, что еще живет.

Грустное сознание увядания цвѣтка композитор выражает пятидольными ритмами. Такие ритмы в музыкѣ стрѣчаются нерѣдко в русских мелодіях, их нѣтъ вовсе у Шумана и Шуберта. Вторая, шѣвущая часть послѣдней симфоніи Чайковского тоже вся сплошь пятидольная хоть иной формы, чѣм «Раз - гу - ля - ла - ся, раз - ли - ва - ла - ся», — женскій хор из «Жизни за Царя»).

Глинкѣ достаточно было прочесть пять *слов* первой фразы: «Гдѣ - на - ша - ро - за», отдѣленных от дальнѣйшаго запятой, чтобы уже остаться в этой пятидольности вплоть до неожиданнаго поворота мысли поэта в послѣдних строках пьесы. Послѣ «прости, жалѣю», призывающаго к забвенію уходящаго, что передано в музыкѣ высокой звучной фразой, построенной на заключительной каденціи, Глинка оставляет пятидольный ритм с тающими квинтами вопросительных фраз и с упорными терціями («не говори», «скажи») и переходит на вальсирующие дактили, несущіе упоение новой жизнью, а кончает тоникой (заключительный звук гаммы), с повелительным «укажи!».

Слушая этот новый, *тихий* напѣвъ, дополняемый уже только инструментальным заключеніем, гдѣ мелодіи выются одна за другой в двойном контрапунктѣ, невольно думаешь о круженіи ароматных струй, поднимающихся над лилей.

«Десять языков лилей
Жаждут пѣсни соловья»...

Глинка взглянул на розу и лилію глазами Пушкина, но к тому, что можно было одновременно и услышать, он приник *внутренним* ухом, не думая о ямбах и хорейх.

Пушкин как будто был далек от музыки (хоть он и писал: «из наслажденій жизни одной любви музыка уступает») и восторгался музыкою Россини, но пластическія искусства были ему ближе. Пете тоже был ближе к живописи чѣм к музыкѣ, а однако, к концу жизни, музыка заставляла его плакать.

У Пушкина все связано с живой дѣйствительностью. Даже призрак Пиковой Дамы не совсѣм призрак (как у Чайковского). Она, как нѣкій Лазарь, встала из гроба (ей приказали); она не проходит сквозь стѣны, а открывает двери, *шаркает туфлями* и, уходя через тѣ же двери, снова шаркает туфлями.

В нашей земной дѣйствительности Пушкин видѣл то, от чего его «вѣія зѣницы» отверзались, как у «испуганной орлицы». Но музыканту Пушкин подсказал возможное: пусть твоих ушей коснется Серафим

«и их наполнит шум и звон»...

В домъ Толстых, много лѣтъ тому назад, я присутствовал при разговорѣ о музыкѣ. Весьма просвѣщенный старик Бутурлин вставил, между прочим: «Из всѣх родов шума — музыка самый неприятный...»

По поводу стихов «Я вас любил» — Серапин (в названной выше книгѣ) говорит, что эта сложно-психологическая тема для музыкальнаго воспроизведенія недоступна. Серапин, повидимому, был неудовлетворен романсом Даргомыжскаго, — отсюда и его заключеніе. По времени Даргомыжскій ближе к Пушкину, чѣм мы, но по духу он сильно отстал от Пушкина и его романсы еще носят слѣды вліяній русскаго романса 18-го вѣка.

У нашего современника Н. Метнера имѣется тоже романс на тѣ же слова (среди многих других метнеровских романсов на слова Пушкина). Здѣсь композитор, не думая о 30-х годах прошлаго вѣка, глубоко проникся самой темой и уловил тончайшіе изгибы скрытых, недосказанных чувствованій поэта. Ни о ямбах, ни о хореех здѣсь говорить уже незначѣм. Все поднялось, вмѣстѣ со стихами, в область, гдѣ не только метр, но даже ритм становятся уже ненужными («солнечные міры могут вращаться ритмически, но душа — не прялочное колесо», замѣчает Серапин).

Не имѣя под руками инструмента для иллюстрацій, попробую словами лишь намекнуть на нѣсколько подробностей. Романс Метнера — мажорный: «Я не хочу печалить вас ничѣм», но этот мажор все же подернут дымкой тайной печали о том, что «*быть может*» — угасло «не совсѣм». Мелодія голоса еще два такта длит звук слова *совсѣм*, а в это самое время со дна души поднимается волна, выносящая на своем гребнѣ слегка *искаженный* в инструментальном воспроизведеніи первый мотив — «Я вас любил».

Тут этот, вначалѣ благоуханный, мотив звучит уже, как *щемящее* воспоминаніе. Я не буду подробно, хоть и слѣдовало бы, говорить о тревожных гармоніях и о мятущихся вокализмах, передающих томленіе «то робостью, то ревностью», опять со всплесками в аккомпаниментѣ видоизмѣненнаго перваго мотива. — Перейду к концу романса, гдѣ только музыка, *догадкою композитора*, могла передать то тайное, что в душѣ поэта еще вибрировало, когда уста замкнулись вслѣд за малоискренним пожеланіем счастья — «как дай вам Бог любимой быть другим».

Вот здѣсь и сказался композитор! Слово *другим* в пѣніи приходится на заключительную тонику, но в инструментальном сопровожденіи этот звук подхвачен *тихими* (piano), но зловѣщими гармоніями, в которых при хорошем исполненіи вы услышите что то вроде скрытой неприязни к этому *другому*! Здѣсь — собственное музыкѣ одновременное контрапунктированіе — сочетаніе двух враждебных настроеній: полифонія эмоцій.

Кстати — Глинка записал в своем дневникѣ, послѣ бурных семейных переживаній: «Все в жизни есть контрапункт, сочетаніе противоположностей».

Поэт при живом воплощеніи своего произведенія наталки-

ается, кроме композитора, еще на одного «члена» нового коллективного создания — на исполнителя (а дальше предполагается еще и внимательный слушатель). Хорошо, если артист, концертный или оперный, продумал свое исполнение многосторонне, в смысле музыкально-художественном, психологическом, пластическом, историческом и так далее, — «создал образ». Сила внушения, исходящая от умно-созданного образа такова, что нам трудно уже представить облик Бориса Годунова иначе, чем шалашинским.

Исполнение может и погубить музыкальное произведение в иных случаях. Среди десяти романсов на тексты Пушкина у Глинки имются и как бы «куплетные». Повторение все той же музыки для двух строк, отличающихся содержанием психологических моментов, Серапин осуждает и считает эти романсы Глинки неудовлетворительными. Но нужно прочесть пространное, весьма поучительное для артистов, описание композитором Сьровым исполнения Глинкой такой музыки. Глинка (Шалашин того времени) пользовался всеми фонетическими и тембровыми средствами, окрашивал каждое слово, каждую фразу согласно требуемому характеру и наполнял абстрактные (в нотах) мелодии эмоциями, скрытыми в словах стихов. «Куплеты» — оказывались различными.

Читая эти содержательные «рецензии» Сьрова понимаешь, почему Лист, сам гениальный исполнитель, при каждой встрече с Глинкой в Петербурге просил его еще и еще раз спеть очаровательный «куплетный» романс — пушкинское «В крови горит огонь желанья». Различие в нюансировке обоих куплетов означено Глинкой вполне ясно.

Владимир Поль.

В ТВОРЧЕСКОЙ ТИШИ

1.

“...Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродячей лѣнью,
Прохладу лип и кленов шумный кров:
Они знакомы вдохновеню”.

— эти слова 20-лѣтняго Пушкина, обращенныя им к своему “доброму домовому”, чрезвычайно типичны: они указывают на основной питающій фон русской душевной и художественной культуры — тишину и простор деревни. Ибо эта “бродячая лѣнь” поэта была прототворна, была насыщена творчеством. Можно смѣло сказать: почти все лучшее в русском культурном и духовном достояніи так или иначе связано с молчаливо-сосредоточенной жизнью русских полей, лѣсов и рѣк. Повторяю, это — один из самых основоположных элементов нашей духовной и творческой традиціи. Игнорируя его, не поймешь ее основного потока. От отшельников, поселявшихся в лѣсах или над просторами сѣверных озер и сѣверных рѣк, и основанных ими лѣсных скитов или монастырей до творчества Л. Н. Толстого и стихов Пушкина и деревенскаго уединенія Хомякова, Петра и Ивана Кирѣевских — какой это существенный, неотъемлемый элемент, какая это отличительная черта в нашем духовном обликѣ, эта связанность с уходящими вглубь просторами, с их молчаливой и вмѣстѣ с тѣм повышено-интенсивной жизнью. Здѣсь мы находим и необходимый противовѣс русскому влеченію, русской одаренности к умственному общенію, к тому, что мы назвали элементом “соборности”, со всѣми его достоинствами и опасностями, противовѣс к этой общительности, которая так часто могла превращаться в пустую болтовню и толченіе воды — когда не находила восполняющаго необходимаго полюса в творческом, активном сосредоточеніи духовном, в т в о р ч е с к о й т и ш и н ѣ.

Естественным хранилищем и источником этой творческой тишины и была как раз, наряду с лѣсным отшельничеством, скитами и монастырями, русская деревенская жизнь и в частности русская усадьба, послѣдняя часто как “культурный скит”, живущій напряженно-творчески на фонѣ природы. Только из этих фонов можно понять, напр., ряд величайших русских писателей: Льва Толстого (но и Алексѣя Толстого), Тургенева, Тютчева, Фета, — в значительной степени и Пушкина (из новѣйших писателей Бунина). У каждаго из них есть свой характер “захваченности” этими просторами, этой тишиной, каждый из них по-своему пустил корни в эту жизнь русской деревни.

Лев Толстой. — Как он сросся с деревней, как он вырос в ней и из нея, как он питается ею. И какое особое чувство, я сказал бы — юношеской, “утренней”, и вмѣстѣ с тѣм огромной и острой захваченности переполняет его произведенія. Как остро ощущается здѣсь запах земли и это волнующее чувство н а с ы щ е н н о с т и ж и з н ѣ ю , напряженнаго избытка жизни. И как это вмѣстѣ с тѣм просто и реально, потрясающе в своем жизненном, повседневном и превозмогающем реализмѣ. Характерна для него, напр., эта сцена вечером в концѣ мая в усадьбѣ на балконѣ, спускающемся в сад. Какое-то новое, глубинно-реальное и превозмогающее чувство жизни раскрывается в этих неожиданно набѣгающих ароматных струях воздуха и в этой строго-отчетливой, “рѣзкой” и “напряженной” ночной уже трели соловьев, доносящейся к нам из глубины какой-то иной, зачарованной дѣйствительности.

“Мы оба затихли послѣ ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерѣшительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага в первый раз нынѣшній вечер издали откликнулся ему. Ближайшій замолк, как-будто прислушивался на минуту, и еще рѣзче, и напряженнѣе залился пересыпчатой, звонкой трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем, чуждом для нас ночном мѣрѣ. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожкѣ. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и все опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полыхнулось полотно террасы и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней...”

И такая же яркая — и вмѣстѣ с тѣм сказочная — отчетливость, захватывающая дух своей яркой сказочностью, отчетливость и определенность в этой лунной августовской ночи с рѣзко-очерченными тѣнями на сіяющих лунным свѣтом мелких камнях дорожки. Как реально, как подробно до мелочей и как волшебнo-невѣроятнo. Ибо эта ночь и сказочно-невѣроятна и превозмогающе-реальна в своем великолѣпнiи.

“Полный мѣсяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тѣни крыши, столбов и полотна террасы наискось лежала на песчаной дорожкѣ и газонном кругѣ. Остальное все было свѣтло и облито серебром росы и мѣсячнаго свѣта. Широкая цвѣточная дорожка, по которой с одного края косо лежались тѣни георгин и подпорок, вся свѣтлая и холодная, блестя неровным щепнем, уходила в туман и в даль. В аллеях тѣнь и свѣт сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колышавшимися и дрожащими домами”. — “Когда я смотрѣла вперед по аллеѣ, по которой мы шли, мнѣ все казалось, что тут дальше нельзя было идти, что там кончился мѣр возможнаго, что все это навсегда должно быть заковано в своей красотѣ. Но мы подвигались, и волшебная стѣна красоты раздвигалась, впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья, дорожки, сухіе листья... Но с каждым

шагом сзади нас и спереди замыкалась волшебная стѣна, и я переставала вѣрить в то, что еще можно идти дальше, переставала вѣрить во все, что было”...

Эта насыщенность красотой, это опьяненіе красотой здѣсь на лонѣ деревни так характерны для всего творческаго процесса Толстого, особенно в первую половину его жизни и творчества. Вспомним письма 30-лѣтняго Толстого весной 1858 г. из Ясной Поляны к его двоюродной теткѣ и другу, графинѣ Александрѣ Андреевнѣ Толстой. Еще апрѣль, надежда и ожиданія разлиты повсюду.

“Бабушка. Весна... Отлично жить на свѣтѣ хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природѣ, в воздухѣ, во всем — надежда, будущность и прелестная будущность... Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность и счастье, а тебя тоже, и хорошо бывает... Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я — старая, промерзлая и еще под соусом сваренная картофелина; но весна так дѣйствует на меня, что я иногда застаю себя в полном разгарѣ мечтаній о том, что я — растеніе, которое распустилось вот только теперь, вмѣстѣ с другими, и станет спокойно, просто и радостно цвѣсти на свѣтѣ Божіем... Дайте мѣсто необыкновенному цвѣтку, который надует почки и вырастает вмѣстѣ с весной”.

А вот письмо уже от 1-го мая:

“Пришла весна: как не вертѣлась, а пришла. Воочію чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук — вдруг в листьях, Бог знает откуда-то снизу, из-под земли дѣзут зеленыя штуки, желтыя, синія. Какія-то животныя, как угорѣлыя, из куста в куст летают и зачѣм-то свистят изо всѣх сил и как отлично. Даже в эту минуту под самым окном два соловья валяют. Я дѣлаю с ними опыты, и может себѣ представить, что мнѣ удастся призывать их под окно сикетами на фортепьяно. Я нечаянно открыл это. На-днях я по своему обычаю тапотировал сонаты Гайдна, и там сикеты. Вдруг слышу на дворѣ и в тетенькиной комнатѣ (у неѣ канарейка) свист, писк, трели под мои сикеты. Я перестал, и они перестали. Я начал, и они начали (два соловья и канарейка). Я часа три провел за этим занятіем, а балкон открыт, ночь теплая. Лягушки свое дѣло дѣлают, караульщики свое — отлично. Уж Вы меня простите, ежели письмо это будет диковато. Я, должен признаться, угорѣл немножко от весны и в одиночествѣ. Желаю Вам того-же от души. Бывают минуты счастья сильнѣе этих; но нѣтъ полянѣ, гармоничнѣе этого счастья.

И ринься бодрый, самогласный,

В сей животворный океан. —

Тютчева “Весна”, которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки”.

А Фету-Шеншину пишет он той-же весной 1858 года, нѣсколько позднѣе:

“Какой Троицын день был вчера. Какая обѣдня с вянущей черемухой, сѣдыми волосами и ярко-красным кумачом, и горячее солнце”.

От творчества Тургенева вѣет природой средне-черноземной русской полосы — природой Орловской губерніи. Какая здѣсь непосредственная простота (и какое изящество в этой простотѣ) и какое вмѣстѣ с тѣм утонченное — словно тончайшая рѣзба — воспронизведение всѣх нюансов, оттѣнков природной жизни. Как насыщены свѣтлостью тихаго июньскаго дня эти смѣняющія друг друга, полныя богатства разнообразнѣйших оттѣнков и дышущія мирными просторами картины восхода солнца и его пути по ясному небу.

И как сумѣл Тургенев закрѣпить эту тишину деревни, эту со всѣх сторон прямо физически охватывающую стихію тишины, гдѣ отдѣльные звуки так отчетливо выдѣляются, как-бы стоя на фонѣ этой всепоглощающей стихіи и всѣ страсти и волненія отходят. Это испытал на себѣ Лаврецкій. —

“Вот когда я попал на дно рѣки”, сказал он самому себѣ не однажды. Он сидѣл под окном, не шевелился и словно прислушивался к теченію тихой жизни, которая его окружала, к рѣдким звукам деревенской глуши. Вот гдѣ-то за крапивою кто-то напѣвает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит; сквозь дружное, навойливо-жалобное жужжаніе мух раздается гудѣніе толстаго шмеля, который то и дѣло стучится головой о потолок; пѣтух на улицѣ закричал, хрипло вытягивая послѣднюю ноту; простучала телѣга; на деревнѣ скрипят ворота. “Что?” задрезжал вдруг бабій голос. “Ох ты, мой сударик”, говорит Антон двухлѣтней дѣвочки, которую няньчит на руках. “Квас неси”, повторяет тот же бабій голос, — и вдруг находит тишина мертвая: никто не стукнет, не шелохнется; вѣтер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика одна за другой по землѣ, и печально становится на душѣ от их безмолвнаго полета. “Вот когда я на днѣ рѣки”, думает он... И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездѣйственной тиши. Вот тут, под окном, коренастый лопух лѣзет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицины слезки еще выше выкидывают свои розовыя кудри; а там дальше, в полях, лоснится рожь и овес уже пошел в трубочку, и ширится на всю ширину свою каждый лист на каждом деревѣ, каждая трава на своем стеблѣ... И он снова принимается прислушиваться к тишинѣ, ничего не ожидая, — и в то же время как будто безпрестанно ожидая чего-то: тишина обнимает его со всѣх сторон, солнце катится тихо по спокойному небу и облака тихо плывут по нему; кажется, они знают, куда и зачѣм они плывут... И до самаго вечера Лаврецкій не мог оторваться от созерцанія этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душѣ как весенній свѣг, — и странное дѣло, — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины”.

У Тютчева его воспріятіе природы, особенно русской деревенской природы, произвольно и естественно м и е о л о г и ч н о: чувствуются какія-то живыя, борющіяся, творческія, часто гнѣвныя, жут-

кія силы, слитія с этим природным процессом, скрытыя за ними. Темныя пространства полей, душной іюльской ночью, небо загроможденное тучами, и вспыхивающія зарницы.

Словно тяжкія рѣсницы
Разверзались порой
И сквозь бѣглыя зарницы
Чьи-то грозныя звѣнцы
Загорались над землей.

Но тот же Тютчев умѣет изображать радостную заряженность свѣжим кипѣніем жизни:

Какое лѣто, что за лѣто,
Да это просто колдовство...

Какая простота и непринужденность! и вмѣстѣ с тѣм как торжественна бывает иногда эта простота. Как прозрачно-ясен его стих, как сжато-цѣломудрен его способ выраженія, подобный в этом пушкинскому, и какая сила и выразительность в его краткости (тоже как у Пушкина). Вспыхивают картины, цѣлыя видѣнія в прозрачном жемчугѣ кратких стихов.

Какая полнота спокойствія и в знаменитом стихотвореніи: “Есть в осени первоначальной...”:

...И льется тихая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Это одно из самых кристально-чистых и умиренно-сіяющих — подобно прозрачности самой этой тихой и свѣтлой ранней осенней поры — стихотвореній русской литературы.

Взволнованно-сдержанной и глубоко насыщенной красотою музѣ Тютчева, знающей волненіе буйных сил, знающей хаос и страшащейся его, особенно удается (именно, может быть, потому!) закрѣпленіе торжественнѣшаго мира природы:

Гроза прошла. Еще курясь, лежал
Высокій дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с вѣтвей его бѣжал
По зелени, грозой освѣженной.

А уж давно звучнѣе и полнѣй
Пернатых пѣснь по роцѣ раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленыя вершины уперлася...

Как это типично по-тютчевски воспринято и выражено. Еще сильнѣе, еще болѣе. зачаровывает чувство мира, могучей и торжественной тишины в этом высшем, может быть, шедеврѣ из стихотвореній Тютчева

Тихой ночью, поздним лѣтом
Как на небѣ звѣзды рдѣют,
Как под сумрачным их свѣтом
Нивы дремлющія зрѣют...

Усыпительно безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистыя их волны,
Убѣленные луной...

Пушкин. Мы знаем, что здѣсь, в деревнѣ, в селѣ Михайловском, родились эти новые по тону для русской поэзіи, как-бы кованные в своей сжатой выразительности и мужественности, стихи:

Роняет лѣс багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто по неволѣ
И скроется за край окружных гор...

Как срослась с тѣх пор его поэзія с деревенской природой, с ея стихіей, напримѣр, с этими “мутными” бѣлыми просторами зимних степей ночью.

Для Бунина характерно изображеніе упадка или грусти, тоски человѣческаго существованія на фонѣ ликующей природы. Он — яркій изобразитель именно этой затеанной грусти, упадка и отмиранія старой красоты и прежней культуры, стараго быта среди обновляющейся природной жизни. И вмѣстѣ с тѣм, как бывает он всецѣло и стихійно захвачен преизбыточествующей красотой лугов, — или стараго парка, яблочнаго сада в русской усадьбѣ. Весь подъем, все глубочайшее, рѣшающее вдохновеніе Бунинскаго творчества вылилось в этих немногих стихах, как-бы залитых полуденным зноем и воздухом полей:

И цвѣты, и шмели, и трава, и колосья...
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет. Господь сына блуднаго спросит:
“Были ли счастливы ты в жизни земной?”
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав,
И от сладостных слез не успѣю отвѣтить,
К милосердным колѣнам припав.

Для Фета сад и парк вокруг дома, красота и мир усадебной жизни, но и поля и лѣс тѣсно связаны и переплетены с жизнью его сердца. В нем много романтики, он менѣе отчетливо, кристально ясен, чем Тютчев, в нем присутствует часто романтическая мечтательность, порыв настроенія. У Тютчева это — крѣпко отстоявшееся вино поэтического творчества, текущее полноувѣсно капля за каплей, насыщенно и вдохновенно и прозрачно-глубоко, у Фета — кипѣніе и искры. Но как дышет, напримѣр, истома ранняго лѣтняго или горячаго весенняго дня в залитом солнцем саду и на волѣ в этом, одном из, может быть, особенно “суггестивных”, заражающих своей настроенностью, его стихотвореній:

Пропаду от тоски я и лѣни,
Одинокая жизнь не мила...
Сердце поет, слабѣют колѣни...
В каждый гвоздик душистый сирени,
Распѣвая, вползает пчела.

Дай, хоть выйду я в чистое поле,
Иль совсѣм затеряюсь в лѣсу.
С каждым мигом не легче на волѣ, —
Сердце пышет все болѣ и болѣ, —
Точно уголь в груди я несю.



А. С. Хомяков.

Нѣтъ, довольно. С тоскою моею
Здѣсь разстанусь. Черемуха спит...
Ах, опять эти пчелы над нею.
И совсѣм я понять не умѣю,
Во груди ли, в кустах ли звенит...

Так и чувствуется радостный весенній гулъ, жужжаніе, трепет, по-
вышенная весенняя жизнь пригрѣтаго на солнцѣ сада.

2.

Деревня могла быть не только источником вдохновенія, но и мѣ-
стом дѣятельно-сосредоточенной и плодотворной, как самообразова-
тельно-умственной, так и творчески-мыслительной и творчески-художе-
ственной р а б о т ы.

Пушкин в деревнѣ. Об этом уже очень много писалось. Вот прежде

всего картина Михайловскаго, вид с террасы Пушкинскаго дома, зарисованный нам одним посѣтителем Михайловскаго в 1880 году: “Впизу домовою террасы по луку извивалась рѣка Сороть, а с правой стороны кругозора, бок-о-бок с рѣкою, лежало огромное озеро, за которым высился большой лѣсъ; с лѣвой стороны террасы находилось еще озеро, уходившее в другой лѣсъ; прямо перед рѣкой и за рѣкою распространялись луга. Вид очаровательный. Госпожа Пушкина (жена сына поэта) говорила мнѣ, что, когда солнце утром, вышедши из лѣса, осыплет лучами своимъ озеро, с правой стороны Сороти лежащее, или вечером озарит озеро, с лѣвой стороны рѣки находящееся, то вид бывает еще очаровательнѣе, еще безподобнѣе”.

Вот еще картинка сосѣдняго с Михайловским Тригорскаго, имѣнія Осиповых-Вульфъ, гдѣ часто гостил и подолгу жила Пушкин: “Мир и даль без конца; красавица зеркальная Сороть с чистым песчаным дном; густой сад с вѣковыми деревьями; длинный одноэтажный господскій дом, с чудным видом с балкона вдаль на разстилающіяся поля и деревушки, с мостом через Сороть... Очень красива часть сада, спускающаяся к рѣкѣ Сороти. На берегу, на скатѣ, старая баня. В этой банѣ жил Пушкин в веселое лѣто 1826 г. с Вульфами и поэтом Языковым, и отсюда прямо спускался к рѣкѣ купаться...”

Уединеніе в деревнѣ было подвѣольное, и Пушкин нерѣдко тяготился невозможностью выѣхать далеко, отрѣзанностью от столичнаго оживленія. Но мало-по-малу он втянулся в уединенный образ жизни и зажил сосредоточенно.

Он то ѣздит верхом, то ходит ибшком (никогда не ѣздит в коляскѣ), много бродит по окрестностям, много разговаривает по деревням с народом. За этой мнимой праздностью накапливается творчество. Это — творческая праздность, ” “творческія думы в душевной зрѣют тишинѣ”, говоря его собственными словами. Мысли, стихи, цѣлыя сцены из его трагедіи “Борис Годуновъ” рождались у него в головѣ во время его прогулок. В “Матеріалах” Анненкова читаем: “Во всѣх его прогулках поэзія неразлучно сопутствовала ему. Раз, возвращаясь из сосѣдней деревни верхом, обдумал он всю сцену свиданія Дмитрія « Мариной в “Годуновѣ”. — “Я в совершенном одиночествѣ”, писал он в іюлѣ 1825 года Н. Раевскому: “у меня буквально нѣтъ другого общества, кромѣ моею старой няни и моею трагедіи. Я чувствую, что духовныя силы мои достигли полнаго развитія и что я могу творить”. В записках Н. М. Смирнова читаем о жизни Пушкина в Михайловском: “Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книгу или перо; потом садился на коня и скакалъ нѣсколько верст; слѣзая, уставшій ложился в постель и брал снова книги и перо. В минуты грусти перекачивал шары на билліардѣ или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великаго. Так прошло нѣсколько лѣтъ юности Пушкина, и в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько свѣтлых, восторженных пѣсен...” — Здѣсь были, напимѣр, написаны третья, четвертая и пятая пѣсни “Онѣгина” с их картинами русской деревни, картинами русской осени и зимы. С утра он со свѣжими силами сразу садился за творческую ра-

боту, боясь чѣм-нибудь отвѣчься от нея, часто не одѣвался, чтобы не растратить энергии. Одновременно в Михайловском он усиленно и много читает (например, исторію Карамзина, Шекспира), записывает с голоса пѣсни крестьян. Развлеченіем и духовным отдохновеніем для него являются посѣщенія Тригорскаго с его патріархальной семейной жизнью и его молодежью. Там он шалит, бѣснуетъ, проказничает. Но и в Тригорском, когда он проводил здѣсь цѣлыя дни, иногда и подолгу живал здѣсь, уходил он в одиночествѣ работать. Забавен и характерен слѣдующій разговор современника:

“Пушкин лѣтом устроил себѣ кабинет в “банѣ” и там работал. Когда Пушкин в этой “банѣ” запирался, слуга не впускалъ туда никого, ни по какому поводу: никто не смѣлъ беспокоить поэта. В эту баню Александр Сергѣевич удалялся часто совершенно неожиданно для лиц, с которыми он только что бесѣдовал. В барском домѣ было однажды вечером много гостей: Пушкин с кѣм-то крупно поговорил, был раздражен и вдруг исчез из общества. Кто-то, зная привычки поэта, полюбозытствовал, что он дѣлает, и подкрался къ освѣщенному окну бани. И вот что он увидѣлъ: поэт находился в крайнем волненіи, он быстро шагнул из угла в угол, хватался руками за голову; подходил къ зеркалу, висящему на стѣнѣ, и жестикулировал перед зеркалом, сжимая кулаки. Потом вдруг садился къ письменному столу, писал нѣсколько минут. Вдруг вскакивал, опять пагал из угла в угол и опять размахивал руками и хватался за голову”.

Здѣсь в деревнѣ расцвѣло мощным цвѣтом то, что запало ему в душу еще в “садах Липса”. Как бы ярким пламенем вспыхивают эти стихи 8-ой главы “Евгенія Онѣгина”, в которых он говорит о своих первых юношеских вдохновеніях на зарѣ жизни

В тѣ дни, в таинственных долинах.
Всеной, при криках лебединых,
Близъ вод, сіявших в тишинѣ.
Являться муза стала мнѣ..

И в слѣдующіе годы, послѣ этих двух рѣшающих лѣтъ в Михайловском, Пушкин в деревнѣ, в одиночествѣ находил особенно вдохновляющую для себя обстановку, при том, как извѣстно, глухой осенью. “Писать стихи любил он преимущественно осенью”, вспоминает его пріятель Плетнев. Особенно плодотворным было его поэтическое затворничество в селѣ Болдинѣ (в юго-восточной части Нижегородской губерніи) осенью 1830 года.

“Ах, мой милый!” пишет он из Болдина Плетневу. “Что за прелесть здѣшнія деревня. Вообрази: степь да степь. Сосѣдей ни души. Вздѣ верхом, сколько душъ угодно, пиши дома, сколько вздумается — никто не помѣшает. Уж я Тебѣ наготовлю и прозы и стихов”. И в самом дѣлѣ — итог этой осени 1830 г. почтенный. “Скажу Тебѣ за гайну”, пишет он тому же Плетневу, “что я в Болдинѣ писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: двѣ послѣднія главы Онѣгина, 8-ую и 9-ую, совсѣм готовыя в печать; повѣсть, писанную окта-

вами (стихов 400), которую выдадим “аноним”; нѣсколько драматическихъ сцен или маленькихъ трагедій: именно: “Скупой рыцарь”, “Моцарт и Сальери”, “Пир во время чумы” и “Дон Жуан”. Сверхъ того написалъ около 30 мелкихъ стихотвореній. Хорошо. Еще не все (весьма секретно): написалъ я прозою пять повѣстей”. В томъ же Волдинѣ осенью 1833 года онъ пишетъ “Мѣднаго Всадника” и “Пиковую Даму”.

Деятнадцатилѣтній Жуковскій, окончивъ свое образованіе в Москвѣ, уѣзжаетъ в 1802 году в деревню, в село Мищенское, гдѣ проводитъ 6 лѣтъ в усиленныхъ занятіяхъ. Уѣзжая из Москвы, онъ захватилъ с собою все свои книги, запасся новыми и привезъ в деревню цѣлую бібліотеку. “Ему хотѣлось”, — говоритъ его друг и біографъ д-р Зейдлицъ, — “самостоятельными упражненіями приготовить себя къ литературному поприщу, и бібліотека, пріобрѣтенная в Москвѣ, оказала ему в этомъ отношеніи существенную услугу. В списокъ книгъ его мы видимъ, кромѣ большой французской энциклопедіи Дидро, множество французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ историческихъ сочиненій, переводы греческихъ и латинскихъ классиковъ, стихотворенія и другія произведенія изящной словесности на иностранныхъ языкахъ, полныя изданія Шпллера, Гердера, Лессинга и проч. Все это”, — замѣчаетъ его біографъ, — “давало матеріалъ для дальнѣйшаго его самообразованія”.

Вообще это было обычное явленіе в русской культурной жизни, уѣхать в деревню и “облокачиться” там книгами. Такъ работаетъ, например, 21-лѣтній Юрій Самаринъ с огромнымъ духовнымъ и умственнымъ напряженіемъ и сосредоточенностью, уѣхавъ из Москвы в село Пзмалково, извѣстное Самаринское имѣніе под Москвой (1840 г.). Онъ готовитъ свою магистерскую диссертацію о Стефанѣ Яворскомъ и Теофанѣ Прокоповичѣ, но онъ не только поружается в историческое изученіе ихъ эпохи — самые основные вопросы встаютъ передъ нимъ и требуютъ разрѣшенія: сущность католицизма и протестантизма и отличіе ихъ отъ Православной Церкви, сущность христіанства и религіи вообще, отношеніе ея къ философскому познанію и рядъ связанныхъ с этимъ проблемъ. Онъ пожиралъ огромный матеріалъ — историческій, богословскій, философскій, но — главное — это мысль оплодотворена и усиленно работаетъ, и онъ ощущаетъ, какое это наслажденіе — мыслить. Новый міръ мысленный встаетъ в немъ, новое углубленное міросозерцаніе, в которомъ вѣра и мысль примирены и образуютъ творческій синтезъ. Онъ пишетъ лѣтомъ 1840 года къ своему другу и сверстнику, Константину Аксакову: “Вопросъ о католицизмѣ и протестантизмѣ, о религіи вообще, начинаетъ мнѣ уясняться. Наконецъ, воскресаетъ во мнѣ давно почившая, живая, шестерилбная дѣятельность мысли. Она кипитъ во мнѣ и не даетъ мѣста другимъ интересамъ в моемъ существованіи. Есть такіе вопросы, которые меня никогда и нигдѣ не покидаютъ. Они принимаютъ в глазахъ моихъ различныя формы, сначала неточныя и произвольныя, потомъ явнѣютъ, приближаются ко мнѣ ближе и ближе, наконецъ... Да можно ли передать словами отрадное сознаніе этой живой, органической работы ума, которая совершается в насъ от времени до времени и стократно вознаграждаетъ насъ за цѣлые періоды скуки и бесплодныхъ занятій”.

Хомяковъ — этотъ духовный “повиватель” и оплодотворитель многихъ

молодых умов — столь тѣсно связанный с Москвой, не менѣе тѣсно связан с деревней. В деревенской тиши он погружается в напряженную, хотя и внутренне успокоенную, разнѣренную дѣятельность: занятія по хозяйству, труды по улучшенію быта крестьян (он заключает с крестьянами своих деревень ряд полюбовных договоров, на основаніи которых тѣ переходят на оброчное положеніе), усипенный умственный труд. С этим чередуются охота, которой Хомяков страстно отдавался, и верховая ѣзда (он был отличныи и смѣлый наѣздник). “Мысли уже иногда накипают и общаются, что осень пройдет не без плодов”, пишет 26-лѣтній Хомяков, только что оставившій военную службу, из деревни своему другу Алексѣю Веневитинову. “Книги есть, есть и бильярд и смѣшныя сѣсѣди. — чего же больше. ... Впрочем, не думай, чтобы я скучал в деревнѣ. Погода хороша, собаки лихы, зайцы есть; так с этим не сокучусь. Прибавь к тому, что я из Турціи привел коней славных, чудной ѣзды, покойных как голыки, горячих как князюток, и быстрых как Добрынин Златокопыт”. — “Любезнѣйшій брат Николай Михайлович!” пишет он в 1837 году своему шурину, поэту Языкову. “Пора гоѣь в деревню, если только у вас погода такая же, как у нас. Здѣсь дождь и тепло; вешняя хлѣбная погода, зовущая на вольный воздух, в поля широкія, в луга муравчатые”. Это — время духовнаго сосредоточенія, напряженнаго умственнаго творчества. В тишинѣ рождаются его глубочайшія мысли. “Я все еще продолжаю приуготовительные труды и думаю, что на-днях достиг коз-каких истин довольно важных”. — “Покуда живу я в деревнѣ, кунаюсь, стрѣляю, охочусь с собаками и проч., готовлю еще статью которая будет послѣднею в порядкѣ моих статей, и, если цензура смилуется, то скажу почти все, что на душѣ у меня; потом прощай публика, и брошусь в объятія Семирамиды, т. е. разработки исторических наук.

П. М. Карамзин в теченіе 8½ лѣт пишет большую часть своей “Исторіи Государства Россійскаго” в тиши Остаѣевской усадьбы своего родственника по женѣ, князя П. А. Вяземскаго — в свѣтлом кабинетѣ во втором этажѣ с большим итальянским окном и с видом на парк и на дали за парком.

Но особенно мощно, стихійно-мощно, — как мы знаем и уже отчасти видѣли — развивается в деревнѣ, на фонѣ природной деревенской жизни, творчество Толстого. Как часто он испытал здѣсь и муки творчества и радость творчества, и муки мысли. Творческой період подготавливается постепенно — напряженной внутренней работой; тяжелый, томительный, захватывающій всю энергію, работой обдумыванія, примѣриванія, исканія. Так, 1-го ноября 1864 года он пишет Фету: “Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себѣ представить, как мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сѣять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаній для того, чтобы выбрать из них 1/1.000.000, ужасно трудно”.

И вмѣстѣ с тѣм как оживлен, как радостен бывал он, когда начиналась творческая работа и шла удачно. Его свояченица, Татьяна Ан-

древна Кузьминская, послужившая отчасти прототипом Наташи Ростово-вой, вспоминает то время, что она жила у Толстых в Ясной Поляне, когда он писал свое величайшее произведение: “Как я хорошо их обоих помню, когда он писал “Войну и мир”. У него было вѣчное поднятіе духа, «high spirits», как называют англичане. Бодр, здоров, весел. В дни, когда он не писал, он ѣздил на охоту со мной и часто с сосѣдом Бибиковым, с борзыми... Помню, как всегда по его расположенію духа видно было, насколько удачно шло его писаніе: он был оживлен и весел и говорил, что он кусочек жизни своей оставил в чернильницѣ, когда шло удачно. Вечером раскладывал пасьянс у тетины в комнатѣ: он загадывал почти всегда что-нибудь о своем писаніи”. К этому времени усиленнаго подъема художественнаго творчества и радостнаго, повышеннаго самочувствія относятся, напримѣр, слѣдующія свидѣтельства его писем: “Я никогда не чувствовал”, пишет он к графинѣ А. А. Толстой осенью или зимой 1863 года, — “свои умственныя и даже всѣ нравственныя силы столько свободными и столько способными к работѣ, и работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времен 1810-1820 годов, который занимает меня вполне с осени... Я теперь писалъ в сѣ м и силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал”. Он счастлив и в своей семейной и в своей творческой жизни. Той же графинѣ А. А. Толстой пишет он полтора года позднѣе: “Я как-то раз Вам писал, что и люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нѣтъ ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался: такое счастье есть, и я в нем живу третій год, и с каждым днем оно дѣлается ровнѣе и глубже. И матеріалы, из которых построено это счастье, самые прекрасныя — дѣти, которыя (виноват) мараются и кричат, жена, которая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством которых я описываю событія и чувства людей, которых никогда не было...” — На-днях должна появиться первая половина первой части его романа “1805-ый год” (Январь 1865 г.). Приблизительно к тому же времени относится слѣдующее письмо его к Фету (1-ая половина декабря 1865 г.): “Я довольно много написал нынѣшней осенью — своего романа. *Ars longa, vita brevis*, думаю я всякій день. Коли бы можно бы было успѣть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10.000 часть. Все-таки это сознаніе, что м о г у, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство, я нынѣшній год с особенной силой его испытываю”. Софія Андреевна започит в свой дневник под 12 января 1867 года (в Ясной Полянѣ): “Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волненіем пишет”.

А вот как Константин Леонтьев в 1887 году рисует нам в своем уединенном домикѣ у самой ограды Оптиной пустыни охватывшую его умирненную тишину при творческой сосредоточенности духа: “Пред окном моим безконечныя осеннія поля. Я счастлив, что из кабинета этого такой дальній и покойный вид. «*Laudatur domus longos quae prospicit agros*». Прекрасен тот дом, из котораго вид на широкія поля, и в этом домѣ я, давно больной и усталый, по сердцем веселый и

покойный, хотѣлъ бы под звон колоколов монастырских, напоминающих мнѣ безпрестанно о близкой уже вѣчности, стать равнодушным ко всему на свѣтѣ, кромѣ собственной души и заботъ об ея очищеніи... Но жизнь и здѣсь напоминает о себѣ. И здѣсь просыпаются забытыя думы и снова чувствуешь себя живою частью того великаго и до сих пор неразгаданнаго цѣлага, которое зовется Россія...”

3.

Онѣ были дѣйствительно гнѣздами культуры и центрами сосредоточенной, излучающей красоты — многія из этих усадеб. Полны очарованія были старыя сады и парки с прямыми липовыми аллеями, пятнами ярко-красных пионов перед домом и густыми зарослями сирени и жасмина вокруг дома, в которых так немолчно, так неустанно, наперебыв смѣняя друг друга или одновременно в нѣсколько голосов, звонко и напряженно заливались соловьи свѣтлой весенней ночью. А дальше, в глубинѣ парка — березовая или сосновая роща; пруд, окаймленный высокими деревьями, иногда с островком и маленькой деревянной или каменной бесѣдкой на нем в стилѣ античнаго храма (“храм дружбы” или “храм единенія”). На серединѣ скрещивающихся аллей пригорокъ — круглый холмик, засаженный напоротником, с вьющимися улиткообразными дорожками и пѣмецким названіем *Schneckenberg* (на мѣстѣ старой казачьей вышки, когда здѣсь — в 16-ом и 17-ом вѣках — проходили передовыя посты казацкой сторожевой линіи. А в аллеях парка какіе гиганты лѣсного царства: липы, клены, серебристыя тополя в нѣсколько обхватов. Двѣ стройныя, могучія, гигантскія ели обрамляют по обѣ стороны большой зеленый круг перед домом. Окруженныя мягкой воздушной тѣнью старыя коренастыя яблони на залитых солнцем лужайках парка.

А самый дом, обвѣянный семейными преданіями, согрѣтый теплом семейной жизни, иногда величественный и стройный (цѣлый ряд художественно замѣчательных усадеб-дворцов возник в тиши русской деревни), но гораздо чаще простой и безпритязательный, хотя и помѣстительный. Чаще деревянный дом с деревянными бѣлыми или сѣрыми колошками и уютной, спускающейся в сад полу-открытой террасой. Чаще — повторяю — эти дома были простые и безпритязательные, но за то полны уюта и гостепрѣмства, полны за то и культурных сокровищ, даже многіе скромныя из них. Какія там были библіотеки, накопленныя в теченіе поколѣній любовным собирательским трудом отцов и дѣдов, и тут же гравюры, пейзажи (особенно, на примѣръ, виды Италіи в стилѣ романтической эпохи начала 19-го вѣка), семейныя портреты. Помню скромный деревянный усадебный дом в имѣніи моей бабушки, Наталіи Юрьевны Арсеньевой, рожд. кн. Долгорукой, в сельцѣ Красном Новосильскаго уѣзда (смѣнившій прежній, болѣе помѣстительный и грандіозный, снесенный братом ея, собравшимся было построить на мѣстѣ его какой-то палаццо, но так и не собравшимся, так что моей бабушкѣ пришлось потом поставить на мѣстѣ снесеннаго простой деревянный дом, который я мальчиком и юношей так хорошо знал и любил).

Помню этот безпритязательный, уютный домик с террасой в дивный красненский парк. Но как хороша была его библиотечка — в высоких застекленных шкапах простого орехового дерева. Цѣлый мір французской старой культуры 17-го и 18-го вѣка раскрывался здѣсь в этих чудных старинных изданиях в кожаных с золотыми тисненіями переплетах, мір французских классиков — Мольера, Расина, Корнея, особенно же религиозной культуры старой Франціи: Воссюэ, Фенелон, Массильон, Бурдалу, Паскаль: мір французской мемуарной литературы, как 17-го вѣка, так и позднѣйших времен.

Энциклопедистов, Вольтера и Руссо не было — мои предки, собравшіе эту библиотечку, были убѣжденно-религиозные люди. Имѣлся да еще ряд цѣнных старых изданій нѣмецких писателей конца 18-го и начала 19-го вѣка в старинных картонных силках, оранжевых, зеленых, красных обложках, первые изданія Виланда, Гердера, Гете, Шиллера, но также Тика и Вакенродера и других представителей романтическаго поколѣнія. Были и старыя изданія англійских романтиков, и первые изданія стихотвореній Жуковскаго и русских поэтов начала 19-го вѣка, и полныя коллекціи журналов с 1848 года до начала Великой войны 1914 года, "Русскій Вѣстник", "Русскій Архив", "Артист", "Историческій Вѣстник" и другіе журналы за многіе десятки лѣтъ: а в личной библиотекѣ моего дѣда, Василія Сергѣевича Арсеньева, — великіе мистики всѣх стран, особенно Яков Беме (в старом амстердамском изданіи, в бѣлых, свиной кожи, переплетах и с замысловатыми гравюрами космическаго характера на заглавных листах), Франц Баадер. В простѣнках между шкапами висят старыя гравюры с Рафаэлевских муз и сивилл Микель-Анджело, в углу тикают старинныя англійскіе часы (1801 года), заводившіеся на цѣлый год: в гостиной висят портреты предков — в том числѣ монахини в скуфейкѣ и с четками в руках: знаменитая, героическая духом русская женщнна, Наталья Борисовна Долгорукая, рожд. Шереметева, вдова казненнаго князя Ивана, любимца Петра II.

Мы располагаемъ множеством данных о таких центрах культуры в деревнѣ, очагах оживленной и сосредоточенной семейной и культурной жизни. Из многочисленных, напрашивающихся под перо, примѣров остановлюсь лишь на двух подмосковных: на уже названном нами Остафьевѣ поэта князя Вяземскаго (а потом гр. Шереметевых) и на Мурановѣ Боратынскаго.

Остафьево! Какое богатство художественных собраній и какое богатство связанных с его прошлым воспоминаній, дорогих и близких любителю русской культуры. Поэт князь Петр Андреевич Вяземскій был закадычный, многолѣтній и вѣрный друг Пушкина. Как часто Пушкин бывал здѣсь. Здѣсь, приклонившись к колоніѣ ротонды, читал он вслух собравшимся друзьям свои стихи "Родословная моего героя". Одна комната особенно полна воспоминаній: здѣсь 12 лѣтъ (с 1804 по 1816 годы) — как мы уже говорили — прожил Карамзин и написал здѣсь 8 томов своей "Исторіи государства Россійскаго". Сохранился здѣсь его простой письменный стол, конторка и книги из его библиотечки, из которых одна с его отмѣтками. Но что дѣлает эту комнату еще

драгоценные, это то, что здесь в любовью рукой его друзей были собраны предметы, связанные с памятью Пушкина: письменный стол поэта с знаменитым литографированным портретом Жуковского, который Жуковский в 1820 году подарил Пушкину с надписью: "Побѣдителя ученику от побѣжденного учителя"; жилет поэта, пропитанный его кровью, который был на нем в день смертельного поединка; церковная свѣча панихиды и одна перчатка Жуковского. Заниска поясняет, что вторую он бросил в ящик, в котором увозили для погребения в Святогорском монастырѣ гроб с тѣлом поэта. У окна в витринѣ трость Пушкина с бабалдашником. Вообще дом полон литературных реликвий: цѣлые шкапы первых изданий русских поэтов с их поправками и соборнопоручными посвящениями (много Пушкинских автографов), большой портрет Жуковского работы Брюллова, портрет партизана-поэта Дениса Давыдова. Есть и надписи гостившаго в Астафьевѣ Мицкевича на двух томках его стихотворений, дальѣ, напримѣр, визитныя карточки Мюссе, Ламартина, навѣщавших князя Вяземскаго в Парижѣ. Особенно цѣнен архив, который был собран Вяземскими в Астафьевѣ: он настолько значителен, что, по словам М. Ѳ. Гершензона, без него невозможно научное изученіе русской литературы. Части этого архива (переписка кн. П. А. Вяземскаго с А. И. Тургеневым) были в четырех увѣстных томах издавы графом С. Д. Шереметевым в 1895 году. А какія в Астафьевѣ собранія книг и цѣннѣйших произведеній искусства. Библиотека занимает цѣлое крыло дома — длинный ряд комнат: ее собрало пять поколѣній князей Вяземских и она насчитывает около 32 тысяч томов. Между шкапами висят картины и портреты кисти русских и иностранных художников (венецанской, умбрійской, голландской школы). Особенно цѣнно собраніе старо-нѣмецких и нидерландских мастеров XV и XVI вѣков. Тут же деревянная скульптура из древне-германских католических церквей, древнія ткани, коллекціи стараго венецанскаго, русскаго и нѣмецкаго стекла, старо-германскіе рѣзные шкапы и стулья, на стѣнах — старинное оружіе, западное и восточное, по углам — четыре древне-нѣмецких ружарских вооруженія. Любовь к Италіи и античному міру ощущается особенно сильно. Много здѣсь воспоминаній, привезенных из Италіи: акварели и виды Италіи начала прошлаго или конца XVIII вѣка, обломки античных надписей, античных камней и рельефов: в колоннадах дома размѣщены произведенія скульптуры: греческій барельеф и группа: Пан, сатир и два эрота, итальянское воспроизведеніе 18-го вѣка мраморной античной Венеры и т. д. Есть специальная комната, посвященная древне-русскому искусству и художественным предметам старо-русскаго быта, которых князь П. А. Вяземскій был большой любитель и знаток: здѣсь собраны старинныя рѣдкія иконы, большей частью из старообрядческих скитов, предметы стариннаго женскаго убранства, произведенія кустарнаго искусства нижегородских рѣзчиков, и т. д. В Астафьевѣ Вяземскаго таким образом наглядно осуществлялся тот синтез двух культурных сфер, о котором мы говорили выше.

Мураново Боратынскаго (прежде принадлежавшее генералу Л. Н. Энгельгардту, автору извѣстных записок, а потом его двум доче-

рям, замужем за поэтом Е. А. Боратынским и его ближайшим другом, В. В. Путьятой). И здѣсь отчасти тѣ же имена среди гостей, что и в Астафьевѣ: Денис Давыдов, Пушкин, дружившій с Боратынским и раз ночевавшій в Мурановѣ (до сих пор хранится там автограф его стихотворенія “Свободы сѣятель пустынный”), но прибавляются и новыя имена: кромѣ самого Боратынскаго — Гоголь, Аксаковы, Тютчев. Теперь в Мурановском домѣ устроен музей, посвященный Тютчеву, Боратынскому и Ивану Аксакову. В превосходной маленькой монографіи, посвященной Муранову и изданной в 1825 году в Совѣтской Россіи, читаем: “На стѣнах литературной комнаты висят портреты нѣкоторых гостей Муранова в ту пору. Среди них автор “Петербуржскихъ ночей”, кн. В. Ф. Одоевскій (1803-69); извѣстный библиограф и библиофил С. Д. Полторацкій (1803-81); историк литературы и административный дѣятель, секретарь О-ва Любителей Россійской Словесности М. П. Лонгинов (1823-75) — “самый яркій в ту пору защитник свободнаго слова и самый рѣзкій порицатель цензурнаго учрежденія”; профессор ботаники и извѣстный дѣятель по народному образованію, племянникъ поэта Боратынскаго, С. А. Гачинскій, и др. Вот Гоголь — частый гость Муранова об эту пору. Во второмъ этажѣ имѣется даже специальная комната, которая всегда отводилась ему во время его наѣздовъ к Путьятам. Тут же видимъ портретъ патріарха знаменитой литературной семьи Аксаковых, автора “Семейной хроники”, старика Сергѣя Тимофѣевича Аксакова (1791-1859). Аксаковых, которые с 1841 года были ближайшими сосѣдями Муранова (ихъ усадьба Абрамцево находилась в 8-ми верстахъ от этого послѣдняго), познакомилъ с Путьятами Гоголь. Старик Аксаков часто ѣздил ловить рыбу в Мурановскомъ пруду, о чемъ встрѣчаемъ упоминанія в его “Запискахъ объ уженіи рыбы”. В началѣ 40-ыхъ годовъ познакомился с Путьятами вернувшійся в Россію послѣ многолѣтняго пребыванія за-границей поэтъ Тютчев. Тютчевъ бывалъ в усадьбѣ Аксаковых, заѣзжая попутно к Путьятамъ в Мураново. Впослѣдствіи эта близость трехъ семействъ закрѣпилась и родственными союзами: старшая дочь поэта, Анна Федоровна Тютчева, вышла замужъ за младшаго сына С. Т. Аксакова, поэтъ и публициста Ивана Сергѣевича, а младшій сынъ Тютчева женился на дочери Н. В. Путьяты. Такимъ образомъ создалась близость к Муранову И. С. Аксакова”.

Самъ Боратынскій в это время мало уже писал, но былъ центромъ усиленной умственной работы и литературнаго общенія и ревностно занимался, какъ хозяйственными работами по имѣнію, такъ и воспитаніемъ своихъ дѣтей. Для его тогдашняго настроенія характерно стихотвореніе, написанное имъ осенью 1842 года при посѣдкѣ лѣса в Мурановѣ: онъ хочетъ распространиться со своей лирой, ибо она не нашла отклика в сердцахъ людей:

...Отвѣта нѣтъ. Отвергнулъ струны я,
Да кражъ другой мнѣ будетъ плодоносен.
И вотъ ему несетъ рука моя
Зародыши елей, дубовъ и сосен.

И пусть. Простяся с лирою моею.
Я вброю: ее замѣнят эти
Поэзіи таинственных скорбей
Могучія и сумрачныя дѣти.

4.

Деревенская жизнь была для культурнаго слоя мѣстом прикосновенія къ народу и источником познанія народа. Здѣсь обвѣвалась этот культурный слой стихіей народной жизни, здѣсь вливалась в него эта стихія народная, из которой только и могут быть поняты многія высшія проявленія русскаго культурнаго творчества. Извѣстно, как народныя обычаи, игры, повѣрія, катанія с гор на масляницѣ, гаданія и катанія ряженными на святках входили в ткань жизни и помѣщичьяго класса, особенно его молодежи, в деревнѣ. Об этом повѣствует нам Толстой в "Войнѣ и мирѣ". Как-бы комментарием к святочным гаданіям Пушкинскою Татьяны, являются, напримѣр, воспоминанія госпожи Хвощинской о гаданіях в деревенской усадьбѣ 50-ых годов: "Есть ли одна русская деревенская барышня, которая не гадала-бы... Так и мы, когда сдѣлалась дѣвцами и когда в голову стали закрадываться мысли о невѣдомом суженом, то все ... гаданья заинтересовали нас. Привоспели также пѣтуха, пѣвали подблюдныя пѣсни; тогда еще оставшіяся из крѣпостных горничныя все это знали до тонкости: пѣли нам пѣсни; каждая своей любимой княжкѣ мостила мостики и клала королей под подушку и на другой день, улыбаясь, освѣдомлялась, что видѣла княжна и кто через мостики ее переводил. Когда к нам во время святков съѣзжалось нѣсколько барышен и молодых людей, нам подавали нѣсколько развальной ... и, усѣвшись в них, отпраплялись мы в село подслушивать имена прохожих, которые бывали рѣдки, так как деревенскій люд рано отпраплялся на отдых, и однѣ собаки, перенуганныя нашим появленіем, лаяли, бросаясь издали на нас..."

А какую огромную роль сыграла русская народная пѣсня в жизни культурнаго класса, равно как и в русском художественно-музыкальном и литературном творествѣ. Отсюда родилась музыка Глинки, Даргомыжскаго, Мусоргскаго. Русская народная пѣсня сдѣлалась неотъемлемым элементом русской обще-національной культурной традиціи. Укажу лишь на усиленный культ русской пѣсни в семьѣ Шереметевых с ея знаменитым шереметевским хором, и на не менѣе извѣстный русскій пѣсенный хор князя Ю. Н. Голицына, дававшій концерты и за-границей. Можно привести многочисленные примѣры того, как крѣпко укоренена была традиція русской народной пѣсни в провинціальной помѣщичьей средѣ. М. И. Глинка рассказывает, что пору его дѣтства в Смоленской губерніи, в имѣніи его дяди, близ города Ельни, музыканты "обыкновенно играли русскія пѣсни", переложенныя на двѣ флейты, два кларнета, двѣ валторны и два фагота. Эти грустно-нѣжныя, но вполне доступные для меня звуки мнѣ чрезвычайно нравились ... и, может быть, эти пѣсни, слышанныя мною в ребячествѣ, были первой причиною того, что впоследствии я стал пре-

имущественно разрабатывать народную русскую музыку. Безсонов, известный издатель русских народных пѣсен, сохранил такое воспоминаніе из лѣтъ своей юности: “Всю раннюю молодость свою и дѣтство (с 9 до 20 лѣтъ) проводили мы лѣтом по усадьбам крупных и мелких дворян-помѣщиков, в губерніях, смежных с Московскою, и в самой Московской. Здѣсь успѣли мы слышать много пѣсен, хранившихся преданіем... Хранительницы старины, большей частью сами старушки, барышни-хозяйки и домашнія жилищы, рѣдко пѣли уже в собственном смыслѣ слова, чаще напѣвали многогласа...” Характерны слова, написанныя Гоголем в 1836 г.: “Покажите мнѣ народ, у котораго было бы больше пѣсен. Навиа Украйна звенит пѣснями: по Волгѣ, от верховья до моря, на всей веренищѣ влекущихся барок заливаются бурлацкія пѣсни. Под пѣсни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси... Все дорожное, дворянство и не дворянство, летит под пѣсни ямщиков...” Он много сам наслушался народных пѣсен в дѣтствѣ и юности своей на Украйнѣ.

Мы видѣли уже, как Пушкин прилежно собирал в Михайловском русскія народныя пѣсни (цѣлое собраніе мѣстных пѣсен, составленное им, было им цѣлом предоставлено в распоряженіе П. В. Кирѣевскаго и вошло в собраніе Кирѣевскаго), как он записывал народныя сказки со слов своей няни. “Почти все формы и виды фольклора”, — пишет современный изслѣдователь, профессор Ю. Соколов, в статьѣ “Пушкин и фольклор”. — “так или иначе представлены в его записках или в его непосредственной творческой работѣ — сказки, былины, историческія и лирическія пѣсни, свадебная поэзія, похоронные и рекрутскіе плачи, народная драма, духовныя стихи, дубок, вплоть до недавно обнаруженнаго в его записках списка пѣсни о Томѣ и Еремѣ”. Отсюда питалось и его творчество. Недаром ему удалось, напримѣр, в своих сказках дать не подражаніе народным образцам, а дальнѣйшее — художественное и вмѣстѣ с тѣм органическое и свободное — развитіе народнаго творчества. Из духа народных сказок, из стихій их творил он дальше русскую сказку, достигши при этом необычайной яркости и подлинности и несравненной художественной высоты. Пѣкоторые из современников Пушкина поняли это при выходѣ в свѣтъ в 1833 году “Сказки о Царѣ Салтанѣ” и усматривали в ней начало новаго періода в русской литературѣ. Там эта органическая и творческая народность пушкинскіей сказки еще болѣе выясилась чрез музыку Римскаго-Корсакова и декорации и иллюстраціи Виллибина.

Не хочу идеализировать. Отношенія между культурным слоем — между помѣщиками в усадьбѣ, и окружающим народом были, до отмены крѣпостного права, при всех иногда положительных чертах добрых помѣщиков, дѣйствительно радѣвших о народѣ, основаны на великой несправдѣ и на порабощеніи народа. Правда, из усадьбы выходили и главные борцы за освобожденіе крестьян — вспомним Д. Самарина, князя Черкаскаго, А. П. Кошелева и многих, многих других участников подготовки или проведенія реформы. Послѣ отмены крѣпостного права отношенія между усадьбой и деревней стали в общем довольно выѣшными, иногда добрососѣдскими, но часто и отчужденно-

холодными. Чехов рассказывает нам трагедию взаимного непонимания между добросердечным, но не знающим народа инженером, тихим горожанином, купившим себе усадьбу, и окружающим деревенским народом ("Новая дача"). Рассказ убедителен и внутренне правдив и касается не только горожан-дачников. Но я не задаюсь целью дать здесь обзор добрых, равнодушных или открыто враждебных отношений между культурными классами в деревне, усадьбой, и широкими слоями народа. Я хочу лишь сказать, что здесь, в деревенской тиши, русский культурный класс ближе встречался с русской народной душой и нервно (например, в лице своих великих художников) начинал глубже понимать эту народную душу.

Вспомним еще тонкую и глубокую, полную любви, а вместе с тем трезво-реальные наблюдения Глеба Успенского из его деревенского уединения в Новгородской губернии, куда он уезжал на месяцы, или из его одиноких странствований по России. Например, его такой теплотой душевной согретые рассказы, как "Добрые люди", "После урожая", "На минутку" и целый ряд других. Здесь, в деревне, создавались как ни как центры культурного и духовного общения с деревенским народом, центры работы культурных слоев на пользу народа. Многого было сделано в России в этом направлении, но, может быть, все же недостаточно.

Хочу лишь здесь коснуться мельком одного такого мощного и благодетельного, хотя в тишине работавшего, без громких лозунгов и шумихи, центра духовного служения народу — Татевской школы С. А. Рачинского. Оставив кафедру при московском университете, переселившись из родной усадьбы в самое здание школы, Сергей Александрович всецело отдался делу воспитания крестьянских детей. Вот как описывает один из его почитателей и последователей, г. Горбов, внутренний строй Татевской школы:

"Вставали школьники в 6 часов. После молитвы, до классных занятий, дети рубили дрова, возили с реки воду, убирали школу. В 9 часов начинались классы и продолжались до 12 часов, в 12 часов обед и до 2 часов перерыв. От 2 до 4 уроки. В 4 часа за стол (полдничать). С 6 часов новые занятия; часто вечер проходил в спивках, в которых принимали участие не только мальчики, но и девочки, составившие прекрасный церковный хор. В 8 ужин и молитва на сон грядущий. Один из учителей возглашал начальные молитвы, потом пел "Отче наш", и затем учитель читал одну из вечерних молитв. Все заканчивалось пением тропаря "Кресту". Это выходило довольно продолжительно, но не замечалось никакого утомления, никакого рассеяния. Серьезно и сосредоточенно стояли дети перед иконою с горящей лампадою, после благо дня усиленных и разнообразных занятий, и как хороши, как милы были они в это время".

"Так же поставлены", — читаем дальше в очерке, посвященном деятельности Рачинского, — "были и другие школы, основанные Сергеем Александровичем. Во всех этих школах летом занятия прекращались, но они продолжались в Татевской школе. Сергей Александрович занимался летом с лучшими учениками, приобщая их к учитель-

ству или к поступленію в другія — болѣе высшія школы. Кромѣ того, къ нему съѣзжались на лѣто бывшіе его ученики — учителя основанных им школ. Это были своего рода учительскіе курсы, на которых происходил обменъ мыслей и впечатлѣній, и обсуждались разные вопросы. Субботнія бесѣды обычно завершались слѣвкой к обѣднѣ и чтеніем воскреснаго Евангелія. Читал сам Сергѣй Александрович, и его чтеніе и бесѣды производили глубокое впечатлѣніе на слушателей. Кромѣ широты образованія и горячей вѣры в свое дѣло Сергѣй Александровичъ внес в свою педагогическую дѣятельность самую теплую, самую преданную любовь къ дѣтям. Он был для своих учеников не учителем только. — этотъ рѣдкій по душевной чистотѣ и мягкости любвеобильнаго сердца человекъ был для своих питомцев скорѣе любящей матерью, жившею одними с ними радостями и горевавшею их неудачами и печальми. Школа была его домом, школьники — его семьей, для которой он работал, не покладая рук своих. И как радовался он, какою радостью свѣтились его добрые глаза, когда из его “дѣтей” выходилъ прокъ, когда они, с его ближайшею духовною и матеріальною помощію, выбивались на торную дорогу. С какимъ вниманіем слѣдил Сергѣй Александровичъ за индивидуальными наклонностями и способностями своих учеников. Каждый из них он зналъ так, какъ в наше время рѣдкій отецъ знает своего единственнаго сына. И стоило только мальчику обнаружить хотя какой-нибудь талант, чтобы чуткій отецъ-учитель сейчас же пришел на помощь его развитію. Сергѣй Александровичъ “выводилъ” многих крестьянскихъ юношей в учителя, священники, художники и проч. Один из его учеников — извѣстный художник Н. П. Богданов-Вѣльскій, и всѣ его школьные жанры, столь извѣстные, происходятъ именно в Татевской школѣ, всѣ дѣйствующія в них лица — портреты с членов Татевского школьнаго міра; на двух картинах “Умственный счетъ” и “Воскресное чтеніе” изображенъ и сам Сергѣй Александровичъ.

Вотъ еще нѣсколько наугадъ взятыхъ примѣровъ: трудовое братство, основанное Неплюевымъ в Глуховскомъ уѣздѣ Черниговской губерніи (“Православное Крестовоздвиженское Трудовое братство”), и большое дѣло, осуществленное графиней Маріей Владиміровной Орловой-Давыдовой в ея имѣніи Добрыниха (недалеко отъ станціи Лопасня къ югу отъ Москвы) — женскій монастырь, пріютъ для стариковъ, больница, женская руководѣльная школа, иконописная школа, при чемъ кадры пополнялись почти исключительно изъ мѣтнаго крестьянскаго населенія.

Хочу закончить этотъ бѣглый, слишкомъ бѣглый очеркъ — ибо по вопросу о дѣятельномъ служеніи народу со стороны культурнаго класса в деревнѣ и о плодотворной встрѣчѣ с народомъ можно было бы сказать еще безконечно много — цитатой изъ письма одного изъ главныхъ дѣятелей по освобожденію крестьянъ — Юрія Самарина, отъ 22-го апрѣля 1872 года. Онъ пишетъ изъ деревни, гдѣ онъ палатилъ школу для крестьянскихъ дѣтей. “Моя вторая школа совершенно другого рода: младшему изъ посѣщавшихъ ее учениковъ 40 лѣтъ. Уже нѣсколько лѣтъ, какъ прихожане нашей деревни собираются по воскресеньямъ между утреней и обѣдней в волостномъ правленіи послушать, какъ имъ читаетъ вслухъ одинъ старикъ крестьянинъ. Часто у него голоса не хватало, тогда я предложилъ свои

услуги. Сначала нужно было, чтобы не спугнуть моих слушателей, продолжать читать им "Четьи Минеи". Потом я мало-по-малу привел их к тому, что они стали спрашивать меня объяснения богослужения и церковных таинств, и теперь я прохожу с ними последовательный курс таинств. Сегодня комната была переполнена. Нечего и говорить, что при этих уроках я сам еще больше учусь, чем учу. Какая это тайна — религиозная жизнь народа, предоставленная самому себе и при том невѣжественного, как наш народ. Ставишь себя вопрос, откуда эта жизнь... Наше духовенство не занимается религиозным учительством, оно только совершает богослужение и таинства..." Самарин поражен религиозной необразованностью народа, даже "Отче наш" он коверкает так, что теряется всякий смысл. "И тем не менее во всех этих невозможных умах воздвигнут, как в Афинах, неизвестно кем поставленный, жертвенник Неизвестному Богу. Для всех их руководство божественной воли при всех обстоятельствах жизни настолько очевидно, что, когда приходит смерть, эти люди ... открывают ей дверь, как давножданному гостю. Они "отдают душу свою Богу" в буквальном смысле этого слова". Без всякой ложной идеализации Самарин подошел здесь вплотную к глубоко-христианским истокам многих явлений во внутренней жизни русского народа, к тому, что Тютчев ощутил, когда говорил об "удрученном ношей крестной, Небесном Царь", который в рабском виде, благословляя, от края и до края исходил его родную землю, в ее бедности и страданиях.

5.

И здесь, может быть, уместно — особенно ввиду трагического конфликта между усадьбой и деревней, или впрочем, между усадьбой и возбужденными волнами народного моря, конфликта, закончившагося уничтожением усадьбы, — со всей определенностью и заостренностью поставить еще раз вопрос, который уже предносился нашему взору, более того — который невидимо присутствовал при нашем изложении: насколько эта культурная традиция, о которой шла речь, общенародна? Ведь в значительной степени — в 19-м веке по крайней мере, век ее особенно пышного творческого расцвета — была она культурой высших классов, особенно дворянского класса. Не есть ли она лишь маленький остров, окруженный морем чуждой ей народной стихии и безследно поглощенный и уничтоженный в годину революции. Не есть ли эта культура искусственный оазис, оранжерейный приток среди безбрежной степи этой дикой стихии, не имевший в ней корней и потому обреченный на гибель.

Прежде всего скажем, что здесь опасно впасть в демагогическое смешение вопроса о том или ином слое, являющемся в данный момент главным носителем культуры, с вопросом о внутренней сущности и укорененности самой этой культуры. Моя принадлежность к тому или иному слою не предвещает еще вопроса о народности или народности культуры, мною представляемой. Единственный здесь решающий аргумент: "Приди и виждь"... Но ответ на этот вопрос соб-

ственно уже явствует из всего предыдущаго. Если эта культура — остров, то он питается из окружающаго его океана, он вырос из него. Впрочем этот образ неудачен, неадекватен: не остров, а дерево — глубоко укоренившееся в народной почвѣ, в о б щ е й с н а р о д о м почвѣ — той же природной жизни, той же душевной стихии, тѣх же глубин, тѣх же испытаній и искушеній, тѣх же нравственно питающих сил, возвышающих душу. Огромная популярность русской классической литературы как раз теперь среди самых широких кругов подсоветскаго читающаго населенія свидѣтельствует об этом. Пора перестать “разыгрывать” цвѣт русской народной культуры против ея корней и наоборот. Последнее дѣлали большевики (а до них отчасти уже нѣкоторые революціонные круги старой Россіи), а первое на руку тѣм врагам русскаго народа, которые отрицают его національное творческое лицо (“болотные люди”) и его национально укорененную культуру. То, что носителями культуры в 19-ом вѣкѣ были в значительной степени (но далеко не исключительно) дворяне, ничуть не мѣняет дѣла: эти дворяне, как и другіе, недворяне, были тѣспѣйшим образом связаны с истоками русской національной жизни, творили не узко-классовое (великое и прекрасное не может быть узко-частным), а національное дѣло, сохраняя при этом, большей частью и все очарованіе специфически дворянской культуры, как одной из р а з н о в и д л о с т е й обще-національнаго. Но прежде всего: в их твореніях отразилась русская народная душа — так подлинно и истинно, в разнообразнѣйших, самых “народных” своих проявленіях и в глубинах своих, как никакая культура никакого народа не отражала и не выявляла болѣе ярко его внутреннѣйшую душу. Оставим натравливанія, “разыгрываніе” одного слоя русской культуры против другаго (не отрицаю при этом великих социальных несправедливостей, нравственно неприемлемых, в прошлом русскаго народа), не будем дарить наследіе нашей культуры тѣм иностранцам, что жаждут возможности нас презирать: она — р у с с к а я, она, даже на вершинах своих носителей, обильно и любовно воспринявших самое утонченное наследіе прошлаго и усвоивших все богатство культурнаго Запада в синтезѣ с традиціей патриархально-религіознаго отческаго уклада жизни и родной старины; она и в этом утонченнѣйшем цвѣтѣ своем — в “Войнѣ и мирѣ” Толстого, в стихах Тютчева и Пушкина, на вершинах русской религіозной мысли и русскаго музыкальнаго творчества — глубоко и прежде всего русская и п р и н а д л е ж и т как таковая всему русскому п а р о д у.

Но, болѣе того, не только русская она на высотах своих, но имѣет и сверхнародное, общечеловѣческое значеніе: ибо черпала из глубин, которая глубже и неконичѣ даже первичных глубин народной жизни, ибо ими живет и народ, и засыхает и умирает духовно, когда отрывается от них.

6.

С природной тишиной, с красотой и миром русских просторов и с молчаливой жизнью русских лѣсов связано и русское отшельничество

и пустынножительство. И оно, это пустынножительство, было усиленной внутренней работой, — работой, по своей напряженности и значительности часто превосходящей всё другія; собираніем духовных сил для горящаго духовнаго творчества, созданія в себѣ и других новаго чело-вѣка. Говорю о подлинном пустынножествѣ, не о соблазнительной часто жизни, особенно в позднѣйшія времена, больших пристолічных, да и ряда других монастырей. Достаточно существованіе одной только Оптиной пустыни с ея духовно-очищающим и укрѣпляющим воздѣй-ствіем не только на низы, но и на Достоевскаго и на Кирѣевских, а через них на всѣх других славянофилов и на Гоголя, и на Владиміра Соло-вьева, и на Константина Леонтьева и даже на Л. Н. Толстого и на многих-многих самых выдающихся представителей русскаго высшаго культурнаго класса, русскоі духовной творческой культуры), чтобы снять с русскаго пустынножительства 19-го вѣка огульное обвиненіе в безплодіи и паразитизмѣ. А Оптина пустынь была не единственным примѣром. Вездѣ, даже среди сильно развращенных нѣкоторых при-столічных монастырей, были островки усиленной внутренней духовной жизни, трудолюбивой и смиренной, излучавшей свою духовную помощь широким кругам народа. Особенно же эти питающіе центры духовные были живы в скитах и в болѣе бѣдных уединенных монастырях, болѣе отдаленных от центров (на Валаамѣ, в Глинской пустыни, в Зосимо-вой пустыни к сѣверу от Сергіево-Троицкой лавры, и т. д.). В героиче-скій період русскаго монашества — в 14-ом, 15-ом и 16-ом вѣках — эта жизнь духовная была еще интенсивнѣе; это общенародное пе-дагогическое воздѣйствіе монастырей, с их смиренным служеніем и фи-зическим и культурно-просвѣтительным и духовным нуждам народа, шло еще гораздо болѣе ярким свѣтом. Они были тогда живыми но-сителями дѣятельнаго состраданія, направленнаго на физическія и духовныя нужды народа. Достаточно вспомнить, на-примѣр, о таких подвижниках, как Діонисій Глушинскій (1363-1437), Корнилій Комельскій (1455-1573) и Тихон Задонскій (1724), или Сергіево-Троицкая обитель в Смутное время. И вмѣстѣ с тѣм были и остались они и позднѣе, до самых большевистских времен, в лучших своих представителях (Оптиной пустыни, Геосиманском скиту у Сер-гіевской лавры, Саровской пустыни, и т. д.) живой лабо-ра-торіей жизни духовной, и отсюда — питающим центром для духов-ной и молитвенной жизни народа. Здѣсь, в тиши, создавались духовныя цѣнности и изливались не только на ближайшее окруженіе, но на сотни тысяч народа, приходивших со всѣх концов Россіи за духовным под-крѣпленіем, за совѣтом и наставленіем духовным. Это были — особенно там, гдѣ были налицо носители традиціи старчества, столь характер-наго явленія русскоі религіозной жизни 19-го вѣка, — так сказать, “духовныя амбулаторіи”, духовныя “питательные пункты” народа.

И безспорна глубокая связь этого “окооруженія” духовнаго с уми-ряющей душу тишиной природной жизни, с чащами лѣсов, безмолвными просторами больших русских озер и рѣкъ, с тѣм, что можно было бы на-звать “эстетикой” русскаго пустынножительства. Уже в аскетически частроенных духовных стихах, которые широко пѣлись в народѣ,

среди странников и слѣпых пѣвцов, прославляется “матеръ-пустыня”. Справедливо отмѣчалось большое значеніе, которое имѣла пустынная, сосредоточивающая душу красота природы на выбор мѣстоположенія для уединенных келій, позднѣе скитов и монастырей. “Суровый вид природы”, пишет Иконников, “особенно привлекалъ отшельников. Нерѣдко упоминается, что они селились в глухом лѣсу”. Пустынники останавливались перед мѣстностью, поражающею их то своей дикостью, то красотой. Мѣсто, избранное для подвигов Антоніем Сійским (его вторая пустынь) — как передает нам его древнее житіе — “в горах бяше, горами яко стѣнами ограждено, в долу же гор тѣх бяше озеро, ... на горах же тѣх лѣе велик зѣло видѣти; в подгоріи же гор оных стоит келія святого, окрест же ея дванадесять берез, яко свѣг бѣлѣюще. Плачевне же есть мѣсто сіе велими, якоже кому пришед по-смотреть сію пустыню, зѣло умилитися имать, яко самозрѣніе мѣста гого в чувство привести может зрящих его”. Других привлекали болѣе идиллическія, мирныя, менѣе дикія картины.

“Житія” обыкновенно описывают красоту мѣстности с сочувствіем. “Дерева и вода считались необходимою принадлежностью для умиленія сердца. Кирилл Бѣлоозерскій с высоты горы Маурк плѣнился обширным пространством, покрытым озерами и лугами и орошенным рѣкою Шексною. Филипп Иранскій выбрал красивое мѣсто на берегу рѣки Андоги (в Бѣлозерской сторонѣ) под развѣсистую сосною. Герасим Болдинскій поселился у потока под огромным дубом; Ѳерапонт Можайскій между двух озер; Кирилл Новосерскій под елю на крутом берегу Новаго озера. Кирилл Челмскій избрал для жительства гору Челм в 50 верстах от Каргополя. По обѣим сторонам ея лежали два озера, из которых одно выпускало рѣку. Гора была покрыта лѣсом. Трифон Вятскій избрал мѣстность на рѣкѣ Мулянкѣ (возлѣ нынѣшней Перми), окруженную густым лѣсом и благоухающими цвѣтами. Поселяясь у рѣки, отшельники предпочитали мѣсто у ея устья, гдѣ она впадает в большую рѣку. В мѣстах озерных они селились нерѣдко на островах. Остров Палій, на котором жили Корнилій и Авраамій Палеостровскіе, представляет живописную мѣстность. С вершины отвѣсной скалы его открывается панорама всего Онежскаго озера, во всей дикой красотѣ”. Составитель древняго житія преподобнаго Александра Свирскаго рассказывает, что красота природы поразила подвижника, когда он пришел на прежде показанное ему мѣсто. “Мѣсто же то, идѣже преподобный Александр вселися ... бор бяше; лѣсом же и езера наполнено велими и красно бяше отовсюду”. Недаром в своей привлкательной книжкѣ о Сергіи Радонежском Борис Зайцев говорит о “запахѣ смолы”, который как-бы ощущается в этих старинных описаніях лѣсной отшельнической жизни преподобнаго. То же можно сказать о многих других особенно сѣверно-русских житіях. Это понялъ и воплотил Нестеров в своих проникновенных картинах, посвященных сѣвернорусскому отшельничеству, с их лѣсными зарослями и широкими далями. Какая тишина охватывала вас во многих русских лѣсных обителях, напримѣр, в Еліазаровской обители близ Пскова, или в Зосимовой пустыни к сѣверу от Москвы, или, напримѣр, в этой идиллической Ки-

гаевой пустыни среди лѣса над круглым озером неподалеку от Днѣпра к сѣверу от Кіева. Вот как набрасывает нѣсколько картинок Валаамской тишины и умиренности Борис Зайцев в своей книжкѣ о Валаамѣ: “Дорога медленно, плавными полудугами спускалась вниз. Справа, слѣва открывались лѣса, кое-гдѣ блестяло серебро пролива. Далекое над лѣсом воздымались колокольни монастыря. Очаровательныя такія монастырскія дороги, на Афонѣ ли, на Валаамѣ — меж лѣсов, в благоуханніи вечера, наступающаго, в тишинѣ, благообразіи святых мѣст. Незамѣтно будто-бы, но нѣчто входит и овладѣвает путником... Слѣва озеро, узкое и длинное, с плавающими по родѣ желтыми березовыми листьями. Прямо перед нами церковь, п у входа о. Николай, схимник и пустынножитель...” А жизнь в Рославльских дремучих лѣсах подвижников и отшельников конца 18-го и начала 19-го вѣка, а жизнь Оптиной пустыни.

Эту духовную красоту, просвѣтленным молитвенным созерцаніем просторов, ощутил—как мы уже видѣли—К. Леонтьев, ее угадала под конец жизни, на примѣр, и чуткая душа Чехова. В своих отрывочно набросанных и тѣм болѣе цѣнных замѣтках о Чеховѣ (“Из записной книжки”, I, 1) Иван Бунин вспоминает про него: “Послѣднее время он часто стал мечтать вслух: “Стать бы бродягой, странником, ходить по святым мѣстам, поселиться в монастырѣ среди лѣса у озера, сидѣть лѣтним вечером на лавочкѣ возлѣ монастырских ворот...” — “До самой смерти росла его душа!” прибавляет Бунин. Здѣсь Чехов, как и в своем замѣчательном (послѣднем) разсказѣ “Архіерей” и в своем очеркѣ “Свѣтлой ночью”, творческой интуиціей художника и тоской своей жаждущей мира и духовной о п о р ы души, прикоснулся к нѣкоторым основным, глубинным струям русской народной жизни. К н о в о й жизни п о д в и г а, мужественно будящаго душу, к сосредоточенной и излучавшей свѣт и любовь молитвенной жизни тѣх великих праведников и угодников, которые в своей напряженной, творческой тиши были центрами духовнаго горѣнія, а вмѣстѣ с тѣм — духовнаго воспитанія народа.

Н. Арсеньев.



Е. А. Боратынскій.

ПУШКИН И ДАВЫДОВ

Установить точно время личного знакомства Пушкина с Денисом Давыдовым, бывшим на пятнадцать лет его старше, нельзя. Пушкин слѣдил за литературным творчеством Давыдова еще находясь в Лицеѣ, когда, возможно, и произошла первая их встрѣча (в 1815 г. при приѣздѣ Давыдова в отпуск из Арміи в Петербург). Вѣрнѣе однако приурочить ее к вступленію Давыдова в литературный кружок “Арзамас”. Знакомство это породило в дальнѣйшем искреннюю дружбу и близость на всю жизнь.

Литературный кружок под наименованіем “Арзамасскаго Ученаго Общества” был учрежден в 1815 г. группой молодых литераторов, объединившихся вокруг Жуковскаго, Вяземскаго и Блудова для борьбы за введенный Карамзиным новый, легкій, обиходный литературный язык, в противовѣсѣ славяно-россійскому, установленному “стариками” из “Весѣды любителей россійскаго слова”, с его торжественными и формальными канонами.

Шутливое названіе для Общества было выбрано учредителями под впечатліем только что состоявшагося тогда открытія в мало кому извѣстном городѣ Арзамасѣ петербургским художником Ступиным “Академіи живописи”. Молодежь, объединившаяся в “Арзамасѣ”, продолжая предприпятное Карамзиным обновленіе литературнаго языка, естественно заслужила восторженные отзывы прославленнаго историка. “Не знаю, писал он в одном из своих писем к женѣ, ничего умнѣе арзамасцев: с ними бы жить и умереть. Вот истинная Русская Академія, составленная из молодых людей умных и с талантом!”.

Дѣйствительно, на собраніях “Арзамаса” создавалась, как вспоминал один из участнко, атмосфера живого чувства любви к родному языку и литературѣ; веселье было ключем, сыпались шутки и эпиграммы. Своей эмблемой входившіе в Арзамас литераторы, которых идейный противник их Дмитріев величал ехидно: “их превосходительства геніи Арзамаса?”, избрали гуся, так как город Арзамас славился своими гусями. “Арзамасцы” чтили гуся, как изображеніе сокровенной мудрости, но в то же время гусь в жареном видѣ был непремѣнным завершеніем их дружеских встрѣч.

Всѣ члены “Арзамаса” получали прозвища. Так Давыдов именовался “Армянином”, а Пушкина звали “Сверчком”, не то за его шаловливую подвижность, не то потому, что голос его должен был быть звонким, чтобы из Лицея доходить до собравшихся. Протоколы послѣдних засѣданій “Арзамаса”, на которых Пушкин присутствовал

лично, к сожалѣнію, не сохранились, и потому степень его участія в дѣятельности Общества точно опредѣлить невозможно.

**

Как и всѣ его современники, Пушкин увлекался “гусарскими” стихами Давыдова. Еще в Лицеѣ, в 1814 году, почти дословно подражая анакреонтической одѣ Давыдова: “Мудрость” — (Дениса Давыдова прозвали уже тогда “Анакреоном под доломаном”) — Пушкин писал:



О. И. Сенковскій («барон Брамбеус»).

“Мы недавно от печали
Пушкин, Пушкин, я, Барон,
По бокалу осушали
И Фому прогнали вон”.

Сохранились также списки рукою Пушкина-лицеиста стихов Давыдова: Элегія (“Возьмите меч — я недостойн брани”), посвященной им в 1814 году балеринѣ Ивановой, в которую он тогда был влюблен. Увлечение Пушкина стихами Давыдова можно прослѣдить в рядѣ его ранних произведеній. Так, наприимѣр, в своем “Казакѣ” 1814 г. Пуш-

кин удалого казака именует “хват Денис”. В “Воспоминаніях”, обращенных к Пушкину (1815 г.), он говорит о “братѣ по чашѣ”, упоминает, как “топили горе ... в чистом пѣнистом винѣ” и дальше рисует картину:

“...Вкруг бокалов пуншевых
Рюмок грустное молчанье
Пламя трубок грошевых...”

так напоминающую давыдовскіе стихи: “пять стаканов пуншевых...”

В “Философической одѣ” 1816 года: “Усы” Пушкин уже совершенно в стилѣ Давыдова восклицал::

“На долгих ужинах веселых,
В кругу гусаров посѣдѣлых
И черносухих удалцов,
Веселый гость, любовник пылкій,
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавиц и усов!
Сраженья страшный час настанет,
В ряды ядро со треском грянет;
А ты, над ухарским сѣдлом,
Разсудка, памяти не трагишь, —
Сперва кудрявый ус ухватишь,
А саблю вѣрную потом”.

Не мудрено, что эта ода, заполненная всеми поэтическими аксессуарами давыдовской лиры, ходила долгое время под именем славнаго партизана в списках и даже в 1831 году еще была напечатана за подписью Давыдова в сборникѣ “Эвтерпа”. Тѣ же давыдовскіе звуки слышатся и в другом стихотвореніи того же 1816 года: “Наѣздники”, гдѣ Пушкин писал:: :

“...Толпа наѣздников младых
В дубравѣ ѣдет молчаливой...
Огнем пылают гнѣвны очи...
Одна стезя войны прекрасна,
Завиден гордый наш удѣл.
Тебѣ ли нынѣ смерть ужасна?..”

Наконец, в своем посланіи “Дядѣ”, 1817 г. Пушкин, ссылаясь на Дениса-храбреца”, провозглашал: “Счастливы...

кто славит Марса и Темиру
И бранную повѣсил лиру
Меж вѣрной сабли и сѣдла”.

И еще:

“Беллона, Муза и Венера,
Вот, кажется, святая Вѣра
Дней наших всякаго пѣвца”.

Впрочем, сам Пушкин часто говорил в кругу друзей о влиянии, которое на него оказал Давыдов, и о том, что он “в молодости старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил себя его манеру”. В другой раз он даже пояснил, что избѣгал стать подражателем Жуковского и Батюшкова потому, что “еще в Лицеѣ Давыдов дал ему почувствовать возможность быть оригинальным”.

Но и выйдя из Лицея Пушкин не забывал давыдовскаго “крученія стиха”. Отголоски воспринятаго им в юности влияния сказывались и позднѣе, напримѣр, в “Посланіи Юрьеву” 1819 года, гдѣ Пушкин обращается к друзьям со словами:

“Здорово, рыцари лихіе
Любви, свободы и вина”,

или в “Войнѣ” — 1821 г. “Войну” Пушкин начал чисто давыдовскими строками:

“Война!.. Подъяты, наконец,
Шумят знамена бранной чести!”

Подводя итоги своему увлеченію стихом Давыдова, молодой Пушкин посвятил ему великолѣпное восьмистишіе, в котором полнѣе всего характеризовал так называемую “гусарщину” Давыдова:

“Пѣвец-гусар, ты глѣ биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потѣху драки
И завитки своих усов;
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутылъ!”

**

Увлеченію Давыдовым, как поэтом, соответствовала и пріязнь личная, все укрѣплявшаяся с теченіем времени. В свою очередь и Давыдов сразу возымѣл к Пушкину чувство, которое нельзя иначе назвать, как обожаніем. Только служба в глухой провинціи и походы препятствовали ему постоянно быть вмѣстѣ с дорогим его сердцу другом. Но во всѣх письмах к общим друзьям, особенно к кн. Вяземскому, Давыдов не пропускал случая освѣдомляться о далеком поэтѣ, о чем и просил ему постоянно передавать. Вяземскаго Давыдов как-то даже просил “взять Пушкина за бакенбарды и поцѣловать за него в ланиту”.

С 1830 года Давыдов стал бывать пѣсколько чаще в Москвѣ, что дало наконец возможность друзьям встрѣчаться. Сохранились в “Записках” Вяземскаго отмѣтки о том, напримѣр, что 4-го января Давыдов вмѣстѣ с Пушкиным пріѣзжали к нему в имѣніе его Остафьево. Об этой поѣздкѣ впрочем и сам Давыдов писал Муханову, своему

приятелю “Завтра с Пушкиным мы ѣдем к Вяземским ровно в 10 ч. утра. Слышишь ли? Ровно в 10 часов. Не хочешь ли и ты также завтра туда пуститься? Если хочешь, то будь у Пушкина (в гостиницѣ Англія) завтра в 9½ часов утра; там наше сборище”.

Народу собралось в Остафьевѣ на этот раз много. Вяземскій писал: “...у нас был уголок Москвы... Был Денис Давыдов, Трубечкой, Пушкин, Муханов, Четвертинскіе. К вечеру съѣхались собесѣдн. зашумела пьяная скрипка и пошел бал балом. Только мазурку я не позволил танцевать: *c'est une danse séditieuse*”, заканчивал князь свое письмо приятелю, намекая на начавшееся в Польнѣ броженіе.

В московских салонах по польскому вопросу господствовала точка зрѣнія, высказанная не раз Давыдовым, видѣвшим в мятежных поляках лишь неблагодарных и непокорных подданных русскаго царя.

20-го, в присутствіи Давыдова и Пушкина шли у Вяземскаго горячія разсужденія: как скорѣе прекратить польскую смуту? Московскій почт-директор Булгаков, бывшій среди гостей, писал брату, вернувшись с этой вечерянки: “... в *Supplements du Journal de St. Petersbourg* есть Дибичевы прокламаціи к полякам. У Вяземскаго собрались Денис Давыдов, поэт Пушкин, ну и всѣ хвалили пьесы эти”.

11-го февраля Давыдов снова у Пушкина в гостиницѣ “Англія”. Был там и Погодин, с которым Пушкин “до хрипу” спорил о Борнѣ Годуновѣ.

**

Пушкин, доживая свои холостые дни, часто ѣзжал с Давыдовым и Вяземским к цыганам. Хор их, собранный впервые графом Алексѣем Орловым в его подмосковном селѣ Пушкинѣ в 1812 году, был графом отлучен на волю. Возглавлял хор теперь уже немолодой Илья Соколов, неизмѣнно сохранявшій темперамент юноши.

Хор этот позднѣе чаровал и концертнровалъ в 1843 году в Москвѣ Франца Листа.

Примадонной хора была цыганка “Танюша”, поклонниками ея -- весь цвѣтъ Москвы. Своими пѣсенками Танюша, как извѣстно, доводила Пушкина до рыданій.

Послѣ одной из совмѣстных поѣздок к цыганам Давыдов написал пѣсенку: “Герою битв”...

“Люблю тебя, как сабли лоск.
Когда, пріосѣнясь фуражкой.
С виноточивою баклажкой
Идешь в бивачный мой шюск.
Когда, летая по рядам,
Горишь, как свѣчка, в дымѣ бранном...
Киплю, любуясь на тебя,
Глядя на прыть твою младую...”

Пушкин к пѣсенкѣ этой присочинил строфу, посвященную славному возглавителю цыганскаго хора, пѣвцу Соколову:

“Так старѣй хрыч, цыган Илья,
Под лад плечами шевеля,
Глядит на удалъ плясовую,
Да чешет голову сѣдую”.

А на листкѣ, на котором Давыдов записал плод их совмѣстнаго творчества, Пушкин сдѣлал шутовскую приписку: «Ecrit de la main de Davydoff (Général de cavalerie, Seigneur de Borodino etc.)».

17-го февраля 1831 года справляли шумно мальчишник Пушкина, созвавшаго къ себѣ друзей. Были: Вяземскій, Боратынскій, Нащокин, Кирѣевскій, Елагин, Лев Пушкин, Языков и Давыдов. Пушкин был очень грустен, читал стихи, прощаясь с молодостью, — вѣроятно терпѣны:

“В началѣ жизни школу помню я”.

Оставив гостей, он рано уѣхал къ невѣстѣ. Было много выпито. Давыдов, не умѣвшій вообще пить, был сильно пьян, а Языков даже до безпамятства, так что никак не мог понять попыток Давыдова объяснить ему, что в походах он за пазухой таскал с собой его, языковскіе, стихи.

**
*

Начавшаяся польская кампанія снова разлучила Пушкина и Давыдова, получившаго в мартѣ боевое назначеніе. Но как только кончились военныя дѣйствія и Давыдов вернулся в Москву, он тут снова видѣлся в концѣ года с Пушкиным, прїѣзжавшим из Петербурга. Об этом сообщал и Пушкин женѣ: “Видѣл у Сяземскаго Дениса Давыдова”, а нѣсколько позднѣе ей же признавался: “Я до никаких Давыдовых, кромѣ Деніса, не охотник”.

Всякій раз, как Пушкин прїѣзжал в Москву, гдѣ обычно останавливался у друга своего Нащокина, Давыдов приходил туда же и занимал всѣх своими разказами о походах. Любопытныя боевыя подробности служили ему неисчерпаемым источником разговора, до котораго он был большой охотник. Не раз, вѣроятно, Пушкин мысленно повторял посвященные им Давыдову лѣтъ за десять до того стихи:

“Я слушаю тебя — и сердцем молодѣю
Мнѣ сладок жар твоих рѣчей.
Повѣрь, я снова пламенѣю
Воспоминаньемъ прежнихъ дней”.

Когда же разговор переходил на темы литературныя, тут Давыдов, по разказу Бартенева, “с живѣйшимъ любопытствомъ бывало спрашивал: “Ну что, Александръ Сергѣевич, нѣтъ ли чего новенькаго?” — “Есть, есть, привѣтливо говаривал на это Пушкин и приносил тетрадку или читал ему что-нибудь наизусть с добродушной простотой”.

За этими же бесѣдами Давыдов дал себя уговорить собрать и издать его стихотворенія. До того он упорно отказывался от этого плана.

“Меня соблазнили, писал он Вяземскому, деньги: я никак не хотѣлъ выдавать стихов моих на поруганіе, но дают хорошую сумму, и я, очертя голову, пускаю их в океан бурь”.



Вскорѣ Давыдов снова отбыл в деревню, в Пензенскую губернію. Жизнь там, гдѣ любители доморощенных оркестров и театров тянулись за Москвой и спогляли на сцену, по ядовитому замѣчанію Вигеля, “всю дворню — от дворецкаго до конюха, от горничной до портомойки”, представляла много соблазнительнаго для Давыдова. Особенно занимали воображеніе его (и наѣзжавшаго в Пензу Вяземскаго) мѣстныя прелестницы. Об одной из пензенских “кокеток”, Всеволожской, обаятельной “простоволосой головкѣ”, как ее прозвал Давыдов, был друзьями в игривых стихах поставлен в извѣстность даже и Пушкин. Однако, Пушкин отклонил предложеніе послать ей в Пензу из Петербурга стихи, справедливо отговариваясь тѣм, что на такой дистанціи не стрѣляют даже и турки”.

За время своего пребыванія в Мазѣ (так называлось давыдовское имѣніе) Давыдов часто переписывался с Пушкиным; однако из его писем уцѣлѣли всего десяток-полтора. Письма же Пушкина, а их было много, почти все пропали, за исключеніем двух черновиков. Об этих письмах сохранились только помѣтки в протоколах Академической Комиссіи.

В 1833 году Пушкин ѣздил в Поволжье за матеріалами для Исторіи Пугачевского Бунта. Был дважды — проѣздом — у Языковых в сосѣдней, Симбирской губерніи. Давыдов, узнавшій об этом с нѣкоторым опозданіем, так отозвался в письмѣ к Языкову: “рад душевно, что Пушкин принялся за дѣло. Этот лохотный Петербург его губит ... отвлекая от вдохновенія”. Но Давыдова, естественно, огорчало то, что сам он все же не свидѣлся с Пушкиным. Четвертаго апрѣля 31-го года он написал Пушкину: “Как мнѣ досадно было разѣхаться с тобой прошлаго года! Я не успѣлъ проѣхать Симбирск, как ты туда явился и, что всего досаднѣй, я возвращался из того же края, в который ты ѣхал и гдѣ мог тебѣ указать на разныя личности, от которых ты бы мог получить нужныя бумаги и свѣдѣнія. Ты был потом у Языкова и я не зналъ о том. Неужели ты думаешь, что я мог бы засидѣться в своем захолустьѣ и не пріятѣлъ бы обнять тебя? Злоуѣй, зачѣм не увѣдомил ты меня о том..”



В ту пору Давыдов был сильно увлечен Е. Д. Золотаревой, молодой дѣвушкой, образованной и красивой, из мѣстной помѣщичьей среды. Поэтическій восторг вызвал в нем, как он говорил, “бѣса поэзи”. Он, конечно, немедленно об этом извѣстил Пушкина. “Знаешь ли, писал он ему, что струны сердца моего опять прозвучали. На-днях я написал много стихов, так и брызгало ими. Я, право, думал, что разсудок во мнѣ так разжирѣлъ, что вытѣснилъ послѣднюю поэзію; не тут-то было, встре-

пелулась небесная, а он дай Бог ноги! Так и по сію пору не отыщу его. Совѣстно мнѣ посылать тебѣ мои пустыя сердечныя бредни, но, если прикажешь, я исполню волю моего парнасекаго отца и командира”.

Среди стихов, порожденных этим увлеченіем Давыдова (он называл Золотареву “чудом красоты и прелести”), особенной поэтичной была пьеса “Вальс”, напечатанная без его вѣдома в “Сѣверной Пчелѣ” по списку, ходившему в городѣ, съ болѣе чѣмъ прозрачнымъ примѣчаніемъ: что “Вальс” этотъ — плодъ творчества “поэта, отдыхающаго отъ бурь военныхъ, пѣвца Вина, Любви и Славы”:

“Кипитъ потокъ в дубравѣ шумной
И мчится скачущей волной
И катитъ в ярости безумной
Песокъ и камень вѣковой
Но покоренъ красой невольной
Кольшетъ ласково потокъ
Слетѣвшій съ берега на волны
Осенній, розовый листокъ.
Такъ бурей вальса не сокрыта,
Такъ отъ толпы отличена
Летитъ, воздушна и стройна.
Моя Любовь, моя Харита,
Виновница тоски моей,
Моихъ мечтаній, вдохновеній
И поэтическихъ волненій,
И поэтическихъ страстей”.

Любовь къ Золотаревой все болѣе овладѣвала думами Давыдова — и омрачала его дни: провинціальная барышня, поначалу было увлеченная славой партизана и поэта, стала все болѣе сторониться стараго гусара, проявлявшаго, не по годамъ, страстную настойчивость.

В этихъ условіяхъ особенно радостнымъ было для Давыдова полученіе “Пиковою Дамы”, которую онъ съ восторгомъ прочелъ. Его тронуло, что эпиграфомъ къ одной изъ главъ Пушкина поставилъ слышанныя имъ когда-то отъ Давыдова слова. Онъ сейчасъ же и написалъ Пушкину: “помилуй, что у тебя за дьявольская память: я когда-то на лету, рассказывалъ тебѣ разговоръ мой съ М. А. Нарышкиной. «Vous préférez les suivantes», сказала она мнѣ, «Parce qu’elles sont plus fraîches», былъ мой отвѣтъ: ты слово въ слово поставилъ это эпиграфомъ в одномъ изъ отдѣленій Пиковою Дамы. Вообрази мое удивленіе и еще болѣе восхищеніе: жить такъ долго в памяти Пушкина, нѣкогда любезнѣйшаго собутыльника и всегда единоплемяннаго моей душѣ поэта. У меня сердце облилось радостью, какъ при полученіи записки отъ любимой женщины”.

Къ этому же, казалось бы, маловажному событію, чувствительный Давыдовъ возвращался и в своемъ письмѣ къ Вяземскому, гдѣ, упоминая про Пушкина, обращался къ старому другу съ просьбой: “Пощади его за эпиграфъ в Пиковою Дамѣ, онъ меня утѣшилъ воспоминаніемъ обо мнѣ”.

За всѣми своими заботами и личными переживаниями, Давыдов никогда не переставал внимательно слѣдить за творчеством обожаемаго им Пушкина. Вяземскаго он постоянно разспрашивал, что пишет поэт. Так, напримѣр, в одном из писем: "...жду с нетерпѣніем Пугачева... Увѣдомь, что он еще пишет. Да, ради Бога, заставьте его продолжать Олѣгина; эта прелесть у меня вѣчно в руках, тут все и для сердца и для смѣха". Он и других заставляет читать Пушкина. Напримѣр, той же Золотаревой совѣтовал читать повѣсти Пушкина: *Surtout "Выстрѣл", que Пушкин m'a lu lui-même un couple de fois et que je relis avec plaisir*».

Переписка Давыдова с Пушкиным в значительной мѣрѣ касалась сотрудничества его в затѣянном Пушкиным "Современникѣ". Там и появлялись в дальнѣйшем стихи и статьи славнаго партизана.

В началѣ 1836 года Давыдов выбрался наконец из Пензы, — отчасти в связи с литературной работой своей, в Петербург, гдѣ с восторгом был встрѣчен старыми друзьями. С Пушкиным он за время своего пребыванія в столицѣ почти не разлучался. 18-го января Пушкин подарил Давыдову экземпляр своей "Исторіи Пугачевского Бунта", незадолго до того поступившей в продажу и обезсмертил Давыдова знаменитой надписью-посвященіем:

"Тебѣ пѣвцу, тебѣ герою!
 Не удалось мнѣ за тобою
 При громѣ пушечном, в огнѣ
 Скакать на бѣшенном колѣ.
 Наѣздник смирнаго Пегаса
 Носил я стараго Парнаса
 Из моды вышедшій мушдир.
 Но и по этой службѣ трудной,
 И тут — о, мой наѣздник чудной
 Ты мой отец и командир.
 Вот мой Пугач: при первом взглядѣ
 Он виден: плут, казак прямой;
 В передовом твоём отрядѣ
 Урядник был бы он лихою.

Обрадованный Давыдов тотчас же сообщил об этом женѣ, с которой он большей частью переписывался по-французски: «*Il paraît que je suis vraiment une figure poétique, car voilà que le grand Pouchkin même vient de m'envoyer son Histoire de Pougatcheff*» и дальше говорит: "стихи прелестныя, как все, что выходит из под пера".

21-го Давыдов был у Вяземскаго, гдѣ встрѣтил Жуковскаго и Пушкина, "которые для меня туда пріѣхали", как он снова писал женѣ, а 25-го — у Пушкина, «*dont la femme est vraiment d'une beauté extraordinaire*». 26-го пріятели снова свидѣлись у Жуков-

скаго, у котораго собирались каждую субботу его приятели и литераторы. “Там я нашел”, сообщал Давыдов женѣ, “Крылова, Плетнева, Пушкина, Вяземскаго, Теплякова и множество... Этот вечер был моим триумфом... Вообрази, что из 25 умных я один господствовал. Всѣ меня слушали”.



Князь П. А. Вяземскій.

Давыдов, о котором Вяземскій тогда говорил: “с таким человеком не устанешь быть и десять, и сто лѣт...” был “героем дня” еще на обѣдѣ у Карлгоф-Драшусовой, в салонѣ которой бывали петербургскіе литераторы. По поводу пріѣзда “партизана-Давыдова” она устроила обѣд и пригласила “всю литературную аристократію”. Были Крылов, Бенедиктов, бар. Розен, Плтнев, Жуковскій, Вяземскій и др. “Наконец, пріѣхал Пушкин”, занесла хозяйка в свои “Записки”. “...Разговор был донельзя оживлен, много говорили о мнимом открытіи обитаемости луны. Пушкин доказывал целѣность этой выдумки”.

**
**

Для Давыдова особо радостной была встрѣча за-ново с обожаемым Пушкиным. Они снова перешли на “ты” к великой радости Давыдова.

“Твое ты”, писал он ему восторженно, вернувшись к себѣ в “Мазу” 2-го марта 1836 года, “сняло с меня 25 лѣтъ с костей и развязало мнѣ руки; я молод и весел”.

Пушкин предложил пріятелю принять близкое участіе в “Современникѣ”. Давыдов тѣм охотнѣе согласился, что профессионалы, в руках которых находились тогдашніе “толстые журналы”, его донимали поправками, вносимыми в его текст. Особенно тяготился он редакторами “Библіотеки для чтенія”. Давыдов справедливо считал, что выравнивая его слог, не всегда правильный, но за то своеобразный и красочный, ревнители грамматики “коверкали” его, дѣлали безцвѣтным. Пушкин вполне раздѣлял его мнѣніе: “Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евнуху учить Потемкина”.

Совсѣм другим дѣлом было, конечно, издательство, возглавляемое Пушкиным. Давыдов горячо ухватился за предложеніе друга. “Накопляется ли журнал Пушкина”, запрашивал он Вяземскаго. “Я еще пишу статью для его журнала и подобрал в шайку нашу Языкова”. Пушкину он сообщает: “Боратынскій хочет пристать к нам, это не худо; Языков вѣрно будет нашим; надо бы и омякова завербовать, тогда стихотворная фаланга была бы в комплектѣ”. И еще раз, 6-го апрѣля: “Я был у Языкова, который готов поступить под твои знамена ... разсчитывай на меня, я под твоим начальством лихо буду служить”.

Сотрудничество Давыдова в “Современникѣ” патолкнулось, как он, впрочем, и ожидал, на затрудненія со стороны цензуры. Цензура требовала сокращеній, искажавших, по мнѣнію автора, порой смысл статей. Замѣнив статью о “Занятіи Дрездена в 1813 году” отрывком о “Партизанской войнѣ”, который, как думал Давыдов, мог бы “пройти бодро и смѣло мимо цензурнаго Комитета, не ломая шапки...”, он однако снова встрѣтил сопротивленіе цензуры, на этот раз военной. Потребовались значительныя урѣзки. “Не знаю, чѣм провинились русскіе писатели, никогда не бывали они притѣснены, как нынче”, — писал он.

Цензурныя злоключенія еще болѣе омрачали и без того тяжело тянувшіеся для Давыдова дни. По дорогѣ из Петербурга домой снова повстрѣчал он семью Золотаревой. Вновь заговорило сердце партизана. И ему напѣлись стихи, завершившіе собою цикл выстрадавших строф о ней. “Вот что я дорогой мысленно сложил”, повѣрял он свои переживанія Пушкину в письмѣ от 16-го апрѣля, с просьбой, однако, стихов не печатать. Болѣе того, писал он: “не давай никому даже списывать! Есть причины тому”.

“Я помню, — глубоко,
Глубоко мой взор
Как луч проникал
И рощи, и бор,
И степь обнимал
Широко, широко...
Но, зоркія очи,
Потухли и вы..”

Я выплакал вас
На дѣву любви,
Я выплакал вас
В безсонныя ночи”.

Получив эти строки, Пушкин, как и надо было ожидать, не утерпѣлъ, чтобы не показать их старому испытанному другу Давыдова Вяземскому. Вяземскій пришел в восторг и совѣтовал напечатать их, вопреки запрету автора. Пушкину и самому хотѣлось бы помѣстить их в “Современникъ”, но все же он не рѣшался нарушить волю Давыдова и запросил его: “Я бы рад, да как-то боюсь; как ты думаешь? вѣдь можно бы без подписи?”

Но Давыдов воспротивился совершенно безоговорочно: “Очи” не позволяю тебѣ печатать ни за что, даже и без подписи”. Очевидно, он не хотѣлъ, чтобы послѣдняя вспышка так долго им владѣвшей страсти стала “достояніем гласности”.

Немного позднѣе Давыдов прислал Пушкину совѣм другіе стихи для журнала. Это была: “Челобитная”, просьба в стихах, обращенная партизаном к своему старому пріятелю Башилову, бывшему тогда директором Комиссiи Строенiй в Москвѣ. Давыдов бил ему челом, прося ускорить продажу своего дома:

“...Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый”.

“Челобитная к твоим услугам”, писал Давыдов Пушкину: “Стихи горячіе, как блинчики кричат: Блины горячіе!” С продажей дома ничего не вышло, но Пушкин эту полусерьюзную, полушутовливую стихотворную челобитную в своем “Современникѣ” напечатал. Порадовал Пушкин Давыдова также статьей своей о Французской Академіи, в частности об академикѣ Арно, который, как писал Пушкин, освѣдомившись о сдѣланном Давыдовым в свое время переводѣ его стихов “Листок”, упомянул об этом в своей книжкѣ «Oeuvres», выпедшей в 1825 году, с лестной характеристикой перевода. Арно в своей, случайно попавшейся Пушкину, книжкѣ говорил еще, что послал экземпляр Давыдову с посвященіем: «A vous poète, a vous guerrier». Книжка почему-то по назначенію не дошла и Давыдов теперь только, из статьи Пушкина, обо всем этом узнал. Польщенный, он писал Пушкину: “Ты по шерсти погляди самозлобіе мое, отыскав прозу и стихи Арно, о которых я и знать не зналъ”.

В свою очередь он передал Пушкину для него “Замѣток о Дуровѣ”, братѣ извѣстной дѣвицы-кавалериста, свѣдѣнія, которыя у него имѣлись. Они вмѣстѣ служили “в арьергардѣ во время отступленія нашего от Нѣмана до Бородина”. Давыдов ее “видал во фронтѣ, на велегах, словом во всей тяжкой того времени службѣ...”

Переписка не прерывалась. Отправляясь осенью в Москву, Давыдов извѣщал Пушкина: “Я ѣду со всей семьей в Москву в сентябрѣ”

— или лучше сказать, жена ѣдет со всѣм своим народишком, а я остаюсь еще в степях, для рысканія за зайцами, лисицами и волками ... и буду в Москвѣ в концѣ октября”.

**

Выбравшись из деревни немного раньше, чѣм предполагал, Давыдов уже из Первопрестольной писал Пушкину 13-го октября: “Я со всѣм переселился в Москву, живу в собственном домѣ на Пречистенкѣ”. Тут ему пришлось столкнуться с распространенными в столицѣ либеральными вѣяніями, бывшими Давыдову не по душѣ. Свое недовольство “либеральствующей интеллигенціей” он не преминул высказать Пушкину, брезгливо упоминая в письмѣ о “духѣ общаго гражданства, разливаемого нашими школьниками-Ликургами с очками на носу и в батистовых рубашках”. Самой крупной фигурой среди этих, непріятных Давыдову, западников был тогда Чаадаев, незадолго то того перебравшійся на жительство в Москву. Там он вовлек в свою орбиту все “передовое общество” столицы и царил в салонѣ Левашевых за Красными Воротами.

В оцѣнкѣ автора знаменитых “Философических Иисем” Давыдов расходился с Пушкиным. Это был едва ли не единственный случай, когда Давыдов не был согласен с мнѣніем обожаемаго поэта. Пушкин называл Чаадаева своим “жизненным другом” и говорил, что его “жар воспаменяет к высокому любовь”. Прямо и рѣзко, как было в натурѣ Давыдова, он на запросы Пушкина отвѣчал: “Ты спрашиваешь о Чаадаевѣ? Как очевидец я ничего не могу тебѣ сказать о нем: я и прежде к нему не ѣзжал, и теперь не ѣзжу. Я всегда считал его человѣком начитанным и без сомнѣнія весьма умным шарлатаном, в непрерывном пароксизмѣ честолюбія, но без духа и характера, как бѣлокурая кокетка, в чем я и не ошибся”.

Не удовлетворившись этой отвѣдью, данной в письмѣ к другу, Давыдов разразился ядовитой пѣсенью-памфлетом, под названіем: “Современная Пѣснь”:

“Был вѣкъ бурный, дивный вѣкъ,
Громкій, величавый...”

Он противопоставлял этот минувшій вѣкъ новому, мелкому в его глазах, когда:

“...полѣзли из щелей
Мошки да букашки...”

Прохватив всѣх “болтунов”, “модных бредней дурачков”, “равенства ораторов” и прочих “супостатов”, Давыдов, не пощадил, конечно, и самого Чаадаева:

“...Старых барынь духовник,
Маленькій аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленькій набатик”.

Идовитая "Пѣснь" эта быстро разошлась по Москвѣ в списках, приобрѣта чрезвычайную популярность и встрѣчая, конечно, различную оцѣнку, смотря по убѣжденіям читателей. Значительное недовольство вызвала она и в самом Чаадаевѣ.

Но Давыдовым руководила не столько нѣкоторая (понятная) политическая близорукость, сколько горячая любовь к Россіи. Высмѣять слѣдное преклощеніе перед чужим было, по его словам, для него, как "человѣка без примѣи русскаго, Бог знает как усладительно".

**

Проживая в Москвѣ в ореолѣ своей "двойной" славы война и поэта, Давыдов был потрясен, когда как снѣг на голову упала на него неожиданная вѣсть о смерти Пушкина. Весь под впечатлѣніем нелѣпнаго несчастья, он 3-го февраля 1837 года коротко писал Языкову: "Знаете ли нашу общую горестъ? Пушкин, наш славный Пушкин убит на дуэли... Я так разстроен этим извѣстіем, что нѣтъ сил писать вам болѣе". В тот же день он писал и Вяземскому: "Милый Вяземскій. Смерть Пушкина меня рѣшительно поразила; я по сію пору не могу образумиться... Какое ужасное происшествіе! Какая потеря для всей Россіи. *Vraiment une calamité publique!* Болѣе писать, право, нѣтъ духа. Я много теряя друзіи подобной смертью на полях сраженій, но тогда я сам раздѣляя с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает. А это Бог знает какое несчастье".

Через три дня Давыдов снова писал Вяземскому: "Вѣришь ли, что я по сію пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня... Пройдя сквозь весь пыл Наполеоновских и других войн, многим смертям я был виновником и свидѣтелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно Пушкина..."

Трудно было Давыдову привыкнуть к мысли, что Пушкина больше нѣтъ. Удар пришелся прямо в сердце старѣющему партизану. "Я все был нездоров..." (писал он Вяземскому).

Того же Вяземскаго просил он, чтобы не забыли внести в подготавливавшееся "Собраніе сочиненій Пушкина" стихи, которые он прислал Давыдову вмѣстѣ с "Исторіей Пугачевского Бунта". "Мнѣ не премѣнно хочется, чтобы они были напечатаны. — *C'est un brevet d'immortalité pour moi!*"

На два года всего пережил Давыдов Пушкина. Последнее время он жил у себя в деревнѣ. Там и умер, от апоплексіи, на разсвѣтѣ 23-го апрѣля 1839 года, 54 лѣтъ от роду.

А. Шук.

ПУШКИНСКАЯ РѢЧЬ ДОСТОЕВСКАГО

Пушкинская рѣчь Достоевскаго была евангеліем русскаго консерватизма. Послѣ ея оглушительнаго успѣха, Достоевскій, ликуя, писал в дружеском письмѣ Побѣдоносцеву: «Наша взяла!».

Но от побѣдоносцевской Россіи не осталось слѣда. Многосли удѣлѣло от «пушкинской рѣчи»?

Блистательное воспоминаніе. Геніальный ораторскій фейерверк. Незабываемый «миг» подъема русской народнои гордости. Но политическія построения Достоевскаго оказались призрачными; русская жизнь их опровергла, опрокинула с очевидностью.

И менѣе всего виноват в этом Пушкин! Его-то политическія предчувствія, — *его, пушкинскія*, высказыванія о Россіи выдержали жизненную провѣрку; оказались безусловно-правдивыми.

1.

«Истоки» пушкинской рѣчи Достоевскаго, это, во-первых, Гоголь, его «Переписка с друзьями», а, во-вторых, Аполлон Григорьев, его литературныя превознесенія Пушкина.

Первый по времени и лучший наш «пушкинист», Гоголь опредѣлил уже Пушкина, как «исключительное явленіе русскаго духа» и как выразителя «*всемірной отзывчивости*» русской души. На этой нашей «всемірности» Гоголь и пытался, до Достоевскаго, *примирить* славянофилов и западников.

Пушкинская рѣчь сказана была Достоевским «по Гоголю», гораздо больше, чѣм по Пушкину. Оба они гораздо ближе Пушкина стояли к славянофилам, утверждавшим, будто западная цивилизація придает чрезмѣрно много значенія внѣшним формам жизни и может привести к умаленію «внутренняго человѣка», к его обезличенію. О Соединенных Штатах Гоголь писал: «Человѣк в них вывѣтрился до того, что выѣденнаго яйца не стоит». — «Боже! страшно и пусто становится в Твоем мірѣ». — На Западѣ, пророчил Гоголь, «завариваются такія сумятицы, что не поможет никакое человѣческое средство...», — «именно в тѣх благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся...» «Закружитесь в головѣ у самых тѣх государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и в камерах». «В Россіи еще брезжит свѣтъ; есть еще пути и дороги к спасенію...» «Вы увидите, что Европа пріѣдет к нам ... за покушкою мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».

Оттого всё придут к нам, что русская народная правда — правда всемирная, правда христианская. Это, за десятки лет до Достоевского, твердил Гоголь; и это, почти слово в слово, повторил Достоевский и пушкинской рѣчи.

«Выйдя» из Гоголевской «Шинели», — пройдя сквозь испытанія «Мертвого Дома», — и идя к своей предсмертной рѣчи о Пуш-



«Черноокая Россетти»,
(А. О. Смирнова-Россетти).

кинѣ, Достоевскій всю жизнь слѣдовал за Гоголем по пятам. То он его повторял, то он его исправлял, то он его уничтожал и дѣлал карикатурным; но всегда — продолжал ход гоголевских мыслей.

Первыя вещи Достоевскаго (об этом сохранилось свидѣтельство (Смирновой-Росетти) — «огорчили» Гоголя, хоть и признававшего за Достоевским «большой талант», но над ним «тосковавшего». Зато рѣчью о Пушкинѣ Гоголь остался бы доволен. Пафос этой рѣчи, все ея построение, даже язык — от него, «от Гоголя».

Аполлону Григорьеву слѣдовал Достоевскій в литературной части своей рѣчи о Пушкинѣ.

Григорьев (1822-1864) положил начало своеобразному течению русских «почвенников». В области литературной он десятью

годами раньше Ипполита Тэна стал применять, прославленный под именем «тэновскаго», критическій подход к произведениям искусства, как живым, органическим явлениям, с корнями в прошлом и съемами будущаго. В замѣчательной статьѣ проф. Спекторскаго (см. выше) — титул «русскаго Тэна» поднесен Аполлону Григорьеву, как нѣчто безспорное и за ним уже укрѣпившееся. Но всего три года назад, проставленный в моей книгѣ «Русская Литература» тот же титул вызвал в парижской печати бурю насмѣшек: пьяный забудыга, автор цыганских «Двух гитар» — «русскій Тэн»!?

Да. Этот «пьяница», в 42 года уже сгорѣвшій, был рѣдким знатоком русской и европейской литературы, имѣл прекрасную философскую подготовку, знал нѣсколько языков, бывал за-границей и сочетал тонкую артистическую натуру с широким умственным кругозором. Его статьи увлекали Льва Толстого («понимающій искусство, милая умница»), приводили в восторг Тургенева и рѣшающе повліяли на Достоевскаго.

Достоевскій уже в началѣ 60-х годов пригласил Григорьева сотрудником в свой журнал «Время» и чрезвычайно высоко его ставил.

Порядому, байроническому Алеко из пушкинских «Цыган» именно Аполлон Григорьев, а не Достоевскій, впервые противопоставил русскій «смирный» тип, в основѣ добрый, хотя и склонный порывам буйства. Знаменитое восклицаніе Достоевскаго «Смирись, гордый человек! потрудись, праздный человек!» внушено всецѣло Аполлоном Григорьевым. «Помѣрившись душою с Байроном», писал Григорьев, Пушкин преодолѣл его и вернулся к тихим героям «Капитанской Дочки» и повѣстей Бѣлкина. Бѣлкинскую повѣсть «Станціонный Смотритель» он же справедливо назвал «зерном всей русской натуральной школы».

Но Григорьев отнюдь не сводил Пушкина только к «повѣстям Бѣлкина». Для него Пушкин — «заклинатель и властелин многообразных стихій», — а пушкинскій «Бѣлкин есть только голос за простое и доброе, поднявшійся в душах наших против ложнаго и хищнаго».

Для Григорьева «Пушкин — наше все!» именно потому, что в пушкинском искусствѣ національное успѣло подвергнуться иноземным вліяніям, *потягалось с ними — и побѣдило, обогатившись всемірными соками.*

Эту побѣду русскаго, христіанскаго пониманія жизни над европейским, нам чуждым, эгоистическим, Аполлон Григорьев считал у Пушкина основною. Пушкиным, писал он, «завязан основной узел» русской литературы. Но у Пушкина многое «осталось в карандашѣ»; многое надо еще расцвѣтить, «угадать», насытить красками, углубить или сузить. Пушкин завѣщал нам идеал «мѣры и красоты». А «красота, — в ней одной заключается истина, и ею одной входит истина в душу человека». — «Красота спасет мір», откликнется потом Достоевскій.

Григорьеву слѣдовал Достоевскій и в своем апофеозѣ Татьяны, как русской женщины. Для Григорьева «Татьяна, русская душою, сама не зная почему», полна русской почвенной красоты и душевной силы. Наоборот, Онѣгин, оторванный от родной почвы, — «пародія».

2.

У Гоголя и у Аполлона Григорьева можно таким образом вычитать уже многое из того, что скажет потом о Пушкинѣ Достоевскій. Но есть, уже у них, и начало «преломленія» подлиннаго Пушкина в сознаниі, Пушкину чуждом, склонном Россію идеализировать.

Достоевскій, как буйный зарывающійся игрок, круто занесся уже в дѣбри міра вовсе не-пушкинскаго. Он прямо отождествил, задыхаясь и увлекаясь, русскую стихію, русскую народную почву — с духом Святого Евангелія! И дѣлая это, он рѣзко оторвался не только от Пушкина, но и от русской исторіи: прошлой, — до Пушкина, и будущей, послѣ Достоевскаго.

Русская почва дала ряд проявленій изумительной красоты, преимущественно там, гдѣ эта почва была распахана плугом и освѣщена солнцем. В одичаніи, в заустѣвнн, на такой почвѣ рядом с одиночною святостью возможен чертополох. Этого ли не зналъ Достоевскій? Знал. Но в пламенном спорѣ с либералами-европейцами, произнося свою рѣчь, а потом защищая ее от политических возраженій профессора государственнаго права Градовскаго, Достоевскій так высказал и заострил свою мысль: «Европѣ предстоит неминуемая коммунистическая гибель. Но не Россіи».

«Грядет четвертое сословіе, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всякъ доселѣ бывшій закон. На компромисс, на уступочки, не пойдет. Подпорочками не спасете зданія. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего. Наступает нѣчто такое, чего никто и не мыслит. Всѣ эти парламентаризмы, всѣ исповѣдуемыя теперь гражданскія теоріи, всѣ накопленные богатства, банки, науки, жидаы, все это рухнет в один миг, и безслѣдно...»

Пролетаріи «бросятся на Европу и все старое рухнет на-вѣки. Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только въѣвъ и воочию обнаружится перед всѣми, до какой степени наш національный организм отличен от европейскаго... О, быть-может, только тогда, освобожденные на миг от Европы, мы займемся уже сами, без европейской опеки, нашими общественными идеалами и непремѣнно, исходящими от Христа». — «Европейскія державы разрушит пролетарій, но не Россію». («Дневник Писателя», послѣ словіе к пушкинской рѣчи).

Все вышло, пока, наоборот. Буйная коммунистическая революція произошла как раз в Россіи, прежде всего в Россіи и пока только в Россіи (или славянских странах, ей подневольных). В начальном большевизмѣ воскресла старая русская пугачевщина и,

еще болѣе старый, *булавинскій бунт*, с его насквозь пролетарской закваской-вождями «Драным» и «Голым».

Многомятежная Россія, в дни неудачной войны, в прах разметала свой политическій строй: ему не хватило как раз *низовой прочности*.

Трезвые государственные люди — (Столыпин) — ясно видѣли угрозу крушенія и винили в ней безумно-затянувшуюся реакцію царствованія Александра Третьяго, остановку крестьянской реформы, «побѣдоносцевскую» мистику: преклоненія перед деревенским убожеством, скудостью и безправіем. А в убогой деревнѣ, лишенной устойчивости и земного достатка, зрѣли совсѣм не христіанскія чувства: злоба и зависть, прорвавшіяся потом в большевизмѣ.

До пушкинской рѣчи у Достоевскаго бывали инья высказыванія о Россіи. Страх, что русскій народ можно соблазнить «правом на безчестье». Страх, что европейская революція может «начаться» в Россіи, гдѣ нѣтъ сил отпора в обществѣ и правительствѣ. Но в дни пушкинской рѣчи неисправимый энтузіаст-горожанин, — (им Достоевскій оставался даже на каторгѣ) окончательно перѣшил, что «народ-богоносец» не выдаст! Что русская деревня, пусть нищая, пусть воспитанная в безправіи, пусть отвергающая самую идею права, «не допустит» до революціи. Ибо в нас и у нас — Христос.

3.

Были ли основанія связывать подобную иллюзію с именем Пушкина?

Нѣт. И в заключительном аккордѣ пушкинской рѣчи Пушкин был у Достоевскаго, *вдохновенно, и бессознательно, и уличающе*, подмѣнен — Тютчевым.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском видѣ Царь Небесный
Исходил, благословляя.

«Народ наш», — провозглашал Достоевскій, — «носитель Христа, только на Него одного и надѣется». — «Пусть земля наша — нищая, но эту нищую землю, в рабском видѣ, исходил, благословляя, Христос, — почему же нам не вмѣстить послѣдняго слова Его?»

У трезваго Пушкина, знавшаго русскую деревню вблизи, не так, как горожанин Достоевскій или дипломат Тютчев, ничего подобнаго нѣт. Самая идея «народа-богоносца» показалась бы Пушкину, написавшему «Исторію Пугачевского Бунта», «Капитанскую Дочку» и «Мѣднаго Всадника», — явно, нестерпимо-фальшивой! Русскій бунт, «безмысленный и безпощадный», предста-

вал Пушкину как безобразное наводненіе; гранитная набережная государственности, пускай стѣснительная, казалась ему, для величія Россіи, необходимою.

«Пусть земля наша — нищая...» Никогда Пушкин так не сказал бы! Она не должна быть нищей, русская земля, — не должна она быть и приниженой. Пушкин — это энергія, стойкость, движеніе», «народ освобожденный и рабство падшее», Россія облагороженная и бодрая.



Аполлон Григорьев.

Для Пушкина *честь, гордость и право* — не пустыя слова. Из стѣн Лицея вынес он стойкую вѣру в человѣка и в «правое естественное».

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень.
Заложен им *краугольный камень*,
Им чистая лампада возжеца!

Прочтите в «Новом Русском Словѣ» интереснѣйшія замѣтки юриста А. А. Гольденвейзера о чуткости Пушкина к вопросам

права и правосудія. В «Дубровском», — с какой полнотой и с какою неотразимостью рассказана исторія тяжбы, в которой семья Дубровскаго, вопреки Божьей и человеческой правдѣ, терлет имѣніе. Черная неправда и земное насиліе всегда будили в пушкинском сердцѣ правый гнѣвъ и отпор.

Пушкину была бы непонятна, *противна* самая мысль Достоевскаго — пагнуть голову русским просвѣщенным верхам, принизить их перед безымянной, безличной, *мнимо-христіанской*, стихіей простонародья.

Стихи Пушкин никогда не довѣрял. Кто скажет: что именно в ней возобладает? Достоевскій? Он ошибется.

«Из нас, как из дерева: и дубина, — и икона», говорили о себѣ мужики. Всегда — крайности! Пушкин — иной. Сила, но не дубина. Народная пѣсня, народная сказка, — да; но русская *былинная дикость*, та, которой «грузно от силушки как от тяжелаго бремени», — нѣтъ. Пушкину чужд этот скифскій разгул стихійнаго буйства, способный сбивать и «с церковей золоченыя маковки — на пропихъ голи кабацкой» (Вот гдѣ, еще в былинах, первые истоки русскаго большевизма!). Но и противоположный русскій «плюс», — монастырская мистика, сіяніе древне-русской *иконы*, — понимает все это Пушкин, и религиозен он, но нѣтъ у него самой той захваченности православіем, того мистическаго восторга перед иконами, который владѣл Гоголем, Достоевским, Лермонтовым.

Пушкин — недолгій миг *русскаго равновѣсія*, гармоній русскаго и европейца.

А между тѣм «африканскіе бѣсы» жили в крови Пушкина и яростно, упрямо сопротивлялись его душевному стремленію к ясности, к гармоніи. Тѣм богаче оказывалось пушкинское искусство!

«Безумства и страстей
Незанимательную повѣсть»,

их «тяжкій пламенный недуг», Пушкин понимал только как пролог к преображенію и укрощенію. Страсть — «кобылица молодая», косящая пугливым оком, мечущая ноги в воздух:

«Погоди! тебя заставлю
Я смириться под собой,
В мѣрный круг твой бѣг направлю
Укороченной уздой».

Побѣда над бунтарской стихіей — первая земная побѣда для Пушкина. Вторая побѣда — преображеніе земных будней трудом.

И наконец, выше всего, третья побѣда: меч рыцаря-крестоносца, огонь пушкинскаго пророка. Но и там, всюду у Пушкина, *торжество воли*, поставленной на служеніе правдѣ.

Нѣ в ком из наших писателей не было столько широты, столько ума, такой правдивости и такою равновѣсіем в одаренности.

Островскій, на том же пушкинском праздникѣ 1880 г., произнес рѣчь менѣе глубокую чѣм Достоевскій и гораздо менѣе прославленную, но зато безспорную. Он говорил «Первая заслуга великаго поэта в том, что через него *умнѣет все, что может поумнѣть*. Богатые результаты совершеннѣйшей умственной лабораторіи дѣлаются общим достиженіем».

Совершенство Пушкина — в его равновѣсіи.

Равновѣсія не было у Достоевскаго никогда, ни в жизни, ни в творествѣ. Оттого, может-быть, и влекся он к Пушкину; но при этом невольно преломляя его, передѣлывал. Та же Татьяна, — столь непохожая на женскіе облики в романах самого Достоевскаго, — преклонилась Достоевскій пред нею, но до чего преувеличил ее «смирение»! Вѣрная «жена стараго мужа», — ей любви «крест и тѣнь вѣтвей над бѣдной нянею моею»... Да, у Пушкина есть и это; но вся психологическая гамма — иная, не на основѣ смирения:

«Онѣгин, в вашем сердцѣ есть,
И гордость, и прямая честь», —

в устах Татьяны это величайшая похвала. Муж Татьяны — будущій декабрист; (это ясно из отрывков «Онѣгина», зашифрованных Пушкиным и прочтенных пушкинистом Морозовым). Ираненный в боях, но совсем молодой еще генерал, — «с Онѣгиным он вспоминает проказы, шутки прежних лѣтъ», — муж Татьяны будет потом сослан за 14-ое Декабря в Сибирь, и Татьяна послѣдует за ним на катаргу. Тогда-то, — и там впервые! — озарятся полным свѣтом, глубоким смыслом ее пламенные слова:

Но я другому отдана —
И буду вѣкъ ему вѣрна.

А героическій подвиг жен декабристов полон безошибочной нравственной красоты, но не смиренно-приниженной: в ней жил *вызов* надменному Петербургу. Татьяна и Пушкин — дѣти одной эпохи, расцвѣта русской силы и государственности: «Дней Александровых прекрасное начало».

Вѣрный той, вольнолюбивой эпохѣ, Пушкин, вопреки Достоевскому, никогда не склонялся, с умиленіем и надрывом, перед «рабским видом» народным.

Почвенная близость к народу? — да, разумѣется, как же иначе! Но «спасительная дорога *смирннаго общенія с народом*», — нѣтъ, это уже не Пушкин!

И вряд ли Пушкин стал бы дружить с Побѣдоносцевым... А дружил бы, — так вмѣсто «Наша бѣзала» напомнил бы ему в письмѣ предостерегающія слова Екатерины Второй: «Мысли о пользѣ от убожества подданных всегда будут причинять погибель самодержавнаго государства».

Ив. Тхоржевскій.

БЛОК О ПУШКИНѢ

«Литература началась для меня не с Верлена», часто говорил Блок поэтам-сверстникам, видѣвшим в символизмѣ и других новых теченіях «литературную моду», шедшую с Запада.

В искусствѣ Блока явственно вліяніе «старших»: русской исторіи, русской поэзіи: Куликова Поля, «Слова о полку Игоревѣ», Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Потом Полонскаго, Владиміра Соловьева, Аполлона Григорьева... С именем Пушкина поэзія Блока вяжется в нашем умѣ всего туже. Женственная, взволнованная муть одного. — Мужественная трезвость, и солнечность у другого.

А между тѣм Блок мог бы притязать на званіе русскаго «пушкиниста». В 1907 году (это мало кто помнит) издательство Брокгауза-Ефрона поручило ему редактировать, в образѣ сочиненій Пушкина, — отдѣл «Лицейских стихотвореній». Блок взялся за эту работу и выполнил ее с исключительной, всегда присущей ему добросовѣстностью. Изучил рукописи, сравнил печатные варианты, выяснил различныя литературныя «вліянія» на Пушкина-лицейска. К 28 ми лицейским стихотвореніям написал примѣчанія. Общему редактору изданія, Венгерову, оставалось только благодарить Блока и печать, без перемѣн, его комментаріи.

В стихах самого Блока пушкинскія «пѣтвенія» встрѣчались сравнительно рѣдко. Но попадались. Напримѣр, это стихотвореніе 20-лѣтняго Блока:

Ты не обманешь, призрак блѣдный
Давно испытанных страстей.
Твой вид нестройный, образ бѣдный
Не поразил души моей..
Я знаю дальнее былое,
Но в близком будущем не жду
Волнѣй страсти. Молодое —
Оно прошло. Я не найду
В твоём усталом, но зовущем
Ненужном призракѣ — огня.
Ты только замыслом вветущим
Еще замучаешь меня.

В поэмѣ «Возмездіе» — отголоски Пушкинскаго «Мѣднаго Всадника» (единственнаго, к слову сказать, созданія Пушкина, уже

проникнутаго блистательными предчувствіями символизма). Но Блок рѣшительно разорвал с пушкинской *оуѣнкой* Петра Великаго. В «Возмездіи» (как и в стихотвореніи Блока «Петр») царь изображен безобразным сумасбродом и деспотом; он окружен у Блока не ореолом, а смрадной, дымной городской гарью.

Бѣлой ночью тревожному Петербургу снится: «Державный Основатель» вводит призрачную эскадру в Неву.

«Стоит на головном фрегатѣ,
Как в страшном снѣ, по наяву.
Мундир зеленый, рост саженный.
Ужасен выкаченный взгляд.
Одной зарей окровавлены
И царь и город и фрегат.
Царь! ты опять встаешь из гроба,
Рубить нам новое окно?
И страшно: бѣлой ночью оба,
Мертвец и город, — заодно.

Сильнѣйшее пророческое видѣніе Блока — «Скифы» внешне тоже Пушкиным. И тоже — как противоположность, как бунт против Пушкина. Пушкин, европеец, отталкивался от скифов, Блок их прославил. Боевой, торжественный, риторическій тон «Оды» Блока взят всецѣло у политической пушкинской оды «Клеветникам Россіи». Но то, что у Блока утверждается со сладострастіем («да, скифы мы, — да, азіаты мы с раскосыми и жадными очами»), — то прозвучало бы для ушей Пушкина злѣйшею клеветой на Россію.

Только позднѣе подтвердилось то, что Блок мог в 1917 году только *предчувствовать*. Что из дикой, скифской, октябрьской революціи Россія выйдет гораздо менѣе европейской, чѣм была она в 18-м или 19-м вѣкѣ. Что в 20-м вѣкѣ русскій центр тяжести перемѣстится ближе к Сибири, к Азій. Что Петровское окно в Европу будет замуровано. И что измѣнится даже *числовое* соотношеніе бѣлаго населенія — и монгольскаго, инородческаго: узких глаз, плоских скул станет больше. А, вмѣстѣ с тѣм, варварская «Россія скифов» увѣрует, с невиданной еще страстностью, в разгром Езрсы и в свое, міровое первенство.

По мѣрѣ того, как Блок начал уставать от жизни, разочаровываться, в нем пробудилась и с тѣх пор все усиливалась душевная тяга «назад к Пушкину». В одном из писем к матери 37-лѣтній Блок со вздохом и тоской повторяет стихи 37-лѣтняго Пушкина:

Давно, лукавый раб, замыслил я побѣг
В обитель дальнюю трудов и чистых пѣг...

Когда личные разочарованія завершились глубоким разочарованіем в революціи, Блок вернулся к Пушкину окончательно. Признал *его* жизненную правоту, а не свою.

В февраль 1921 года «Дом Литераторов» устроил торжественное собрание памяти Пушкина. Блок выступил тогда с рѣчью: «О назначеніи поэта»; успѣх имѣл оглушительный. А. М. Ремизов сказал ему потом: «Февральскіе поминки Пушкина это — Ваш апофеоз». Блок, в отвѣтъ, повторил основную мысль своей рѣчи: *«в таком гнѣтѣ невозможно писать».*



«Цареубійца» — Жорж Дантес.
(1811—1895 гг.).

«В цареубійцы заклеюмен».
(Тютчев).

В интересной книгѣ К. Мочульского о Блокѣ, приведены отрывки этой «пушкинской» рѣчи Блока

«Пушкин требовал тайной свободы. Эта тайная свобода больше, чѣм свобода личная или политическая. Без этой свободы поэт жить не может». (Самому Блоку оставалось жить нѣсколько мѣсяцев).

«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса: его убило отсутствіе воздуха. С ним умирала его культура. «Пора, мой друг, пора! Покой сердце просит».

«Покой и воля — необходимы поэту для освобожденія гармоніи. Но покой и волю тоже отнимают! Не ви́шній покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творче-

скую волю, тайную свободу... И поэт умирает потому, что дышать ему уже нечѣм, жизнь потеряла смысл».

«Пускай же остерегутся от худшей клички, чѣм чернь, тѣ чиновники, которые собираются направлять поэзію по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначеніе. Мы умираем, а искусство остается».

Послѣдніе стихи Блока были, — как и его послѣдняя рѣчь, — посвящены Пушкину. Блок вписал их в альбом Пушкинского Дома, с таким подробным посвященіем:

«Пушкинскому Петербургу, ледоходу на торжественной рѣкѣ сфинксу над набережной, Мѣдному Всаднику Фальконста, бѣлым ночам над таинственной Невой».

В этом стихотвореніи Блок уже стрекся от прежней ненависти к Петру и к созданному им городу; от своих слов о том, что «зимнее лиловое петербургское небо всегда пророчило кровь и мятежи». Даже ритм для этого своего стихотворенія Блок взял у Пушкина («Над Невою рѣзво выются флаги пестрые судов»).

Пушкин! Тайную свободу
Пѣли мы, во слѣд тебѣ.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в нѣмой борьбѣ».

Гдѣ прежніе отзывы о Пушкинѣ, чуть-чуть свысока? Раньше Блок говорил: «Веселый Пушкин... Легкій Пушкин». Теперь понял, наконец, сколько мудрости было в пушкинском простодушіи, и воззвал к Пушкину.

«Вот зачѣм такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинскаго Дома
В Академіи Наук.
Вот зачѣм, в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С бѣлой площади Сената
Тихо кланяюсь ему».

В этих предсмертных стихах Блока — прощаніе с подневольною, каторжною, советской жизнью и прощальный поклон великому русскому вольнолюбцу — Пушкину.

Скиф.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ ПУШКИНА ФРАНЦУЗСКИМИ СТИХАМИ?

Многим вѣроятно такой вопрос покажется странным. Русскій чело-вѣкъ, еще со времен Крылова и Жуковскаго, так привыкъ к тому, что иностранные поэты легко переводятся на наш язык *с т и х а м и*-же (часто ничѣм не уступающими подлинникам!), что ему в голову не приходит сомнѣваться в обратной возможности: перевода русских поэтов также и французским стихом.

К сожалѣннѣю, дѣло не так просто. Могу даже привести два мнѣнія — одно французское и одно русское — категорически эту возможность отрицающія.

Первое исходит от одного из руководителей Institut des Etudes Slaves в Парижѣ, имени котораго я не назову, так как мнѣніе это было выражено в частном письмѣ к одному моему пріятелю. А писал он ему не болѣе и не менѣе, как слѣдующее:

Traduire *en vers* des vers écrits dans une langue étrangère est, à mon avis, une entreprise *chimérique* et vouée *fatalement* à un échec plus ou moins complet..

Je suis convaincu qu'un poète ne peut être vraiment traduit *qu'en prose*, parce que la prose *seule* laisse à l'écrivain assez de liberté pour rendre vraiment dans toutes ses nuances la poésie originale. Je connais telles traductions en prose de poètes étrangers qui sont — et de loin ! — incomparablement plus poétiques que des traductions en vers, lesquelles n'ont trop souvent de poétique que la versification et absolument pas *l'inspiration* et qui, faute de cette inspiration, sont d'une affligeante platitude....

Et pour me resumer d'un mot, s'évertuer à traduire des vers *en vers* c'est proprement poursuivre *la quadrature du cercle* !

Второе же, и не менѣе отрицательное мнѣніе выражено было в прошлом году, на страницах одной русской газеты во Франціи, литературным ея критиком в статьѣ “Пушкин по французски”:

“Состояніе французскаго современнаго стиха таково, что перед переводчиками Пушкина не раз ставился вопрос: как переводить его стихи и поэмы — рифмованными или бѣлыми стихами?.. Жан Шюзвиль, извѣстный переводчик (с русскаго, нѣмецкаго и итальянскаго), разрѣшил вопрос, казавшійся неразрѣшимым: он перевел Пушкина *п р о з о й* и доказал, что

прекрасная проза лучше плохих стихов, что Пушкин по-французски прозой “доходит” лучше, чѣм стихами”...

Я разумѣется не буду оспаривать нѣсколько комическаго в своей откровенности трюизма, что “прекрасная проза лучше плохих стихов”, но все же постараюсь показать, что не только Пушкина (поэта столь “европейскаго”), но и других русских поэтов, — можно — а мнѣ кажется и должно. — переводить с посылным соблюденіем не одного лишь смысла, но и ритма, и длины строк, и расположенія рифм, т. е. мелодіи переводимых стихов. Ибо и то и другое в их творчествѣ неразрывно. Передавать стихи прозой, хотя бы и самой совершенной, мнѣ представляется равносильным пересказу “своими словами” кантаты или романса без всякаго музыкальнаго сопровожденія.

Итак, вот нѣсколько конкретных примѣров утверждаемой мною возможности переводить наших поэтов без большого для них ущерба французскими стихами. Причем выбранныя мною вещи, надѣюсь, настолько извѣстны, что приводить оригиналы для сравненія не приходится.

**

Начну с одного из самых знаменитых стихотвореній Пушкина: “Я памятник себѣ воздвиг нерукотворный”.

Вот как оно звучит по-французски, с сохраненіем его мелодіи: шестистопнаго ямба с классической, срединной цезурой и красивыми опущеніями двух стоп в концѣ каждого четверостишія.

« EXEGI MONUMENTUM »

(de A. Pouchkine)

Je laisse un monument sublime, inaltérable !
Il ne craindra jamais l'oubli du genre humain ;
Il est plus haut que la colonne périssable
Du monument Alexandrin.

Car, en bravant la mort qui tôt ou tard nous guette,
Mon verbe glorieux, je sais, me survivra,
Aimé tant qu'ici-bas encore un seul poète,
Un seul ami me comprendra.

Mon nom retentira par toute la Russie
Et je serai connu de tous ses fiers enfants :
Des Slaves, des Finnois et même, en pleine Asie,
De ses nombreux sauvages clans.

Et je serai béni de notre descendance
En tant que paladin des nobles sentiments
De fière liberté unie à l'indulgence
Malgré ces durs et sombres temps.

Sois donc obéissante aux volontés divines,
O Muse, et méprisant le sot infatué,
Accepte sa louange avec la même mine
Que son reproche injustifié.

А вот как, вбродно, предпочитают слушать ту же вещь мои оппоненты, в прозаическом тексте известного французского переводчика Лирондела:

Je me suis érigé mon propre monument
qui n'est point l'œuvre de la main
et jamais le sentier qui y mène le peuple
ne sera envahi des ronces.
Plus haut même que la colonne Alexandrine
il a dressé son front rebelle.

Non, je ne mourrai pas tout entier. Et mon âme
dans ma lyre sacrée survivra à ma cendre
et sera sauvée du néant.
Ma gloire durera tant qu'ici-bas vivra,
fut-il seul au monde, un poète.
Et le bruit de mon nom se répandra partout
à travers l'immense Russie.
Chaque peuple fixé chez nous me nommera :
et le fier descendant du Slave, et le Finnois,
et le Tounghouz resté jusqu'à présent sauvage,
et le Kalmouk, ami des steppes.

Longtemps je serai cher au peuple pour avoir
par ma lyre éveillé de nobles sentiments,
en mon siècle cruel chanté la liberté,
appelé sur ceux qui faillirent la clémence.

O Muse, obéis à la volonté divine,
sans redouter l'offense et briguer de couronne,
reçois, indifférente, éloge ou calomnie,
et ne contredis pas le sot.

Traduction d'André LIRONDELLE
(*extrait de son livre « Pouchkine »*)

О вкусах, говорят, не спорят. Но скажите, по совету, можно ли так немилосердно лишать эту бравурно-победную вещь ее звенящего, как триумфальный марш, торжественного ритма?!...

Вот, далее, тоже яблом, но пятистопным — элегия Пушкина “Безумных лет угасшее веселье”, из которой так часто цитируется начало второй строфы:

“Но не хочу, о други, умирать”...

E L E G I E
de Pouchkine
(1 8 3 0)

Le souvenir des ans de folle liesse
Me pèse, hélas, comme un relent d'ivresse.
Mais, tel du vin qui cuve, ce remords
Avec le temps devient toujours plus fort.
Ma route est triste, et contre moi se liguent
Tous les chagrins, la peine et la fatigue.....

Pourtant, amis, je ne veux pas mourir ;
Je veux pouvoir encor penser, souffrir !
Et je sens bien que d'autres jouissances
Adouciront le feu de mes souffrances
Pour m'enivrer de vers et de chansons
Ou de doux pleurs sur quelque fiction.
Et puis, qui sait, me souriant peut-être
Dans mon vieux cœur l'amour viendra renaître !

Но, смогут ли сказать, это все стихи, близкие по размеру к обычным французским трафаретам. А как обстоит дело со столь излюбленным нашими поэтами четырехстопным ямбом? Не слишком ли он "короток" для гальского "языка богов"?

Извольте. Вот несколько вещей Пушкина, написанных и этим ритмом. Для начала, отрывок из "Полтавы":

"Тиха украинская ночь"...

NUIT UKRAINIENNE
(*extrait du poème « Poltava » de Pouchkine*)

O douce nuit, limpide ciel
Semé d'étoiles : nuit d'Ukraine !
L'air engourdi par le sommeil
Ne bouge pas. On sent à peine
Frémir les peupliers géants.
La lune argente finement
Leur silhouette, haute et claire,
Les beaux jardins du riche hetman
Et sa demeure qu'elle éclaire.
Et tout est calme, calme autour....

Mais, au château, les gens s'agitent.
A la fenêtre d'une tour,
Le pauvre Kotchoubey médite,
Chargé de chaînes, l'air chagrin,
Ses yeux fixant le ciel serein....

etc.

Вот и знаменитый его "Пророк":

LE PROPHETE

(de A. Pouchkine)

1 8 2 6

Je me trainais dans le désert,
Mourant de soif spirituelle.
Un séraphin, du haut des airs,
Surgit porté par ses six ailes.
De ses beaux doigts de rêve ailé,
Il effleura mes yeux fermés.
Et tel un aigle, à la lumière
J'ouvris sans crainte mes paupières.
Vers mon oreille il se pencha,
Et j'entendis le son de glas,
De carillons, de bruits étranges :
Le pas de monstres sous-marins,
Le bruit que fait, germant, le grain,
Et — dans les cieux — le vol des anges !
Alors, il étendit le bras
Et, de ma languè d'homme ingrat,
Gachant ses dons dans la paresse,
Menteur et vainement bavard,
Le bel archange fit un dard,
Dard de serpent plein de sagesse.
Puis, me frappant d'un fer tranchant,
Il m'enleva mon cœur indigne,
Et un charbon incandescent
Le remplaça dans ma poitrine.
Mon corps gisait, inanimé,
Quand j'entendis Dieu m'ordonner :
« Eveille-toi, Prophète ! Ecoute
Mes volontés et, parcourant
Le monde, brûle sur ta route
Les âmes, de ton verbe ardent ».

Вот — не менее известное "Письмо Татьяны":
"Я Вам пишу. Чего же болѣ"...

LA LETTRE DE TATIANA

(extrait d'« Eugène Onéguine »)

Je vous écris, — c'est tout vous dire !
Et il vous est, je sais, permis
Sans que je trouve à y redire,
De m'accabler d'un froid mépris...
Mais je voudrais que, sans sourire,
Ayant un peu pitié de moi,

Vous compreniez mon triste émoi...
 J'avais d'abord voulu me taire,
 Et vous n'auriez connu jamais
 Ma honte atroce, si j'avais
 Le moindre espoir, la joie amère,
 De vous revoir de temps en temps
 Chez nous, ne fût-ce qu'un instant ;
 Pour vous entendre, puis — bien vite —
 Vous dire adieu et me sauver
 Afin, ensuite, de rêver
 Aux quelques mots que vous me dites...
 Mais on affirme que, hautain,
 Fier et distant, vous n'aimez guère
 Les campagnards ; qu'il n'y a rien,
 Dans notre trou, pouvant vous plaire...
 Pourquoi y êtes-vous venu ? !
 Cachée au fond de nos campagnes,
 Je ne l'aurais jamais connu,
 Ce feu coupable qui me gagne.
 Qui sait ? En évitant ce drame
 D'un cœur naïf, j'aurais conçu
 Peut-être, un jour, une autre flamme ;
 J'aurais été fidèle femme
 Et mère pleine de vertus ?...
 Un autre ?... Non ! Personne au monde
 N'aura jamais mon cœur à moi,
 J'en ai la conviction profonde.
 Le Ciel le veut : je suis à toi !
 Je n'ai vécu que pour t'attendre.
 Dieu, je le sais, t'a envoyé
 Pour me guider, pour me défendre,
 Me protéger de tout danger.
 Au cours de rêves ineffables,
 Ta voix, si douce, me charmait
 Et ton regard me fascinait
 De sa beauté inoubliable...
 Un jour, enfin, je t'entrevis
 Non plus en rêve et, rougissante,
 Emue et presque défaillante,
 Je m'écriai : Grand Dieu, c'est l u i ! . . .
 Car, n'est-ce pas, c'est toi, naguère,
 Qui me parlais quand, de bon cœur
 J'aidais les gens dans la misère,
 Ou m'efforçais, par la prière,
 De soulager mon âme en pleurs ?..
 Même à cette heure, tu m'enchantes
 Et j'ai cette illusion charmante
 De ta présence à mon chevet :

Je crois entendre des promesses
 D'amour sans fin et de tendresse.
 C'est bien ta voix, n'est-ce pas vrai ?...
 Mais qui es-tu ? Es-tu un ange ?
 Ou un démon donnant le change
 A mes esprits en désarroi ?...
 Oh, viens calmer ce triste doute !...
 Ou ne serais-je rien pour toi ? !
 Mon cœur ferait-il fausse route ?...
 Advienne que pourra, pourtant !
 J'ai décidé ; je te confie
 Ma destinée en t'implorant :
 Protège-moi, je t'en supplie !
 Figure-toi, personne ici
 Ne me comprend, je suis si seule,
 Et ma raison, sans être veule,
 Chancelle et sombre dans la nuit !...
 Mais je t'attends : mon espérance,
 D'un seul regard viens l'aviver ;
 Ou — au contraire — viens tuer
 Mon rêve ardent, sans indulgence.....
 J'ai terminé !.. Me relisant,
 J'ai peur ; la honte me talonne...
 Mais votre honneur est mon garant ;
 A sa merci je m'abandonne..... »

Но, скажут мнѣ опять, “Вы нас все ямбами потчуете, а это развѣр
 отнюдь не только русскій, им и французскіе стихи писать сравнительно
 легко.

Что ж, перейду и на другіе ритмы, болѣе — если уж на то пошло
 — “русскіе”.

Вот амфибрахій Пушкинской “Пѣсни о вѣщем Олегѣ”:

“Как нынѣ собирается...” и т. д.

CHANSON D'OLEG LE DEVIN (de A. Pouchkine)

Oleg, surnommé le Devin, va partir
 Pour mettre à raison les nomades
 Qui ont ravagé nos confins : les punir
 Et faire incendier leurs bourgades.
 Superbe, entouré de ses nobles guerriers,
 Il monte un splendide et fringant destrier.

Soudain, sur leur route paraît un vieillard.
 Vers eux, intrépide, il s'avance.
 C'est un de ces prêtres au sombre regard
 Percant l'avenir à distance.

Curieux de connaître par lui son destin,
Oleg le questionne sans trop de dédain :

« Dis-moi, mon ami, confident de nos dieux,
Quel sort tes amis me réservent ?
Devrai-je bientôt comparaître chez eux ?..
Tu peux me parler sans réserve.
Dis tout, sans me craindre, sans rien me cacher,
Et prends pour salaire un solide coursier ».

« Le prêtre ne craint ni les ducs, ni les rois.
Leurs dons n'intéressent nul sage.
Mon cœur, juste et franc, ne connaît qu'une loi :
À tous, mon avis sans ambages !..
Les ans sont cachés dans un gouffre profond.
Je lis cependant ton destin sur ton front.

Tu veux le connaître ?.. Tant pis ! Le voilà :
La gloire au vainqueur se fiance ;
Ton nom, fier Oleg, est connu au-delà
Des mers, en Norvège, à Byzance.
A tous tes rivaux tu inspires la peur.
La terre et les flots sont tes bons serviteurs.

Les vagues perfides, les rocs, le brouillard,
Les vents, la terrible tempête,
La fronde, les flèches, l'ignoble poignard
Épargnent, ô prince, ta tête
Qui semble être bien sous la garde des cieux...
Mais gare à celui que tu aimes le mieux !

Y a-t-il plus beau que ton noble coursier ?
Docile à la main qui le guide,
Il reste impassible parmi les dangers
Ou fonce en avant, intrépide.
Le froid et la faim ne lui font aucun tort...
Hélas, il sera l'instrument de ta mort ! »

D'abord souriant, le grand-prince pensif
Tapote, nerveux, son armure,
Puis lâche les rênes d'un geste impulsif
Et quitte à regret sa monture.
Il flatte le col, le poitrail du pur sang,
Soupire, attendri, et l'embrasse en disant :

« Adieu, mon ami, mon vaillant destrier.
Il faut qu'on se quitte sans plainte.
Ta selle et tes beaux étriers tout dorés
N'auront jamais plus mon empreinte.

Repose-toi bien. Songe à moi quelquefois...
Amis, prenez-le, mon fringant palefroi !

Menez ce cheval à Kiev dans mes champs,
Dans ceux de ma propre réserve ;
Qu'il ait son plein d'orge, de foin, de froment ;
Que nul désormais ne s'en serve ! »...
Ses gens prennent donc le fidèle coursier
Et donnent au prince un nouveau destrier

Voici, bien plus tard, notre Oleg le Devin
Donnant, à Kiev, une fête.
Chacun des guerriers assistant au festin
A plus d'un fil blanc sur la tête.
Ils choquent leurs coupes d'or fin en buvant
Et parlent entre eux des batailles d'antan.

« Mais qu'est devenu, dit Oleg, mon coursier
Pour qui j'étais plein de tendresse ?
Pourrais-je le voir, cet ami bien-aimé
Dont rien n'égalait les prouesses ? »
— « Cela ne se peut, lui dit-on, car il dort,
Depuis bien des ans, du sommeil de la mort. »

« Voici ce que vaut, pense Oleg assombri,
D'un vieux radoteur le présage.
Peut-être à ce jour mon cheval m'eut servi ;
Qui sait, en dépit de son âge ?...
Mais puisqu'on ne peut me le rendre vivant,
Du moins qu'on me montre ses chers ossements ! »

Sur ce, le grand-prince et ses hôtes s'en vont
Chercher cette pauvre carcasse,
Qu'ils trouvent sans peine en plein air, sur le mont
Bordant le beau Dnièpre en terrasse.
Lavés par la pluie, essuyés par le vent,
C'est là que reposent les blancs ossements.

Alors, les voyant, le vieillard s'attendrit.
Un pied reposant sur le crâne,
Il dit tristement : « Dors en paix, vieil ami !
Hélas, immolé à mes mânes,
Le jour de ma mort, c'est un autre coursier,
Pas toi, qui sera ma monture au bûcher »....

Et puis, sarcastique, il ajoute : « Le gueux
Croyait que ces os que je foule
Allaient me tuer ! »....

Un serpent vénimeux,
Surgit du vieux crâne et s'enroule,
Pendant ce discours, comme un sombre ruban
Autour de la jambe du prince imprudent !..

Igor, qui succède à Oleg le Devin,
Sait bien honorer sa mémoire :
Il offre, à Kiev, un splendide festin
Aux vieux compagnons de sa gloire.
Ils choquent leurs coupes d'or pur, en buvant,
Et parlent tout bas des présages d'antan.

А вот и еще болѣе “народно-русскій” размѣр: четырехстопный хорей, которым писывал и Пушкин, но который вѣроятно все же лучше извѣстен большинству читателей, как ритм Ершовскаго “Конька Горбунка”. Кто не помнит этого вступленія:

“За горами, за лѣсами,
За широкими морями,
Против неба на землѣ,
Жил старик в одном селѣ”...

По-французски же это у меня звучит так (на этот раз стихом народным — не считающимся с правилами Буало):

LE PETIT POULAIN BOSSU
de P. Yerchov
(*extrait*)

Au-delà des monts, des ondes,
au-delà des mers profondes,
sur la terre (en face des cieux),
habitait, jadis, un vieux.
Il avait, le pauvre diable,
trois fistons : un gars capable,
le deuxième — comme-ci, comme-ça ;
le troisième — un vrai bêta !..
etc.

Ну как, опять скажу, переводить такую вещь прозой, пренебрегая ее рѣзвым, чеганным ритмом?

**
*

Но, для контраста, теперь важным гекзаметром я “Мух” приведу перевод. Вот как Апухтин писал:
“Мухи, как черныя мысли, весь день не дают мнѣ покою;
Жалят, жужжат и кружатся над бѣдной моей головою”..

Or, en français, cela donne :

O B S E S S I O N S

(de A. Apoukhtine)

Telles de sombres idées,
les mouches sans fin me poursuivent.
Tant qu'il fait jour, ces damnées
bourdonnent, m'entourent, me suivent !..
Dès que, du front, j'en chasse une,
deux autres me piquent la joue !
Toute leur bande importune
de moi, insolente, se joue....
Où me cacher ? ! Leur nuée
de l'air, en ces lieux, reste maître....
Ah, vivement la soirée,
la nuit qui les fait disparaître !
Telles des mouches gluantes
de noires idées me poursuivent.
Toute la nuit, obsédantes,
ces sombres pensées malades
Viennent en foule importune,
autour de mon crâne s'entêtent !..
Dès que, rageur, j'en chasse une,
une autre me vient à la tête....
Tristes remords qui m'excitent,
m'affolent, me hantent sans trêve....
Ah, que la Nuit vienne vite,
la vraie : éternelle et sans rêves !

Как видно из этого примѣра, и дактилическія стопы, завершаемыя спондеями, можно без особаго труда передать соответствующими французскими стихами.

**
*

Еще гораздо проще обстоит дѣло с "обратным" размѣром, а н а п е с т о м , в трехсложной стопѣ котораго удареніе на п о с л ѣ д н е м слогѣ; вѣдь большинство французскихъ слов, если не цѣлыхъ фраз, именно такимъ удареніемъ и отличается.

Какъ образчикъ перевода этимъ размѣромъ, приведу прелестное стихотвореніе Бунина, цитированное выше (въ статьѣ проф. Арсеньева):

"И цвѣты, и шмели, и трава, и колосья"...

Oh, l'azur estival, les aromes champêtres,
Ces épis, ces frelons, et cette herbe, et ces fleurs !..
L'heure, un jour, sonnera, et la voix de mon Maître
Me dira : « Sur la terre, as-tu vu le bonheur ? »

Or, au seul souvenir de ces fleurs qui me charment,
De ces blés murissant au soleil du mois d'août,
Attendri, le cœur plein des plus douces des larmes,
Je viendrai, ô Seigneur, embrasser tes genoux.

**

Наконец — послѣдній примѣръ, возвращающій к моей исходной мысли, — как прикажете передать прозой чудесное Лермонтовское стихотвореніе “Когда волнуется желтѣющая нива”, вся прелесть котораго именно в его мелодіи, а сюжет давно избит романтическими и иными “действиями”.

Оно также начинается классическим шестистопным ямбом, как Пушкинскій “Памятник”, но благодаря вольном разстановкѣ цезур и гармоническим, непринужденным опущеніям стоп, оно приобретает затѣм такую легкость и естественность, что так и чувствуешь “дыханье вѣтерка”, навѣявшаго эту вещь поэту

“румяным вечером иль утра в час златой”,

Мнѣ кажется что — при желаніи — и по-французски можно передать эту легкость, пользуясь тѣми же приемами:

QUAND LA MOISSON DOREE...

(de Lermontov)

Quand la moisson dorée ondule en longues vagues,
Quand la forêt murmure au vent qui brasse l'air,
Et quand, dans le jardin, à l'ombre douce et vague,
La rouge prune dort sous le feuillage vert ;

Quand, un beau soir, tout rose ou amarante,
Quand, un matin vermeil au clair soleil levant,
Le blanc muguet, que la rosée argente,
Sous un buisson s'incline gentiment ;

Lorsque, charmant mes sens qu'elle engourdit, rêveuse,
La source me chuchote, au fond d'un frais ravin,
Ses souvenirs — sagas mystérieuses
Du doux pays de paix d'où elle vient ;

Alors, dans mon esprit, s'apaise la torture
Des doutes vains ridant, hélas, mon front soucieux ;
Sur cette terre, alors, je puis me croire heureux
Et je vois Dieu dans la Nature !

**

Не знаю, убѣдил ли я читателей своими образчиками, но думается мнѣ, что — если даже я, иностранец, попавшій в эту страну уже в зрѣлом возрастѣ, научился прививать французскому языку достаточную “фонетическую дисциплину”, чтобы передавать на нем ваши русскіе ритмы — насколько лучше должен бы этого достигать ваш “молодняк”, выросшій во Франціи, или — еще лучше — природный французскій поэт, который бы не полѣнился изучить основы нашего языка и стихосложенія.



Бронзовый бюст Пушкина,
работы князя П. Трубецкого, 1899 года.

НОЧЛЕГ

Это случилось в одной глухой гористой мѣстности на югѣ Испаніи.

Была іюньская ночь, было полнолуніе, небольшая луна стояла в зенитѣ, но свѣтъ ея, слегка розоватый, как это бывает в жаркія ночи послѣ кратких дневных ливней, столь обычных в пору цвѣтенія лилій, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лѣсом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами. И в тѣни от возвышенностей за нею, в мертвой тишинѣ этой пустынной ночи, однообразно шумѣлъ горный поток и таинственно плыли и плыли, мѣрно погасая и мѣрно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучіе свѣтляки, лючіоли. Противоположныя возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролетала древняя каменная дорога. Столь же древним, даже первобытным казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздній час шагом въѣхал на гнѣдом жеребцѣ, припадавшем на переднюю правую ногу, высокой мароканец в широком бурнусѣ из бѣлой шерсти и в мароканской фескѣ.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таим. Мароканец проѣхал сперва по тѣнистой улицѣ, между каменными остовами домов, зіявших черными пустотами на мѣстѣ окон, с одичавшими садами за ними. Но затѣм он выѣхал на свѣтлую площадь, посреди которой был длинный водоем с навѣсом, справа церковь с голубой статуей Мадонны над порталом, слѣва нѣсколько болѣе современных домов, еще обитаемых, а впереди, уже на выѣздѣ, постоялый двор. В прочих домах было темно, но там, в нижнем этажѣ, маленькія окна были освѣщены, и мароканец, уже дремавшій, очнулся и натянул поводья, что заставило хромающую лошадь бодрѣй застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялаго двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая дѣвочка лѣтъ пятнадцати, с чолкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьицѣ цвѣта блеклой глицинии, и поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Ма-

мароканец спѣшился возлѣ порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнувъ глазами и точно с омерзением оскаливъ бѣлые страшныя зубы. Мароканецъ взмахнулъ плетью, но дѣвочка его предупредила:

— Негра! — звонко крикнула она в испугѣ, — что с тобой?

И собака, опустивъ голову, медленно отошла и легла мордой къ стѣнѣ дома.

Мароканецъ сказалъ на дурномъ испанскомъ языкѣ привѣтствіе и сталъ спрашивать, есть ли в городѣ кузнецъ, чтобы завтра можно было осмотрѣть копыто лошади, гдѣ можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нея, а для него какой-нибудь ужин? Дѣвочка съ живымъ любопытствомъ смотрѣла на его большой рост и небольшое очень смуглое лицо, извѣденное оспой, опасливо косилась на черную собаку, лежавшую смиренно, но какъ будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспѣшно отвѣчала крикливымъ голосомъ: кузнецъ есть, работникъ спитъ на скотномъ дворѣ рядомъ с домом, но она сейчасъ же его разбудитъ и отпуститъ корму для лошади, что же до кушанья, то пусть гость не взыщетъ: можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодныхъ бобовъ да рагу из овощей... И черезъ полчаса, управившись с лошадью при помощи работника, вѣчно пьянаго старика, мароканецъ уже сидѣлъ за столомъ в кухнѣ, жадно ѣлъ и жадно пилъ желтоватое бѣлое вино.

Домъ постоялаго двора былъ очень старинный. Нижний этажъ его дѣлился длинными сѣнями, в концѣ которыхъ была крутая, узкая лѣстница в верхній этаж, на двѣ половины: налѣво находилась просторная, низкая комната с нарами для простаго люда, направо — такая же просторная, низкая кухня и вмѣстѣ с тѣмъ столовая, вся по потолку и по стѣнамъ густо закопченная дымомъ, с маленькими и очень глубокими по причинѣ очень толстыхъ стѣнъ окнами, с очагомъ в дальнемъ углу, с грубыми голыми столами и скамьями возлѣ них, скользкими от времени, с каменнымъ неровнымъ поломъ. В ней теперь горѣла керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почернѣвшей желѣзной цѣпи, пахло топкой и горѣлым саломъ, — старуха развела на очагѣ огонь, разогрѣла прокисшее рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ѣлъ холодныя бобы, политыя уксусомъ и зеленымъ оливковымъ масломъ. Онъ не раздѣлся, не снялъ бурнуса, сидѣлъ, широко разставивъ ноги, обутыя в толстыя кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по шиколкѣ широкія штаны из той же бѣлой шерсти. И дѣвочка, помогая старухѣ и прислуживая ему, теперь уже то и дѣло пугалась от его быстрыхъ, внезапныхъ взглядовъ на нее, от его синеватыхъ бѣлковъ, выдѣлявшихся на сухомъ и рябомъ темномъ лицѣ с лиловыми губами. Онъ и безъ того былъ страшенъ ей. Очень высокій ростомъ, онъ былъ широкъ от бурнуса и тѣмъ меньше казалась его голова в фескѣ. По угламъ его верхней губы курчавились жесткіе черныя волосы, курчавились такіе-же кое-гдѣ и на подбородкѣ. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчалъ крупный кадыкъ в олив-

ковой кожѣ. На тонких почти черных пальцах бѣлѣли серебряныя кольца. Он ѣл, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрѣвъ рагу и сжаривъ яичницу, утомленно сѣла на скамью возлѣ потухшаго очага и крикливо спросила его, откуда и куда он ѣдет, он горланно кинулъ в отвѣтъ только одно слово:

— Далеко!

Сѣвъши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином, — в рагу было много краснаго перцу, — старуха кивнула дѣвочкѣ головой и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ея отворенную дверь, в темныя сѣни гдѣ плыли и вспыхивали свѣтляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кинулъ все также кратко:

— Внучка?

— Племянница, сирота, — стала кричать старуха и пустилась в разсказ о том, что она так любила покойнаго брата, отца дѣвочки, что ради него осталась в дѣвушках, что это ему принадлежал этот постоялый двор, что его жена умерла уже двѣнадцать лѣтъ тому назад, а он сам восемь и все завѣщал в пожизненное владѣніе ей, старухѣ, что дѣла стали очень плохи в этом совсѣм опустѣвшем городкѣ...

Мароканец, затягиваясь папиросой, слушал разсѣянно, думая что-то свое. Дѣвочка вбѣжала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крѣпко затынулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспѣшно закурив новую папиросу и раздѣльно сказал, обращаясь к старухѣ, глухоту которой он уже замѣтил:

— Мнѣ будет очень пріятно, если твоя племянница сама нальет мнѣ вина.

— Это не ея дѣло, — отрѣзала старуха, легко переходившая от болтливости к рѣзкой краткости, и стала сердито кричать:

— Уж поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебѣ постель в верхней комнатѣ!

Дѣвочка оживленно блеснула глазами и, не дожидаясь приказанія, опять выскочила вон, быстро затопала по лѣстницѣ наверх.

— А вы обѣ гдѣ спите? — спросил мароканец и слегка сдвинулъ феску с потнаго лба. — Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко лѣтом, что, когда нѣтъ постояльцев, — а их теперь почти никогда нѣтъ! — онѣ спят в другой нижней половинѣ дома, — вот тут напротив, — указала она рукой в сѣни и опять пустилась в жалобы на плохія дѣла и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневолѣ приходится брать дорого и с проѣзжих...

— Я завтра уѣду рано, — сказал мароканец, уже явно не слушая ея. — А утром ты дашь мнѣ только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня слѣдует, и я сейчас же расплачусь с тобой. — Посмотрим только, гдѣ у меня мелкія деньги, — прибавил он и вынул из-под бурнуса мѣшочек из красной мяг-

кой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сдѣлал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Дѣвочка отворила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро свѣтились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, лобко вильнула в темнотѣ мимо круглаго стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сіяющую лунную ночь, на огромное свѣтлое небо с рѣдкими звѣздами. Стало легче дышать, стал слышен поток на долинь. Дѣвочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, невидную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядѣла на нее собака, прибудным щенком забѣжавшая откуда-то лѣтъ пять тому назад на постоянный двор, выросшая на ее глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

— Негра, — шопотом сказала дѣвочка, — почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к отворенной двери в сѣни.

— Назад, назад! — шопотом приказала дѣвочка. — На мѣсто!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

— Что тебѣ надо? — ласково заговорила дѣвочка, всегда разговаривавшая с ней как с человѣком. — Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то отвѣтить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихонько взвизгнула. Дѣвочка пожала плечом. Собака была для нея тоже самым близким, пока даже единственным близким существом на свѣтѣ, чувства и помыслы котораго казались ей почти всегда понятными. Но что хотѣла выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно-сердитым шопотом:

— На мѣсто, Негра! Спать!

Собака легла, дѣвочка еще немного постояла у окна, подумала о ней. Возможно, что ее тревожил этот страшный мароканец. Почти всегда встрѣчала она постояльцев двора спокойно, не обращала вниманія даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на нѣкоторых кидалась она почему-то как бѣшеная, с громким ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздраженія — эта жаркая, без малѣйшаго движенія воздуха и такая полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишинѣ этой ночи, как шумѣл поток в долинь, как ходил, топал копытами козел, жившій на скожном дворѣ, как

вдруг кто-то, — не то старый мул постоялаго двора, не то жеребец мароканца, — со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему міру раздалось это дьявольское блеяніе. И дѣвочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще свѣтлѣе. Кромѣ стола, в ней стояли у правой от входа стѣны, изголовьями к ней, три широких кровати, крытыя только грубыми простынями. Дѣвочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно освѣтившееся прозрачным, нѣжным голубоватым свѣтом: это был свѣтляк, свѣсившій на ея чолку. Она провела по ней рукой — и свѣтляк, мерцая и погасая, поплыл по комнатѣ. Дѣвочка легонько зашѣла и побѣжала вон.

В кухнѣ во весь свой рост стоял спиной к ней мароканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно говорил старухѣ. Старуха отрицательно мотала головой. Мароканец вздернул плечами и с таким злобным выраженіем лица обернулся к вошедшей дѣвочкѣ, что она отшатнулась.

— Готова постель? — гортанно крикнул он.

— Все готово, — торопливо отвѣтила дѣвочка.

— Но я не знаю, куда мнѣ идти. Проводи меня.

— Я сама провожу тебя, — сердито сказала старухе. — Иди за мной.

Дѣвочка послушала, как медленно топала она по крутой лѣстницѣ, как стучал за ней башмаками мароканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нѣжности, лизнула ее в лицо.

— Пошла вон, пошла вон, — зашептала дѣвочка, ласково оттолкнула ее и сѣла на порогѣ. Собака тоже сѣла на заднія лапы, и дѣвочка обняла ее за шею, поцѣловала в лоб и стала покачиваться вмѣстѣ с ней, чутко слушая тяжелые шаги и гортанный говор мароканца в верхней комнатѣ. Он что-то уже спокойнѣе говорил старухѣ, но нельзя было разобрать что. Наконец он сказал громко:

— Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мнѣ воды для питья на ночь.

И слышались шаги осторожно сходящей по лѣстницѣ старухи.

Дѣвочка вошла в сѣни навстрѣчу ей и твердо сказала:

— Я слышала, что он говорил. Нѣтъ, я не пойду к нему. Я его боюсь.

— Глупости, глупости, — закричала старуха. — Ты, значит, думаешь, что я опять сама пойду с моими ногами да еще в темнотѣ и по такой скользкой лѣстницѣ? И совсѣм нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он добрый. Он все говорил мнѣ, что ему жалко тебя, что ты дѣвочка бѣдная, что никто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы вѣдь совсѣм разорились. Кто теперь у нас останавливается кромѣ нищих мужиков!

— Чего ж он так злился, когда я вошла? — спросила дѣвочка.

Старуха смутилась.

— Чего, чего! — забормотала она. — Я сказала ему, чтобы он не вмѣшивался в чужія дѣла... Вот он и обидѣлся...

И сердито закричала:

— Ступай скорѣй, набери воды и отнеси ему. Он обѣщал что-нибудь подарить тебѣ за это. Иди, говорю!

Когда дѣвочка вбѣжала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, мароканец лежал на кровати уже совсѣм раздѣтый: в свѣтлом лунном сумракѣ пронзительно чернѣли его птичьи глаза, чернѣла маленькая коротко стриженная голова, бѣлѣла длинная рубаха, торчали большія голыя ступни. На столѣ среди комнаты блестял большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью бѣлым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Дѣвочка с разбѣгу сунула на стол кувшин и, пробормотав пожеланіе покойной ночи, опростетью кинулась назад, но мароканец вскочил и поймал ее за руку.

— Погоди, погоди, — быстро сказал он, потянув ее к кровати, сѣл, не выпуская ее руки, и зашептал: — Сядь возлѣ меня на минутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...

Ошеломленная, дѣвочка покорно сѣла. И он торопливо стал класться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцѣлуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их цѣлый мѣшочек...

И, выдернув из-под изголовья мѣшочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал на постель возлѣ нея, бормоча:

— Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цѣпкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

— Негра!

Он опять стиснул ей рот вмѣстѣ с носом, стал другой рукой ловить ее заголившіяся ноги, которыми она, брыкаясь больно била его в живот, но в ту же минуту услышал рев вихрем мчавшейся по лѣстницѣ собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола револьвер, но не успѣл даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на пол. Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его огненным псиным дыханіем, он метнулся, скинул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему все горло.

Ив. Бунин

23-3-1949.

„КАМЕРГЕР И ГИШПАНКА“
ИЛИ „РУССКІЕ В КАЛИФОРНІИ“ *)
(Историческій роман)
Copyright 1949 by the author.
Tous droits réservés.

«Леандра» с «Темзой» пришли в Кронштадт под эскортом англійскаго военнаго брига. Двух англійских лейтенантов его отблагодарили золотой табакеркой каждаго, командѣ выдали по червонцу на брата, всѣх знатно угостили и в Кронштадтѣ и в Питерѣ, и бриг поплыл обратно, унося пріятныя воспоминанія о русском радушіи.

Переименовав «Леандру» в «Надежду», а «Темзу» в «Неву», начали вооружать их артиллеріей и грузить продовольствіем. Дѣло пошло быстро, и в серединѣ іюля директора Россійско-Американской Компаніи, посылавшей припасы и товары в Русскую Америку на обоих судах, уведомили графа Румянцева, что погрузка кончена и что капитан-лейтенант Крузенштерн просит поторопиться с отплытіем, а то как бы не пришлось отложить плаванія до будущей весны, если бы не удалось выйти заблаговременно до наступленія періода равноденственных осенних бурь.

По докладѣ об этом Александру, он пожелал видѣть суда, и 23 іюля прибыл на кронштадтскій рейд в сопровожденіи адмирала Чичагова, графа Румянцева и Рѣзанова. Митрополит петербургскій Евгений с многочисленным духовенством и хором лаврских пѣвчих отслужил молебен и обошел оба судна, кропя их, послѣ чего Александр осматривал их, интересуясь мельчайшими подробностями и любуясь кораблями, которые с внѣшней стороны произвели на него очень хорошее впечатлѣніе. В завершеніе осмотра судов, он выслушал доклад Крузенштерна о том, что «Европа вся вооружена и моря всего свѣта покрыты военными судами и каперами, кои пуцаются безпрерывно не токмо на торговые корабли, но и на суда неутральныя», и что посему желательно было бы, чтобы оба судна экспедиціи, имѣющія на своем борту чрезвычайное Россійское шоссольство, шли под военными флагами. Александр изъявил на это согласіе, раздалась команда, на обоих кораблях взвилась заранѣе приготовленные андреевскіе флаги, судовыя команды разсыпались по реям, и при громѣ пушечных салютов и криков «ура», довольный Александр отбыл с рейда.

2 іюля столица давала отъѣзжавшей экспедиціи торжествен-

*) Начало см. тетрадь вторую.

ный обѣд в Дворянском Собраніи в присутствіи государя, высших морских, военных и гражданских чинов и представителей ученаго міра. Рѣзанов сидѣлъ по правую руку Александра, в честь его проносились пышные тосты. Пили здоровье «русскаго Колумба», желая успѣха его просвѣтительным планам в Америкѣ и процвѣтанія его «музеуму» и библіотекѣ на Кадыжѣ, пили здоровье перваго русскаго посла в Японію, отмѣчали важность его миссіи, пили десятки других велерѣчивых тостов, и всѣ бокалы тянулись в его сторону, а капитаны кораблей экспедиціи Крузенштерн и Лисянскій, сидѣли почти забытые — единственное хмурое пятно на свѣтлом фонѣ общаго ликовапія. А, между тѣм, в дѣлѣ послышки этой первой русскои кругосвѣтной экспедиціи Крузенштерну принадлежала немаловажная роль. Наслышавшись во время плаванія по Тихому океану, как остро стоит вопрос о снабженіи Русскои Америки продовольствіем, он в всеподданнѣйшей докладной запискѣ, поданной им через адмиралтейство еще Павлу, высказывал мысль о возможностях снабженія новаго русскаго заокеанскаго края товарами и продуктами непосредственно из Россіи. В той же запискѣ Крузенштерн впервые заговорил о желательности послышки кругосвѣтной экспедиціи, и соображенія его по этому вопросу вѣроятно и легли в основу доклада Рѣзанова в Тайном Комитетѣ. Поэтому, когда, вызванный в Петербург из близкаго плаванія, Крузенштерн узнал о назначеніи экспедиціи, он рѣшил, что главное начальствованіе экспедиціей будет вручено ему с Лисянским в качествѣ его помощника, а что Рѣзанов поѣдет на одном из кораблей экспедиціи в качествѣ пассажира для исполненія своих миссій в Японіи и Америкѣ. И, повидимому, пред отъѣздом в заграничные порты для покупки кораблей, у Крузенштерна были разговоры по этому поводу в адмиралтействѣ и министерствѣ коммерціи, еще не знавших опредѣленно, как дѣло оформится в конечном видѣ. В соотвѣтствіи с таким предположеніем Крузенштерн и Лисянскій высчитали, что содержаніе каждаго из них с особыми дополнительными довольствами составит около шести тысяч в год, а наградные по окончаніи экспедиціи около десяти тысяч. Поэтому когда по приводѣ кораблей из Англіи лейтенанты узнали из объявленной им Рѣзановым высочайше утвержденной «Инструкціи», что он назначен верховным начальником всей экспедиціи, «полным хозяйственным лицом», «вѣдомству котораго поручались сіи оба судна с офицерами», с предоставленіем в его «полное распоряженіе» «управленіе во время вояжа судами и экипажом и сбереженіе онаго, как частью, единственному искусству, знанію и опытности вашей принадлежащей», Крузенштерн и Лисянскій пришли в раж. Несомно было морякам подчиненіе штатскому начальнику, пусть даже дѣйствительному камергеру с титулом высокопревосходительства, не менѣе обидна была и значительная урѣзка жалованья, «доставств» и наградных, — страдали и амбіція и карман. Крузенштерн пытался энергично протестовать, доказывая адмиралтейству и министру коммерціи, что «экспедиція ввѣрена господину

Рѣзанову без моего вѣдѣнія, на что я никогда не согласился бы» и «что должность моя не состоит только в том, чтобы смотрѣть за парусами», но всѣ назначенія были к тому времени высочайше утверждены и спорить было бесполезно. Узнавъ об обидѣ Крузенштерна, Александр, чтобы успокоить его, назначил его семьѣ на время его плаванія полторы тысячи ежегодной субсидиі, «дабы мысли ваши спокойны вдали от родины были», как он сказал при прощаніи на «Надеждѣ». Поцѣловавъ протянутую руку, Крузенштерн разсыпался в благодарностях и на вопрос государя, не имѣет ли он ему что-либо сказать перед отплытіем, отвѣтил отрицательно. Дѣло казалось улаженным. Но на самом дѣлѣ оба командира и подвѣдомственные им офицеры из сочувствія к ним затеяли злобу против своего верховнаго штатскаго начальника, которой рано или поздно суждено было вылиться наружу.

На слѣдующій день послѣ банкета, утром, когда Рѣзанов еще одѣвался, Иван пришел доложить, что только что прибывшій из Германіи доктор фон Лангсдорф просит принять его по срочному дѣлу.

Рѣзанов просто ушам своим не повѣрил.

— Лангсдорф из Германіи? Да не может быть! Проси, проси в кабинет.

Внѣшность у молодого нѣмецкаго доктора и натуралиста оказалась преуморительной: маленькій рост, шишка на носу между бровями и острый носик с загнутым кверху концом, как остроноса китайская туфля, словно вынюхивающимъ воздухъ. И при всем этом довольнофрантовской вид. Доктора так огорчил отказ, полученный в отвѣтъ на присланное прошеніе о зачисленіи его в состав экспедиціи, что он подумал, подумал, да и примчался теперь из Германіи сам молить русское правительство пересмотрѣть свое рѣшеніе. Он прибылъ минувшей ночью, и лишь только корабль отшвартовался у набережной против седьмой линіи Васильевскаго Острова, нанял извозчика и погнал по Петербургу разыскивать Рѣзанова.

Узнавъ, что Рѣзанов отлично говорит по-нѣмецки, доктор за кофе, которым тот постѣшил его угостить, пустился в изліянія и разсказал чуть не всю свою жизнь.

— Вы не можете себѣ представить, как велико теперь мое отчаяннее, — в заключеніе воскликнул он. — Я просто не могу примириться с мыслью, что я не приму участія в столь важной экспедиціи, имѣющей облагодѣтельствовать человѣчество и обогатить науку. Пересмотрите свое рѣшеніе. Увѣряю вас, вы не пожалѣете. Я окажусь очень полезным членомъ экспедиціи!

Восторженный нѣмчик понравился Рѣзанову своей непосредственностью. Он дал ему записку к графу Румянцеву, посоветовал тотчас с ним повидаться, но высказал убѣжденіе, что вряд ли что-нибудь выйдет: всѣ дѣла закончены, контракты давно подписаны, экспедиція через четверо суток отправляется в путь.

— Ах, это было бы ужасно! — взмахнул Лангсдорф в отчаяннїи руками и полетѣлъ хлопотать. Больше до отъѣзда Рѣзанова его не видѣлъ.

2 іюля всѣ отъѣзжающіе съѣхались на «Надежду», куда уже были доставлены четыре японца, которых в знак своего дружескаго расположенія государь посылал микадо, упоминая в грамотѣ на его имя, что эти подданные «его тезинкубоскаго величества», «избѣгая смерти от кораблекрушенія, спасли в моих предѣлах жизнь свою» и, объясняя, что они промедлили возвращеніем на родину исключительно в силу невозможности вернуться обычным путем. Рѣзанова сопровождали неразлучный с ним камердинер Иван и повар Іоган Нейланд, которому доктор Рѣзанова прочел перед отъѣздом цѣлую лекцію, как кормить барина, сидѣвшаго послѣднее время на строгой діетѣ и козьем молокѣ.

На слѣдующій день погода с утра выдалась великолѣпная. Дул попутный вѣтер. В десять часов утра, оба корабля, отдавъ марселья, начали сниматься с якоря. «Надеждой» командовал Крузенштерн, «Невой» Лисянскій. Ровно в половину одиннадцатаго корабли тронулись в шуть при тихом зюйд-остѣ под гром пушечной пальбы с кронштадтских верков, под крики, маханье платков и шляп многочисленной публики, родственников и друзей, пріѣхавших на лодках на рейд проводить отъѣзжающих. Десятка три купеческих судов приблизились к «Надеждѣ» и «Невѣ» и, пользуясь удобным вѣтром, прошли поочередно мимо них, салютуя флагами и желая счастливаго пути. Рѣзанов стоял на кормѣ, снявъ шляпу, долго провоякая взглядом берега, пока они не скрылись из виду.

На шестнадцатый день плаванія «Надежда» с «Невой» зашли в Копенгаген, чтобы захватить ждавших там экспедицію профессора Тилезіуса из Лейпцига и астронома Горнера из Цюриха и погрузиться запасами, заранѣе заказанными Компаніей.

Рѣзанов съѣхал на берег в гостиницу герра Рау, гдѣ его должны были дожидаться нѣмецкіе ученые. Не успѣлъ он занять номер, как в дверь к нему постучали. Рѣзанов открылъ дверь и отступил в изумленіи: пред ним снова стоял маленькій нѣмецкій ученый с шишечкой между бровями и загнутым кверху острым носом, так недавно посѣтившій его в Петербургѣ.

— Вы как здѣсь?

Лангсдорф объяснил, что, получив отказ от графа Румянцева и случайно узнавъ в разговорѣ с ним, что экспедиція зайдет в Копенгаген, он съѣлъ на корабль, к счастью его в тот же день отходящій в Данію, и вот предстал теперь пред хох экселленц еще раз умолять его взять его с собою.

Настоятельность, с которою нѣмец добивался своей цѣли, и раздражила, и понравилась Рѣзанову.

— Но, доктор фон Лангсдорф, я же вам еще в Петербургѣ сказал, что рѣшительно ничего не могу для вас подѣлать.

— Хох экселленц, выслушайте меня, — снова с жаром взмолился тот. — Я добиваюсь чести попасть в вашу экспедицію по-

тому, что, как я вам уже сказал, я знаю, что буду полезен наукѣ и вам. Скажу, не хвастаясь, что несмотря на мою молодость, я уже набрался большого опыта. Я вам писал, что изслѣдованія, предпринятія мною в Португаліи по моей личной инициативѣ, заслужили мнѣ лестные отзывы французских академиков и званіе корреспондента вашей императорской академіи наук.

— Да, я помню. Как вы попали в Португалію?

— Имѣю счастье сопровождать принца Христиана де Вальдек. Затѣм я служил хирургом в англійской экспедиціонной арміи и участвовал с нею в боях против испанцев. Я владѣю нѣсколькими иностранными языками, включая португальскій и, конечно, латинскій. Как врач, я тоже имѣю отличные отзывы. Вот, напримѣр, аттестат госпожи бургомистерши фон Келлер и госпожи тайной совѣтницы фон Тизенгаузен о том, что я обѣих этих дам поставил на ноги в нѣсколько недѣль послѣ того, как они безрезультатно лѣчились у других врачей от нервных гастрических болѣй нѣсколько лѣтъ и стали почти инвалидами.

Этот маленькій ученый казался счастливой находкой. Его португальскій язык мог пригодиться в Бразиліи, его умѣнее лѣчить гастрическіе болѣзни могло очень пригодиться в пути самому Рѣзанову.

Замѣтив по лицу Рѣзанова, что тот начинает колебаться, доктор подал ему жару.

— Уж пожалуйста, хох экселенц, возьмите меня, будьте такой добрый. Я знаю навѣрное, вы не раскаетесь.

— Но какіе же могли бы быть ваши условія?

— Ах, никаких условій! Пусть ваш император вознаградит меня по заслугам по окончаніи экспедиціи. Я же сумѣю отблагодарить вас за довѣріе своей службой, и преданность моя лично к вам не будет знать границ.

Имѣть в экспедиціи преданного человѣка тоже было далеко не лишним.

— Вот что, доктор, — рѣшил Рѣзанов. — Пригласить второго натуралиста у меня основаній нѣтъ. Медики в экспедиціи тоже имѣются. Но если бы профессор Тизелиус нашел нужным просить меня взять вас в качествѣ помощника ему, я, пожалуй, пойду на это.

Маленькій нѣмец вскочил в восторгѣ.

— Ах, хох экселенц, вы дѣлаете меня счастливѣйшим человѣком. Я эта буду помнить вѣчно! Бѣгу просить профессора Тизелиуса.

Мы тоже запомним эту сцену. Она нам пригодится впоследствии.

В тот же день профессор Тизелиус обратился к верховному начальнику экспедиціи с формальным отношеніем, ходатайствуя об «умноженіи научных сил экспедиціи» принятіем в помощь ему доктора фон Лангсдорфа в виду обремененности его, профессора, слишком многими научными обязанностями, могущей вредно отразиться на успѣхѣ дѣла. Рѣзанов согласился, положив доктору около

ста рублей мѣсячнаго жалованья изъ запасныхъ суммъ и назначивъ его дополнительнымъ членомъ экспедиціи. Научныя спеціальности распредѣлили такъ: зоологію, орнитологію и энтомологію взялъ себѣ Гилезіусъ, минералогію и ихтиологію дали Лангсдорфу, хотя ему страстно хотѣлось орнитологію и ботанику — птицы и цвѣты были его конькомъ, а ботанику оставили доктору Брыкину подъ наблюдениемъ первыхъ двухъ.

Черезъ недѣлю экспедиція пустилась въ дальнѣйшій путь.

Г л а в а 3.

ДВАДЦАТЬ ДВА МѢСЯЦА СПУСТЯ.

Горы в отдаленіи полукругомъ в снѣгу, крики чаекъ, хватающіе за душу какъ жалобный дѣтскій крикъ, надъ тихой гаванью в Авачинской губѣ с покосившеюся пристанью. По берегамъ — стаи ѣздовыхъ собакъ, незанятыхъ въ эту пору ѣздой, лохматыхъ и дикихъ, подчеркивающихъ безнадежную унылость картины. Вблизи крохотный Петропавловскъ того времени: бѣлый каменный комендантскій домъ подъ красною крышею, контора Россійско-Американской Компаніи, церковь, десятковъ пять избъ, казармы, сараи для вяленія рыбы.

Эта унылая картина, открывшаяся Рѣзанову съ борта «Надежды», какъ нельзя болѣе соотвѣтствовала его шастроенію, когда двадцать два мѣсяца по выходѣ изъ Кронштадта, в маѣ 1805 года, «Надежда» входила в Авачинскую губу.

Картина эта была ему очень хорошо знакома и связана она была съ тяжелыми воспоминаніями. Онъ ужъ шобывалъ тутъ мѣсяцевъ десять раньше, в июль 1804 года, предъ посѣщеніемъ Японіи. Во время путешествія выяснилось, что «Надежда» и «Нева» далеко не были тѣми «почти новыми» кораблями, за какіе англичане продали ихъ Крузенштерну и Лисянскому. Состояніе «Надежды» было настолько скверно, что дойдя до Гавайскихъ острововъ, она, вмѣсто того, чтобы идти в Японію, должна была пойти предварительно в Петропавловскъ, чтобы основательно тамъ починиться. Рѣзановъ былъ этому радъ. Безъ всякаго повода съ его стороны у него в пути сильно осложнились отношенія съ Крузенштерномъ, что в концѣ концовъ вылилось в настоящій бунтъ всего офицерскаго состава обоихъ судовъ противъ ихъ штатскаго верховнаго начальника, — бунтъ, выразившійся в очень грубой формѣ. Положеніе стало настолько невыносимо, что Рѣзановъ даже сталъ колебаться, идти ли ему дальше в Японію. И прежде, чѣмъ предпринять этотъ рейсъ, онъ, придя в Петропавловскъ, рѣшилъ попытаться привести Крузенштерна и его офицеровъ къ полному повиновенію. С этой цѣлью, остановившись в домѣ коменданта Петропавловска, майора Крупскаго, онъ вызвалъ себѣ в помощь изъ Ново-Камчатска военнаго губернатора Камчатки, генерал-майора Павла Ивановича Кошелева.

Прибывъ во главѣ сильнаго отряда, генералъ Кошелевъ произвелъ

подробное дознание, допросил командиров и всѣх офицеров обоих судов и формулировавъ случившееся, как бунтъ ихъ противъ государя въ лицѣ его полномочнаго представителя. Крузенштернъ струхнулъ. Предстояло прежде всего отрѣшеніе отъ должности и дальѣ военный судъ. Кончилось тѣмъ, что, надѣвъ полную парадную форму, командиры и ихъ подчиненные принесли Рѣзанову повинную въ присутствіи генерала Кошелева, торжественно обязавшись безпрекословно признавать его авторитетъ, какъ верховнаго начальника экспедиціи. Рѣзановъ простилъ своихъ обидчиковъ. Чтобы обезопасить себя въ дальнѣйшемъ, онъ, во-первыхъ, попросилъ генерала Кошелева дать ему надежный караулъ изъ мѣстныхъ гренадеръ и, во-вторыхъ, отослалъ въ Петербургъ главнаго зачинщика всего случившагося, своего адъютанта, лейб-гвардіи Преображенскаго полка поручика Федора Ивановича Толстого (двоюроднаго дядю Л. Н. Толстого), въ скоромъ будущемъ легендарнаго буяна, шулера и головорѣза пушкинской эпохи, которому Пушкинъ посвятилъ свою эпиграмму «Въ жизни мрачной и презрѣнной». Благодаря всѣмъ этимъ мѣрамъ, отношенія съ офицерами наладились и путешествіе въ Японію прошло благополучно.

Благополучно само по себѣ, но далеко не благополучно въ смыслѣ результатовъ дипломатической миссіи Рѣзанова: попытка его завязать дружественныя сношенія съ японцами потерѣла полную неудачу. Продержавъ его нѣсколько мѣсяцевъ въ почетномъ плѣну, что совершенно издергало нервы Рѣзанова, японское правительство, въ концѣ концовъ, рѣшительно отказалось отъ дружбы съ Россіей, сославшись на то, что чувствуя себя вполне счастливою въ своей полной изолированности отъ внѣшняго міра, Японія не видѣла никакой надобности изолированность эту нарушать. И богатые подарки, посланные Александромъ микадо, приняты не были.

Пощечина, нанесенная ничтожнымъ въ то время японскимъ правительствомъ могучей Россіи, сломила Рѣзанова. Онъ заболѣлъ, и пролежалъ почти весь обратный путь у себя въ каютѣ, пользуясь заботливымъ уходомъ доктора Лангсдорфа, оказавшагося дѣйствительно умѣлымъ врачомъ. А придя нѣсколько въ себя, онъ обдумалъ планъ, какъ по приѣздѣ на Аляску онъ пошлетъ карательную экспедицію въ Японію и силой добьется отъ нея исполненія желаній Александра, если добромъ она сдѣлать этого не захотѣла. Рѣшеніе это до извѣстной степени успокоило его.

Такъ опротивѣли ему многомѣсячное трепаніе по морямъ и океанамъ, лица окружающихъ — свидѣтелей его неудачъ, самыя стѣны каюты, что лишь только «Надежда» бросила теперь якорь въ Авачинской бухтѣ, придя туда рано утромъ, Рѣзановъ сейчасъ же послалъ своего новаго адъютанта, капитана Кошелева, брата генерала Кошелева, къ коменданту Петропавловска, майору Крупскому, съ просьбой оказать ему еще разъ гостепріимство на нѣсколько дней предъ его дальнѣйшимъ уходомъ на Аляску, а питерскому камердинеру своему Неану велѣлъ тоскорѣе собирать послѣднія неуложенныя вещи.

На «Надежду», уходившую черезъ нѣсколько дней докачи-

вать кругосвѣтное плаваніе, Рѣзанов уже не собирался вернуться. В Русскую Америку он предполагал идти на корабль своей Компаніи, и для этой цѣли его уже ждал в гавани бриг «Марія». Бок-обок с ней стоял компанейскій же транспорт «Феодосія»: она должна была доставить в Охотск «кавалеров» злосчастнаго японскаго посольства, совѣтника Фоссе и майора Фридрицкаго, а также двух кадетов морскаго Шляхетнаго корпуса, братьев Отто и Морица фон Коцебу, сыновей пріятеля Рѣзанова, Августа фон Коцебу, нѣмецкаго писателя и драматурга, состоявшаго одно время на русской государственной службѣ в должности директора нѣмецкаго драматическаго театра в Петербургѣ. По протекціи Рѣзанова, братья Коцебу были прикомандированы к кругосвѣтной экспедиціи, что должно было положить солидное начало их морской карьерѣ. Дѣйствительно, из них впоследствии вышли отличные моряки. Из Охотска «кавалеры» и кадеты возвращались в Петербург сухим путем. Таким же порядком рассчитывал вернуться и Рѣзанов, побывав в Русской Америкѣ. «Марія» с «Феодосіей» ждали посольство в петропавловской гавани уже с января, так как, уходя из Петропавловска в концѣ августа, Рѣзанов рассчитывал вернуться туда не позже конца года. Вышло иначе. Все вышло совсѣм иначе! Не побѣдителем, а побѣжденным вернулся он в Петропавловск. Так блестяще сложившаяся карьера повисла теперь на волоскѣ.

«Надежда» пришла теперь в Петропавловск одна. «Нева» уже давно отдѣлилась от нее. Придя на Гавайскіе острова в іюнѣ минушаго года, Рѣзанов узнал от тамошняго короля Камегамеги очень тревожныя новости о положеніи дѣл в Русской Америкѣ. Их сообщил Камегамегѣ американскій штурман Кларк, заходившій на Аляску. По словам Кларка, Баранов уже больше года тому назад проник с Кадьяка на Аляску и построил там первый форт и поселок, названныя им «Св. Михаил». Вскорѣ же туземцы индѣйцы форт сожгли, пользуясь временным отсутствіем Баранова, а половину населенія перерѣзали. С другой половиной Баранов спасся и сейчас же начал строить новый форт и поселок, названныя им Ново-Архангельск. Ко времени захода Кларка, форт был почти готов, но Баранов сильно нуждался в продовольствіи и в помощи против индѣйцев. Камегамега, большой поклонник Баранова, котораго он очень почитал за сильный характер, крутой нрав и сноровку справляться с дикарями, и называл «королем» или «железным губернатором» Аляски, посоветовал Рѣзанову безотлагательно послать Баранову помощь.

— Дивлюсь, как они еще живы там, — сказал он. — Я постоянно слышу, что они умирают с голоду.

И Рѣзанов послал на выручку Баранову «Неву», а Камегамегѣ обѣщал завести с ним прочныя торговыя сношенія путем обмѣна его кокосовых орѣхов, плодов хлѣбных деревьев и соленой свинины на русскіе мѣха и ситец. С тѣх пор ни о Барановѣ, ни о «Невѣ» извѣстій не было.

Кошелева выпустили с «Надежды» с большими санитарными предосторожностями: на обратном пути из Японіи на суднѣ было нѣсколько случаев оспы, и Крузенштерн установил строгій карантин. Вернулся Кошелев с толстой пачкой корреспонденціи, лежавшей в комендантском домѣ тоже около четырех мѣсяцев, и с сообщеніем, что помѣщеніе для Рѣзанова приводится спѣшно в порядок и будет готово часа через три — к полдню.

Рѣзанов занялся корреспонденціей. В дружеском письмѣ, датированном октябрем, Александр сообщал, теперь уже устарѣвшую, злону политическаго дня о корсиканском узурпаторѣ, своими руками возложившем императорскую корону на свою голову. В связи с этим Александр замѣчал, что надобно обратить теперь особенно серьезное вниманіе на наши американскія владѣнія, так как, по слухам, Наполеон имѣл намѣреніе стать твердой ногой в Америкѣ. А между тѣм, по доходящим вѣстям дѣла наши там все еще не ладятся, — государя очень беспокоило извѣстіе о разрушеніи индѣйцами перваго русскаго форта, возведеннаго на материкѣ Америки, на Аляскѣ, Барановым. Он просил Рѣзанова, чтобы тот поспѣшил в Русскую Америку из Японіи и подробно отписал, что он там найдет. В заключеніе, Александр сообщал, что от графа Головкина, посланнаго в Китай с миссіей тождественной рѣзановской, вѣсти пока неутѣшительны, и выражал надежду получить от Рѣзанова болѣе отрадныя новости об успѣхѣ его японскаго посольства.

Приблизительно такого же содержанія было и письмо от графа Румянцева. Рѣзанов взял третье, от директоров главнаго правленія Компаніи. Читать его было еще досаднѣе. Тѣ прямо выражали увѣренность в блестящем окончаніи японской миссіи, спрашивали, много ли заказов получил Рѣзанов на мѣха в Японіи, и давали совѣтъ подумать теперь о заключеніи торговых договоров с Кохинхиной и Бурмой. Чудаки! Как вытянутся их лица, когда они узнают о полном провалѣ рѣзановской миссіи!

Рѣзанов взял самый увѣсистый пакет, от Шелеховой. Наталья не пожалѣла восклицательных знаков. Первая барановская крѣпость на Аляскѣ погибла — какой ужас, какіе убытки для Компаніи! А дивиденд все падает! И то ли еще будет, ежели так продолжится! Из Русской Америки только непріятности и слышишь теперь. Новая партія сибирских ссыльных, посланная правительством по ходатайству главнаго правленія для колонизаціи Аляски, находится в самом бѣдственном положеніи, как в Петербург дошло окольным путем через Англию: жить негдѣ, вѣсть нечего. И что там Баранов думает? Морскіе офицеры опять жалуются: морскаго ихняго дѣла Баранов не знает, а сует в него нос и только мѣшает. Какія мѣры принял Рѣзанов? Такія вѣсти, а также слухи о продолжающемся хищническом истребленіи промысловаго звѣря, о голоданіи промышленников, о жестоком обращеніи Баранова с туземцами чести Компаніи не дѣлают. Всему этому должен быть положен рѣшительный конец. Враги Компаніи твердят, что общее

положеніе в Русской Америкѣ значительно ухудшилось в послѣднее время вмѣсто того, чтобы уллучиться, и что если так пойдет дальше, то драгоценный промысел вернется к тому хаотическому положенію, какое существовало в період свободной добычи мѣхов. В заключеніе, Наталья Алексѣевна сообщила вкратцѣ, что дѣти здоровы и благополучны.

Послѣднее извѣстіе лишь на минуту остановило на себѣ вниманіе Рѣзанова. За время путешествія, семья и смерть Ани ушли вдаль, и боль утраты притупилась. Замѣчаніе же Шелеховой по поводу врагов его взволновало. Да, конечно, враги, завистники, — а у него их немало, — пользуются его отсутствіем, нашептывают государю против него. А какая буря злорадства поднимется, когда Фоссе с Фридрицимъ вернутся в Петербург, и там узнается позор его провала в Япоши, позор пощечины, полученной Россіей! Надо бы самому теперь съѣздить в Петербург и на словах все объяснить государю. На словах это легче сдѣлать. И бурю завистнических инсинуацій он заставил бы утихнуть, еслиб появился сам. Мысль съѣздить в Петербург до Русской Америки у него и раньше мелькала. Но теперь об этом и думать нечего, раз государь, вот, настаивает, чтобы он торопился в Русскую Америку. Ну, что ж, обойдется дѣло и письмом — мысль о карательной экспедиціи выручит.

Пробило осемь полуденных склянок. Пошел Иван.

— Обѣд готов, Николай Петрович. Может, покушаете напослѣдок?

— Нѣтъ уж, брат, спасибо. Накушались мы тут с тобой японскаго провіанта достаточно. Как у тебя с вещами?

— Да все готово. Большія вещи уже на берег свезли. Сейчас шлюпка вернулась, можно ѣхать.

Рѣзанов запер полученную корреспонденцію в шкатулку красного дерева с письменным прибором и документами, подставил плечи под плащ, который на него накинул Иван, кинул послѣдній взгляд на опостылѣвшую каюту, перекрестился мелким крестом и пошел к трапу. С Крузенштерном, офицерами и всѣми прочими он уже простился, убѣдительно попросив не дѣлать ему рѣшительно никаких официальных проводов. Тѣм не менѣе, когда он теперь вышел на верхнюю палубу, вахтенный начальник вызвал фалрепных и рѣзановскій личный конвой. Бравые гренадеры, которым капитан Кошелев роздал утром по червонцу на брата от его имени, особенно старательно прокричали, что полагалось, когда он сказал им теперь нѣсколько слов на прощанье, поблагодарив за вѣрную службу. На шум, вскочив из-за обѣда, дожевывая кусок и вытираясь салфеткой, прибѣжал маленькій доктор Лангсдорф.

— Одну минутку, хох экселленц, — догнал он Рѣзанова, направлявшагося к выходному трапу. — Я хотѣлъ сказать, что за особую честь почту быть вам полезным пока мы здѣсь. К вашим услугам во всякое время днем и ночью.

— Спасибо, доктор. А я как раз о вас думал сегодня. Надо

кое о чем потолковать срочно. Хотѣл сказать, чтоб вам передали. Не прїѣдете ли, как только откушаете?

— С отмѣнным удовольствіем, хох эсселенц.

Братья фон Коцебу, стройные, подтянутые ребята с отличной выправкой, снесли шкатулку Рѣзанова с документами в шляпку и остались в ней ждать, стоя. На пристани, недалеко, майор Крупскій, агент Компанчи Рыбаков и мѣстный священник-миссіонер, о. Гервасій, наблюдали, как сильно осунувшійся послѣ болѣзни Рѣзанов осторожно сходил по трапу, поддерживаемый под локоть Иваном.

— Что он, болен? — спросил агент майора.

— Теперь ничего, говорят, а хворнул изрядно.

— Еле ходют, — покачал головой священник.

— Эх, дал бы Бог пронесло б благополучно, — вслух подумал майор, вспомнив, какая гроза разразилась над тихим Петропавловском в первый прїѣзд Рѣзанова. — Какую особу принимать — личный друг государю!

Но майору не было надобности беспокоиться: благодарный за его радушіе и помощь, оказанныя в предыдущій прїѣзд, Рѣзанов чувствовал к этому благодущному толстяку самое искреннее расположеніе.

Выйдя из шляпки, все с помощью Ивана, Рѣзанов благословился у священника и с тѣнью улыбки на осунувшемся лицѣ поздоровался с майором.

— Рад вас снова видѣть, Андрей Иванович. Как вас тут Бог миловал это время?

— Нам что дѣлается, ваше высокопревосходительство! — осторожно принявъ Крупскій протянутую блѣдную руку в свою обширную ладонь. — Вот вы будто изволили с тѣла маленько спасть с прошлаго лѣта.

— Да, хворнул порядком, и не раз. Море замучило. Хочу у вас немного отойти прежде, чѣм дальше итти, коль не стѣсню.

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, какія стѣсненія! Милости просим. Мы от всей души.

— Вѣрю, вѣрю. Потому-то к вам и напросился опять.

Назначив агенту, когда явиться, Рѣзанов направился к блѣвшему недалеко комендантскому дому под красной крышей среди обступившей его зелени деревьев. У пороги калитки он было споткнулся, но Иван во-время поддержал под руку.

В тепло натопленных сѣнях, вкусно, хозяйственно пахнувших пирогами и жареной живностью, встрѣтила его шынная майорша в шумящем шелковом платьѣ, такая же добродушная толстущка, как майор, с раскраснѣвшимися от плиты щеками-пышками.

— Батюшки, что это, ваше высокопревосходительство, как похудѣли! — всплеснула она руками в искреннем порывѣ сочувствія. — Уж видать японскіе харчи не на пользу вам пошли.

— Куда с вашими сравниться, Марфа Тимофеевна. Все ваши

кулебяки вспоминал. Ну, как дѣтки? У Ванятки зубки прорѣзались благополучно?

— Прорѣзались, прорѣзались. Память-то у вас какая при таких дѣлах!

— И любимица моя Машутка бойко уж, поди, в буквах разбирается?

— Все вспоминала, как вы ее учили. Ждет вас, не дожидется. Условившись с гостепріимной майоршей, что он с удовольствіем отвѣдает ея свѣди попозже, приняв кое-кого и покончив с срочной корреспонденціей в Петербург, Рѣзанов попросил прислать ему пока только стакан чаю с хлѣбом и прошел в приготовленную для него комнату.

Тут все было, как в прежній пріѣзд, — очень просто, уютно и изумительно чисто: пышно взбитая постель, простой еловый стол для письма, другой небольшой для ѣды, два-три кресла обитых клеенкой, укомойник в углу. Не забыли поставить табуретку для его шкатулки у письменнаго стола — мелочь, но дорого вниманіе. На окнах в лучах выглянувшего солнца вдруг загорѣлась терань. Жарко дышала печь.

Кадеты внесли шкатулку красного дерева, поставили ее на табуретку возлѣ стола для письма и стали на вытяжку.

— Благодарю вас, господа. Вы вѣдь завтра в Петербург с Фоссе? Батюшкѣ вашему поклон скажите. Да передайте, мы с Иван Федоровичем вашей службой изрядно довольны.

— Рады стараться, ваше высокопревосходительство!

— Как вернетесь сейчас на корабль, скажите, дали бы знать командиру с «Маріи» Машину да лейтенантам с «Феодосіи», Хвостову с Давыдовым, явились бы ко мнѣ поскорѣе. Ну, с Богом! Счастливаго пути.

Кадеты откланялись, ловко повернулись и лихо шелкнули каблуками. «Славные ребята», подумал им вслѣд Рѣзанов, «бравые выйдут офицеры».

Он прошелся по коматѣ, подождал пока Иван принес чай и вынул из сундучка самое нужное, хлебнул чаю и прилег. Какое наслажденіе было лежать на настоящей кровати, зная, что она не начнет качаться! Так бы и пролежал цѣлый день, наслаждаясь ощущеніем твердой земли под собой, ни о чем не думая. Но надо было заняться письмами, чтобы отправить их с отѣзжавшими.

Он переломил себя и встал, подошел к столу, достал ключ с дѣпочки, нагнулся над шкатулкой, и вдруг ему стало нехорошо. Пошли лучи в глазах, как бывало в Петербургѣ, и окружающая дѣйствительность отодвинулась сразу далеко. Он постоял, закрыл глаза, рванул ворот рубашки, посидѣл с закрытыми глазами, подождал пока перестанут играть лучи. «Все ж дрянь мое здоровье», подумал он, выкладывая на стол письменныя принадлежности и корреспонденцію из Петербурга. «Куда мнѣ такую даль без лекаря ѣхать! Надо, надо Лангсдорфа уговорить. А ну, закобенится?» Припадок дурноты, и мысль эта, и вид непріятных писем из Петер-

бурга спугнули бодрое настроеніе, которым он начал было набираться, съѣхав на берег. Такія рѣзкія перемѣны настроенія были ему очень свойственны. Все показалось опять в мрачном свѣтѣ. Государь, вот, выражает увѣренность в его успѣхѣ в Японіи, а он должен признаться в полном провалѣ. Хотѣл он, вот, смягчить признаніе сообщеніем о своем намѣреніи карательную экспедицію в Японію послать, чтобы добиться от нея, чего нужно, не мытьем, так катаньем. Да легко сказать — экспедицію послать. Как ее пошлешь, если на Аляскѣ такой развал идет, как о том Наталія пишет? Если это так, то у Баранова пожалуй никаких судов нѣтъ, кромѣ этих «Маріи и Феодосіи», построенных еще до разгрома перваго его форта. И каковы-то еще офицеры окажутся?

Он вскочил и, как маятник, пошел мѣрить жарко натопленную горницу, пятнадцать шагов вперед, пятнадцать назад, без конца, стараясь придумать, с чего начать письмо государю. Но сколько ни думал, вступительныя фразы, какія надо было, никак не складывались. Он подошел было к столу, набросал нѣсколько слов, зачеркнул, еще написал, скомкал лист бумаги и с досадою швырнул под стол.

Иван постучал тихонько.

— К вам доктор Лангсдорф, Николай Петрович!

Слава Богу! Приход посторонняго человѣка перебьет застоившуюся мысль, даст привести голову в порядок.

— Приси.

Доктор вошел, увидал безпокойно шагавшаго пациента и посмотрѣлъ на него подозрительно, задрал свой маленькій нос ноздрами кверху, словно вынюхивая воздух.

— Епять нервничаете. хох экселленц. Позвольте-ка пульс. Нехорошо, нехорошо. Вы слишком изнуряете свою систему этими излишними движеніями. Сядьте, пожалуйста.

— Да, да, вы правы, нервничаю немного. Но это сейчас пройдет. Присядемте. — Он сѣлъ пред столом, указав доктору кресло сбоку. — Я вот по какому дѣлу просил вас зайти. Дня через дватри я ѣду в Америку, на Кадьяк, на Аляску. При моем здоровьѣ мнѣ бы нужен врач с собой. В вашей лекарской опытности я успѣлъ увѣриться. Кромѣ того, помнится, вы говорили, у вас и немалый походный опыт был. Желаете со мной ѣхать?

— Я? — От неожиданности Лангсдорф просидѣлъ нѣсколько мгновеній с открытым ртом. — Я... я был бы, конечно, очень счастлив. Но...

— Да?

— Но капитан фон Крузенштерн обѣщал дать мнѣ возможность изучить шо дорогѣ флору и фауну нѣкоторых Курильских островов...

— Ну, если в этом дѣло, так я обѣщаю вам больше: флору и фауну не только Курильских, но всѣх Алеутских островов, включая Кадьяк и самую Аляску. Подумайте, какой для вас случай! Туда вѣдь, пожалуй, еще нога ни одного ученаго не ступала.

Экспансивный нѣмец сразу осѣдлал любимаго конька и завел свою научную волюнку.

— Ну, это, если позволите, не совсѣм так, хох экселленц. Когда Большая Сѣверная Экспедиція во главѣ с капитан-командором Витусом Берингом достигла в іюль 1751 года Аляски, член ея адъютантъ вашей Академіи Наук, Георг Вильгельм фон Штеллер, дважды съѣзжал на берег, найдя там любопытнѣйшіе экземпляры диких ирисов, шиповника, желтых и синих фіалок, анемонов, маргариток и даже незабудок!

Очень мало интересовавшійся натуральной исторіей, Рѣзанов не удержался, чтобы не подшутить над научной экспансивностью нѣмца.

— И даже незабудок!

— Мало того. Адъютантъ фон Штеллер обнаружил там также нѣсколько разновидностей вполне съѣдобных ягод, включая малину. Правда, обо всем этом он говорит мельком, ибо и съѣзжал-то он на берег больше с практической цѣлью — заготовить травы и ягодами для цынготных больных на беринговом пакетботѣ «Св. Апостол Петр» и..

С Рѣзанова было довольно.

— Вот, видите. Штеллер съѣзжал только два раза и с практической цѣлью, вам же предоставляется случай впервые изучить природу Аляски со всей научной точностью, не стѣсняясь временем.

— Ах, значит, помимо служебных обязанностей при особѣ вашей я не буду стѣснен в возможностях преслѣдовать и мои научныя занятія?

— Преслѣдуйте их сколько хотите, поскольку это не будет мѣшать вашим прямым обязанностям. Но, полагаю, особа моя займет у вас не так много времени.

— И я смогу дѣлать необходимые препараты и изготовлять лучезащитныя всяких земных и водных животных разновидностей, с правом взять их на ваше судно? — допытывался дотошный нѣмец.

— Сколько и каких хотите. Что до жалованья, я вам смогу положить из своих средств вдвое против того, что вы получаете в качестве дополнительнаго члена экспедиціи. Двѣсти рублей помѣсячно вас устроят?

— Ах, хох экселленц, конечно, — расцвѣлъ нѣмец. — Но, видите ли, я сейчас начал приводить в порядок мои путевыя замѣтки, которыя я намѣреваюсь издать по возвращеніи в Европу, и хотѣлъ бы поскорѣй окончить эту работу.

— Ну, и кончите ее на досугѣ. За время нашего вояжа замѣтки ваши еще больше обогатятся. Подумайте, какой для вас рѣдкій случай.

— Да, конечно, но дѣло в том, что я обѣщал капитану Крузенштерну..

— Капитан Крузенштерн предуведомлен мною и ничего против оставленія вами экспедиціи не имѣет. Доктор, не тяните. У

меня бездна срочных дѣл. Если мое предложеніе вам не подходит, мнѣ придется взять здѣшняго оставнаго подлекаря Завьялова. И как он ни мало знающ, но на худой конец...

— Ах, хох эсселенц, нѣтъ. Я согласен. И я не могу сказать, как я польщен...

— Отлично. Не будем терять времени. — Рѣзанов встал. — Скажите капитану Крузенштерну о нашем соглашеніи, укладывайтесь и переѣзжайте на бриг «Марію». Там, на досугѣ, мы составим договор для вашего спокойствія, в который включим чучела и все, что хотите.

Нѣмец ушел, сияя. И у Рѣзанова на душѣ отлегло: разрѣшеніе важного вопроса о врачебной помощи в далеком пути значительно облегчало дѣло.

Показалась голова Ивана.

— Лейтенанты Машин, Хвостов и Давыдов, Николай Петрович.

— Проси Машина.

Глаза Рѣзанова с любопытством устремились на дверь, — каков-то окажется этот представитель компанейских моряков, с которыми он собирался воевать Японію. Машин к тому же особенно интересовал его, как командир корабля, на котором предстояло совершить опасный по тѣм временам рейс в Русскую Америку.

Для начала разочарованіе вышло полное.

Вошел лохматый бирюк. Голенища сапог, в которые кое-как заткнуты штаны, нечищены. Мятая тужурка поверх несвѣжей рубашки растегнута.

— Посылали за мной? — по-просту спросил он, мотнув головой. — Я Машин, лейтенант императорскаго флота.

Рѣзанов начал кишѣть.

— Мало вы, сударь, на лейтенанта императорскаго флота похожи.

— Чего?

— Вы знаете, кто я?

— Директор Компаніи, что ли?

— Я дѣйствительный камергер его величества и полновластный представитель государя императора, особу коего я представляю в сем краю. Как смѣли вы явиться мнѣ в таком видѣ?

— Да я, собственно, думал...

— Вы, собственно, дисциплины не знаете, сударь. Распустились тут вдали от начальства. Ступайте прочь, одѣньтесь по формѣ и явитесь представиться мнѣ, как полагается. Марш!

Машин выскочил красный, точно из бани, взмахнул руками пред двумя дождавшимися лейтенантами и выскочил на улицу.

— У, брат! — шепнул Давыдов Хвостову. — Сей камергер сидать просто акула!

— Ну, и парень этот хорош. В каком видѣ явился.

Рѣзанов прошелся по комнатѣ, остыл, пріоткрыл дверь.

— Прощу, господа.

От сердца сразу отлегло. Лейтенанты, оба рослые, представительные — Хвостов на полголовы выше Давыдова, тоже бородастые, но аккуратно причесанные и одѣтые в парадные мундиры, вошли браво и вытянулись у двери. Эти двое дѣйствительно выглядели офицерами императорскаго флота. Рѣзанов вспомнил, что гдѣ-то мельком встрѣчал их в гостиных Петербурга, гдѣ за ними была репутація дѣльных офицеров, хоть питухов, ловких танцоров и таких же ферлакуров.

— Честь имѣем явиться вашему высокопревосходительству, — начал старшій Хвостов.

Рѣзанов прервал его, протягивая руку тому и другому.

— Здравствуйте, господа. Помнится, встрѣчал вас гдѣ-то в Петербургѣ. Если не ошибаюсь, вы — Николай Александрович Хвостов, а вы Гаврил Иванович Давыдов? Очень рад. Присаживайтесь.

Офицеры сѣли, треуголки по формѣ под лѣвой мышкой, концы сабель под одинаковым углом.

— Ваше высокопревосходительство, — начал Хвостов, — не взыщите, просим покорно, что не явились представиться на «Надежду», немедля по приходѣ ея, но...

— Я знаю, — снова перебил Рѣзанов. — По случаю карантина капитан Крузенштерн никого не пускает к себѣ на корабль, да и хорошо дѣлает. Давайте знакомиться. Нам предстоит поплавать немало вмѣстѣ. Довольны ль вы службой в Компаніи?

Лейтенанты слегка скосили глаза друг на друга, но удержались от соблазна посовѣтоваться взглядом.

— Изрядно, ваше высокопревосходительство.

— Служба здѣсь может не столь видной казаться, как в флотѣ военном, но она не менѣ полезна отечеству, нежели служба флотская. И могу вас завѣрить, господа, что ревность ваша к исполненію долга службы и обязанностей, кои я на вас возложить намѣрен, будет мною замѣчена и до свѣдѣнія собственнаго его императорскаго величества доведена.

Офицеры поклонились, крикнув.

— Вот о чем хочу вас спросить для начала знакомства нашего, — продолжал Рѣзанов. — Отвѣчайте прямо, не боясь, что сор из избы вынесен будет. Я понимаю, сам военным был. И теперь мнѣ нищут, — показал он на стопку писем на столѣ, — да и в Петербургѣ не раз слыхивать и читать приходилось, будто между Александр Александровичем Барановым и господами офицерами склока завелась. Жалуются господа офицеры, будто господин Баранов в морское ихнее дѣло суется, ничего в оном не смысла. Господин же Баранов обижается, что господа офицеры законных требованій и повелѣній его исполнять не желают. Положа руку на сердце, какое ваше к сему дѣлу причастіе и отношеніе?

Опять отвѣтил старшій Хвостов, для большей убѣдительности прижав к сердцу треуголку.

— Ваше высокопревосходительство, вѣрьте чести, мы с Гав-

рил Ивановичем к сим дрязгам никакого касательства не имѣем. Да и как могли б мы, ежели прибыв на Кадьяк в концѣ 1802-го, мы скорѣе же обратно в Кронштадт с партией мѣхов пошли по приказу господина Баранова.

— Вот как? Я этого не знал.

— Как же? Мы ж здѣсь шесть мѣсяцев теперь едва ль, так что и времени-то не было как слѣдует с Александр Александровичем побраниться, если б и хотѣли!

— Так, так. Приятно слышать. А, скажите, извѣстно ль вам что-либо о разрушеніи крѣпости на Аляскѣ с поселком Ново-Архангельским?

— Слышать — слышали от лейтенанта Машина и других, оттуда приходивших, подробностей же не знаем.

— Так. Кстати, каков мореходец сей лейтенант Машина? Вѣдомы ли ему морскіе пути на Кадьяк и Аляску? Опять же прошу сказать по чистой совѣсти. Вѣдь он меня везти туда должен. Так могу ль ему довѣриться? Не о себѣ забочусь — о дѣлѣ, государем императором на меня возложенном.

Помолчав, Хвостов нашел отвѣтъ на трудный вопрос.

— Да не секрет, ваше высокопревосходительство, лейтенант Машина сам о том всѣм говорил, что карт сѣверной части Тихаго океана он не вѣдает, как слѣдует быть, и что по сей причинѣ, командуя минувшей зимой кораблем, груженным припасами из Охотска для поселка господина Баранова, он дальше острова Уналашки, одного из близких Алеутских, пойти не мог и на Уналашкѣ зимовать остался.

— Лишив людей господина Баранова в глуши Аляски припасов? Куда ж он их дѣвал?

Хвостов пожал плечами.

— Кормиться самому с командой на Уналашкѣ надо ж было зимой. Съѣли, вѣрно.

— Так, так. Отмѣнно хорошо. А скажите, каковы подчиненные сему лейтенанту прочіе офицеры на «Марію» — Борисов, Карпинскій, Суков? Столь же мало опытные в сих водах мореходы, как и начальник их?

— Примѣрно так, ваше высокопревосходительство. Они здѣсь не так давно плавают.

— Вам же пути на Кадьяк извѣстны? Вы же корабли туда уж водили?

— Да как сказать, ваше высокопревосходительство, — опять затруднился Хвостов.

— Ну, вы скажите, Гаврил Иванович.

— Корабли водить-то, водили. Да вѣдь тоже вновѣ мы тут, ваше высокопревосходительство. Разбираемся, впрочем.

Рѣзанов помолчал, взял перо и лист бумаги и написал нѣсколько строк.

— Ну-с, благодарствуйте, господа. Обоих вас перевозжу на бриг «Марію»: вас, Николай Александрович, как старшаго в

службѣ, капитаном, вас, Гаврил Иванович, старшим офицером. Будем плавать вмѣстѣ.

— Покорнѣйше благодарим, ваше высокопревосходительство.

— Лейтенанта же Машину с прочими перевозку для пользы службы на «Феодосію» пока: им тут на коротких рейсах сподручнѣе будет плавать. Вступайте в новыя обязанности сей же час, сдавъ должности ваши Машину с прочими. Вот приказ о сем. Я было думал передохнуть здѣсь нѣсколько дней, да уж потянуло в новый вояж в компаніи столь бравых моряков.

Лейтенанты опять поклонились, крикнувъ.

— Много благодарны, ваше высокопревосходительство.

— И помните, господа: служба ваша в сем глухом краю на виду будет. Весьма возможно также, что дам вам скоро случай и в боях отличиться с выслугой в чинах и прочим, как то по статуту военного времени полагается. Но о сем послѣ. С Богом! Да скажите Машину, пусть уж сегодня не является. Познакоимся, как слѣдует, как-нибудь другой раз.

Лейтенанты вышли, не чуя под собой ног.

— Слава Те, Господи, прокатило-проѣхало! — возрадовался Давыдов, выйдя на улицу. — С назначеньцем вас, Николай Александрович!

— А ты говоришь.

— Выходит, с понятіем камергер.

На душѣ у Рѣзанова тоже совсѣм просвѣтлѣло. С такими помощниками, как эти два лейтенанта, уже можно было думать об осуществленіи задуманнаго плана насчет Японіи. Пусть даже у Баранова не окажется флота, — он при себѣ велит построить хоть два корабля, вооружит их и прошлет под командой Хвостова и Давыдова в карательную экспедицію и таким путем, если не удастся мирным, добьется цѣли.

Перемена отрицательных впечатлѣній на положительныя сразу произвела в Рѣзановѣ разительную перемену. Даже и выглядѣть он стал лучше. В нем уже бурлила новая жажда дѣятельности.

В этом настроеніи он сѣлъ писать государю, легко нашел теперь вступительныя фразы и остался доволен своим письмом. В полученной в Нагасаках пощечинѣ признаться, конечно, пришлось, но это сообщеніе потонуло в свѣтѣ новых бодрых планов. Отвѣтив так же бодро на другія письма, он передал корреспонденцію зашедшему за нею Фридрицкому. Проведя затѣм приятно вечер в простой, радушной семьѣ добродушной четы Крупских и в первый раз отлично выспавшись послѣ долгаго времени, он проснулся на слѣдующее утро шолный рѣшимости, не откладывая, вступить в новую полосу творческой дѣятельности. И несмотря на уговариванія майора и гостепріимной толстухи Марфы Тимофеевны, убѣждавших его отдохнуть у них хоть нѣсколько дней, он в то же утро переѣхал на бриг.

«АМЕРИКАНСКІЙ МУЗЕУМ».

На «Маріи» был полный хаос. Под командой Машина судно пришло в большой упадок. Бриг утонул в грязи. В жилых палубах стояла такая вонь, что Рѣзанова отшатнуло, когда он заглянул туда. Пассажирами были ссыльные, послывавшіеся в Русскую Америку на принудительныя работы на три года, опустившіеся промышленники, разорившіеся золотоискатели с рѣки Анадырь и всякія темныя личности, устремившіеся в новый край в поисках крупных заработков и приключеній. В большинствѣ все это были закоренѣлые алкоголики, носившіе явные признаки венерических болѣзней и цынги. Команда брига производила не лучшее впечатлѣніе.

По приѣздѣ на «Марію» Рѣзанов с помощью Хвостова и Давыдова немедленно принялся наводить строгіе порядки, и скоро бриг засіял настоящей морской чистотой. Команда была подтунута. Переселенцев и прочих пассажиров заставили вымыться, выскоблить палубы, выпарить насѣкомых, бѣгом являться на переключки утром и вечером и строиться по-военному. И, добившись чистоты и порядка, Рѣзанов с интересом пустился в новое трудное трехмѣсячное плаваніе, о котором еще недавно, во время своей болѣзни послѣ нагасакскаго пораженія, он спокойно подумать не мог.

Как главный начальник, он зажил замкнутой жизнью в своей каютѣ, но не скучал: строил планы переустройства Русской Америки и, чтобы не быть без языка среди туземцев ея, изучил с помощью одного из пассажиров, алеута промышленника, алеутскій язык. С лейтенантами и доктором, в помощи котораго пока не нуждался, общался рѣдко, и тѣ, найдя общіе интересы, объединились в отдѣльную дружную группу. Лангедорф, не говорившій по-русски, был силен во французском, на котором лейтенанты говорили свободно, и они служили ему переводчиками. Всѣ трое были почти одинаковаго возраста и всѣ трое любили кутнуть и повеселиться — лейтенанты шибко, доктор — поскромнѣе. Объединил их и нѣкоторый дух оппозиціи Рѣзанову, который, во избѣжаніе повторенія случившагося на «Надеждѣ», сразу установил строгую дисциплину, принявъ по отношенію к подчиненным тон начальника, всякое приказаніе котораго должно исполняться безпрекословно.

На первых порах плаваніе было унылое. Нѣсколько недѣль бриг медленно шел в густом туманѣ, скрывавшем солнце, под жалобный стон кружившихся кругом него чаек. В такіе дни Хвостов сам стоял на рулѣ, ловко лавируя между частыми подводными скалами. Иногда выдавались полосы сплошных дождей, тянувшіеся по нѣсколько дней. С конца іюля начало проглядывать солнце часа на два в день, и когда оно скрывалось, туман долго свѣтился всѣми цвѣтами радуги.

В эту пору бриг, еле двигаясь, стал подходить к Прибыловым

островам, открытым в 1786 году шкипером Григорія Ивановича, Герасимом Прибыловым, и 1-го июля вошли в гавань острова св. Павла, знаменитаго скоплением весною и лѣтом величайшаго в мірѣ количества котиков, доходившаго до милліона. Один этот остров мог представить неисчерпаемый источник богатства для Компаніи, если бы американцы-янки из Новой Англїи, англичане, да и мѣстные промышленники алеуты, привезенные сюда еще Шелеховым, не истребляли этот источник с преступной небрежностью. У самцов, не трогая шкур, шелеховскіе алеуты только вырѣзывали половые органы, которые в сушеном и измельченном видѣ сбывали за большія деньги в Китай, гдѣ порошок этот высоко цѣнился в качестве средства для омоложенія. Как Рѣзанов узнал, в один только день за недѣлю до его прибытія было таким образом истреблено до тридцати тысяч самцов, трупы которых гнили на берегах, издавая невыносимое зловоніе. Произведя подробное дознаніе, Рѣзанов приказал перевезти всѣх мѣстных промышленников в другія владѣнія Компаніи, несмотря на их слезныя мольбы.

Всюду, гдѣ на своем пути Рѣзанов приставал для обслѣдованія промыслов и быта промышленников, неожиданное появленіе этого высокаго, бритаго, скупого на слова челоувѣка с холодными синими глазами производило на туземцев огромное впечатлѣніе. Русскіе промышленники на службѣ у Компаніи раболѣпствовали пред царским посланцем и по мѣрѣ этого раболѣпства, туземцы, в свою очередь раболѣпствовавшіе пред промышленниками, судили о могуществѣ царя и его посла.

Производя дознанія о положеніи промысловаго дѣла и быта туземцев и промышленников, Рѣзанов иногда выступал в эффектной роли судьи праведнаго, награждающаго щедро за добро и безпоощадно карающаго за зло, как это случилось на островѣ Уналашка из группы Алеутских, котораго туземцы очень расхвалили за гуманное и справедливое к ним отношеніе. В отвѣтъ на это, Рѣзанов тут же приколол к груди Ларіонова золотую медаль. А когда один туземец пожаловался, что промышленник Куликалов обидѣл его жену, Рѣзанов, разобрав дѣло, объявил приговор по указу царя: обидчика обнажить, наказать плетью, потом заковать в кандалы и с ближайшим кораблем отослать в Иркутск для дальнѣйших суда и наказанія.

Лангсдорф, недавній студент и бурш до мозга костей и до извѣстной степени либерал, считавшій Россію страной варварскаго абсолютизма, относился критически к разслѣдованіям Рѣзанова. Он вздумал сам искать правду о дѣятельности крупнѣйшей в Россіи пушной компаніи, пайщиком которой состоял сам царь. И пока Рѣзанов вел свои разслѣдованія, Лангсдорф за его спиной стал вести свои, причем переводчиками служили ему прїатели-лейтенанты. Таким шикантным матеріалом нѣмец хотѣлъ воспользоваться для своей книги о Россіи, которую собирался издать по возвращеніи в Германію. Случайно узнавъ об этом, Рѣзанов распекалъ доктора

и дал нахлобучку лейтенантам. Доктор, человек по существу мелочной, обидѣлся и глубоко затаил свою обиду.

**
*

С особенным интересом ждал Рѣзанов остановки на Кадьякѣ. Тут когда-то стоял первый поселок Шелехова Три Святителя. Тут же, но на другом мѣстѣ, Баранов построил свой поселок Св. Павел. На Кадьякѣ жил начальник этого огромнаго острова, титулярный совѣтник Иван Иванович Ланнер, раньше служившій по губернской администраціи в Иркутскѣ. О Баннерѣ у Рѣзанова были свѣдѣнія, как о человекѣ очень дѣловитом, развитом и честном, на котораго можно было вполне положиться. Послужив немало с Барановым, он должен был хорошо знать его, и Рѣзанов рассчитывал как слѣдует разспросить Баннера, чтобы составить себѣ болѣе ясное представленіе об этом повидимому незаурядном человекѣ, о котором ходили самые разнообразныя толки. В Петербургѣ Баранов был объектом нескончаемых жалоб. Король Сандвичевых островов, как мы знаем, высоко цѣнил ум и административныя способности «короля Аляски». Какая большая сила был Баранов, чувствовалось уже в Петропавловскѣ. По мѣрѣ приближенія к Аляскѣ, эта сила все болѣе возрастала в своем значеніи, и имя Баранова начинало произноситься наряду с именем Бога. Туземцы-дикари произносили это имя со страхом и благоговѣніем, промышленники с восторгом, и монахи, как Рѣзанов помнил еще со времени пріѣзда алеутской депутаціи с жалобами к Павлу, с омерзѣніем. Даже о внѣшности Баранова ходили самыя противорѣчивыя слухи. Алеуты говорили, что он огромнаго роста и дороден. Монахи утверждали, что он жилистый человекъ съ повадками лисы. И кто бы ни говорил о Барановѣ, его имя всегда вспоминалось в связи с женщинами и водкой. Один промышленник на разспросы Рѣзанова так любовно резюмировал характеристику Баранова:

— Одним словом, наш Александра Лександры человекъ не другим чета. Ведро водки ему, что другому стакан, и пьян не бывает. А до дѣвок страх, как лют: прямо дюжинами их портит.

В гавань Св. Павла вошли в серединѣ августа. Рѣзанов надѣялся встрѣтить на Кадьякѣ гораздо болѣе благоустройства, чѣм на других островах. По словам покойнаго Григорія Ивановича, тысячи туземцев были обращены тут в христіанство еще лично им и обучены русскому языку еще в царствованіе Екатерины. И поселок должен был быть тут построен с «широкими улицами» и с площадью «для народных гуляній». По разсказам того же Григорія Ивановича тут была настоящая верфь, на которой Баранов построил свой первый фрегат, названный им «Феникс». И не даром Рѣзанов вез сюда свои обширныя коллекціи, чтобы основать тут первый «американскій музей». Правда, по мѣрѣ приближенія к Кадьяку все чаще вспоминалась склонность покойнаго Григорія Ивановича к преувеличенію. И на разспросы о

степени цивилизаціи на Кадьякѣ, одинъ англійскій шкипер, встрѣченный въ порту Уналашки, какъ ушатомъ холодной воды облилъ Рѣзанова.

— Цивилизація? На Кадьякѣ? Хо, хо! Вотъ сами посмотрите, какія тамъ цивилизаціи!

Однако, хоть элементарное благоустройство въ этомъ тогдашнемъ главномъ центрѣ Русской Америки Рѣзановъ все же надѣялся найти.

По началу все вышло честь честью. При приближеніи «Маріи», маленькія портовые пушки дали салютъ. На пристань прибѣжали Баннеръ въ треуголкѣ и монахи въ шоломъ облаченіи, еще привезенномъ изъ Петербурга, старые знакомые Рѣзанова, Афанасій, Германъ, Іосифъ и Нектарій, попросившіе высокаго гостя въ церковь на молебенъ. И тутъ пошло открываться убожество быта кадьякскаго. Церковь во имя Воскресенья Христова поражала бѣдностью. Каждодневное облаченіе было ветхое, утварь убогая, свѣчей и церковнаго вина вовсе не было, въ лампадахъ горѣлъ чадный тюлений жиръ. Изъ церкви монахи просили высокаго путника зайти къ нимъ. Извинились только, что угостить нечѣмъ, — даже щепотки чая не нашлось, не говоря ужъ о сахарѣ. Рѣзановъ послалъ на «Марію» за чаемъ, сахаромъ и кое-какой ѣдой и привелъ монаховъ въ восторгъ, подаривъ имъ нѣсколько фунтовъ чаю и сахару.

За чаемъ они подробно рассказали о своемъ житьѣ-бытьѣ со времени пріѣзда. Сначала хоть не голодали, пока хватало припасовъ, запасенныхъ еще Шелеховымъ подъ наблюденіемъ Рѣзанова, но обстановка жизни была очень тяжелая. Архимандриту Іоасафу Баранову приспособилъ отдѣльное помѣщеніе въ избѣ для засолки рыбы, остальные монахи жили съ промышленниками и рабочими въ общемъ баракѣ сотни на двѣ человекъ. По ночамъ приходили туземки-проститутки, и свальный грѣхъ совершался на глазахъ у монаховъ. Особенно страдалъ отъ этого соблазна іеромонахъ Ювеналій, человекъ среднихъ лѣтъ могучаго здоровья. Когда озорныя женщины узнали, что красивый монахъ дѣвственникъ отъ рожденія, онѣ стали прибѣгать ко всякимъ ухищреніямъ, чтобъ соблазнить его, отъ которыхъ онъ убѣгалъ, прячась отъ людей и изнуря себя тяжелой работой.

Миссіонерство монаховъ развивалось успѣшно. Уже въ первые два года по пріѣздѣ крещено было на Кадьякѣ, другихъ островахъ и на Аляскѣ, свыше шести съ половиной тысячъ дикарей и браковъ поѣнчано свыше полутора тысячъ. Въ виду такой успѣшной дѣятельности миссіи, синодъ, какъ Рѣзановъ зналъ это, исходатайствовалъ высочайшее повелѣніе на учрежденіе въ Русской Америкѣ самостоятельной архіерейской епархіи. Первымъ епископомъ кадьякскимъ назначенъ былъ архимандритъ Іоасафъ. Зналъ также Рѣзановъ, что Іоасафъ вскорѣ тогда же и погибъ, но подробностей, какъ это случилось, онъ не зналъ. Теперь монахи рассказали, что для посвященія въ санъ епископа Іоасафъ, въ сопровожденіи іеромонаха Макарія и іеродіакона Стефана, поѣхалъ въ Иркутскъ. На обратномъ пути онъ сѣлъ въ Охотскѣ на посланный за нимъ «фрегатъ» «Фениксъ», но до Кадьяка не доплылъ: «фрегатъ» пропалъ безъ вѣсти.

— Слух пущен был, — рассказывал Афанасій, — будто епископ наш с причтом и вся команда сего утлаго судна, пышно фрегатом звавшагося, жертвою смертоноснаго повѣтрія, кашля, кроваваго поноса и горячки в пути стала, и корабль, никѣм не управляемый, носился по волнам морской стихіи дондеже не разбился. Все может быть — одному Богу сіе вѣдомо. Разбиться же сему фрегату и без повѣтрія не трудно было, ибо шаруса на нем из всякаго стараго тряпья сшиты были, какое у господина Баранова нашлось. Понятно, винить его за это нельзя. Ибо корабль сей в большой скудости, из чего Бог послал, ему строить пришлось. Да не слѣдовало сего корабельнаго убожества за первым нашим епископом посылать.

Так погибли три монаха из восьми. Четвертаго, Ювеналія, постигла особенно лютая участь. Когда в 1797 году архимандрит Іоасаф получил приказ иркутскаго архіерея, чтобы часть монахов была послана для просвѣщенія язычников в разныя мѣстности Аляски, чтобы приготовить завоеваніе края Барановым, Ювеналій выразил желаніе отправиться в самую глушь, к дикому племени индѣйцев, жившему вблизи потухшаго вулкана и озера Илемны к западу от залива Кука.

Баранов пытался отговорить его.

— Выбрал ты себѣ самое гиблое мѣсто, о. Ювеналій. Отправляясь в Илемну, подвергаешь себя большой опасности. Народ там жестокій, кровожадный и к нам на особицу недружелюбный. Мой совѣтъ тебѣ выбрать мѣсто поспокойнѣе.

— Хочу попытаться сѣять слово Божье на нивѣ невспаханной, — отвѣтил суровый монах.

Вождю этих дикарей, Шакмуту, очень пришлось по душѣ ученіе Христа, он принялъ миссіонера дружелюбно и приказал построить для него избу с отдѣльной пристройкой, гдѣ бы монах мог молиться своему Богу. Вскорѣ он сам крестился и вмѣстѣ с ним крестилась вся подвластная ему деревня. Погубили Ювеналія женщины. Им казалось противоестественным, что такой красивый сильный мужчина живет без женщины. Их оскорбляло, что он пренебрегает ими. И онѣ рѣшили отомстить ему. Самая красивая и бойкая из них пробралась к нему в избу ночью пока он спал, голая легла рядом с ним и прежде, чѣм аскет смог побороть вдруг вспыхнувшую страсть, соблазнила его. Когда на слѣдующій день Ювеналій, внѣ себя от отчаянія за совершенный грѣх, шел к вождю, вызванный им, толпа женщин и дѣвушек встрѣтила его шутками и смѣхом. Он накинулся на них с бранью за случившееся. Тогда мужчины, обидѣвшись за женщин, которых монах в изступленіи своем неистово поносил, кинулись на него, разорвали и разрубили живого на части, и голову, руки и ноги его кинули в озеро. Молодой сын Шакмута, преданный Ювеналію, видѣлъ все это. Он спас его дневник, доставил его Баранову и рассказал, чему был свидѣтелем.

Послѣ этого случая, оставшимся в живых четырем монахам

ведѣно было ограничить свою дѣятельность одним Кадыком: они крестили и вѣнчали дикарей, учили их разводить огороды, учили дѣтей грамотѣ в убогой школѣ без всяких учебных пособій. Пытались они просить у Баранова книг для школы, церковных свѣчей, муки для просфор и вина, но ничего не добились и, кромѣ притѣсненій, никогда ничего от него не видѣли, и имени его спокойно произнести не могли. Жили большей частью впроголодь, питаясь рыбой и ракушками, пойманными самими. Тяжело было слушать все это Рѣзанову, нѣсколько лѣтъ тому назад увѣрявшему монахов съ слов Шелехова, провожая их в Русскую Америку из Охотска, что жизнь в Америкѣ они будут довольны и что в лицѣ Баранова они найдут внимательнаго и заботливаго начальника.

В сопровожденіи Баннера, Рѣзанов пошел знакомиться с поселком, который, как планировал на словах Шелехов, должен был представлять благоустроенное селеніе не в примѣръ русским деревням. Оказался он поселком, как все другіе, в нѣсколько десятков изб, гдѣ в голодѣ, грязи, невѣжествѣ жило около 350 человекъ русских промышленников и рабочих.

При таких условіях, как было учреждать тут «музеумъ» съ «ковчегомъ» и библіотеку! Но куда-нибудь надо же было дѣвать все множество книг, картин, эстампов, портретов, научных приборов, моделей кораблей и прочее добро, привезенное съ собой. Близ пристани нашелся сарай в щелях, сколоченный на скорую руку командой побывавшаго тут Лисянскаго для временнаго склада товаров. Баннер позвал плотников, тѣ надѣлали грубых полок, и съ помощью Баннера и его жены Рѣзанов разставил на них книги в дорогих переплетах, бюсты, по щелистым стѣнам развѣсил картины тогдашних русских знаменитостей, Левицкаго, Боровиковскаго, Шибанова и Щедрина, также портреты ученых и сановников, в углу примостил электрическую машину из царских подарков миадо.

— Ну, вот, и академія наук у нас на Кадыкѣ завелась. — пошутил Баннер, когда все было развѣшено и разставлено. — Коли придется без тѣлесной пищи сидѣть, будем умственной пробаваться.

Позвали монахов освѣтить «академію» в присутствіи всего населенія. Послѣ этого Рѣзанов, не очень увѣренно, сказал рѣчь о пользѣ наук и искусств и просил населеніе беречь их «музеумъ», присланный им стараніями «просвѣщеннѣйших людей вѣка». Потом, собрав отдѣльно женщин, он высказал увѣренность, что глядя на это хранилище наук и искусств, онѣ заведут у себя в домах чистоту и аккуратность, беря примѣръ съ хозяйства Баннеров. И жена Баннера, съ своей стороны, подтвердила эту увѣренность, пригласив баб приходиться к ней учиться домоводству.

Дом Баннеров был единственным сколько-нибудь благоустроенным жильем на Кадыкѣ. Тут за чаем при свѣтѣ большой плошки съ тюленьим жиром, вмѣсто лампы, Баннер, дымя чудесными турецкими папиросами из японских царских подарков, которыми

разодолжил его Рѣзанов, откровенно дѣлился своими впечатлѣніями о Русской Америкѣ. Знал он ее вдоль и поперек. Конечно, разговор вращался, главным образом, вокруг Баранова, который был началом и концом всего сущаго там. Рѣзанов, с своей стороны, передал все, что ему пришлось слышать об этом царѣ и Богѣ русскаго заокеанскаго царства.

— Все это, коли хотите, правда, — отвѣтил Баннер, выслушав Рѣзанова. — Но воспринимать правду эту надо, прикидывая к ней особую, здѣшнюю жѣрку. Александр Александрович далеко не праведник, но грѣхи его должны проститься ему за его подвиги. Правду говоря, им одним наша Компанія тут держится. А сколько ему за это страдать приходится, трудно себѣ и вообразить, не шожив бок-о-бок с ним среди страшной глуши здѣшной.

И он рассказал Рѣзанову подробную исторію жизни Баранова с дѣтских лѣтъ, не раз им слышанную от него самого.

Г л а в а 5.

КАРГОПОЛЬСКІЙ САМОРОДОК.

Родился Баранов в 1747 году в Каргополе в семьѣ некружнаго купца. Дѣловитость в нем обнаружилась с малых лѣтъ. Еще мальчиком научился он выдѣлывать шкурки малых звѣрей, которых бил и ловил в окружающих олоонецких лѣсах. «Мѣха» свои он посылал в Москву с торговыми обозами, ходившими по большой дорогѣ между Архангельском и Питером. Так с юных лѣтъ привык он дѣлать деньги, но жадности к ним не чувствовал, а охотно дѣлился ими со своими сестрами, когда онѣ тѣм бывали нужны на их наряды. Любил он еще в эту пору собирать минералы, с интересом спрашивая о них всѣх, кто мог сколько-нибудь удовлетворить его любознательность.

Потом, на четырнадцатом году, появился у него новый интерес, поглотившій остальные: он пристрастился к мысли овладѣть грамотой. Школы для простых людей в Каргополѣ не было, пришлось одолѣть грамоту самоучкой. Когда он одолѣл ее, его потянуло учиться дальше. И на шестнадцатом году Александр бѣжал в Москву с попутным торговым обозом. Там каргопольцы пріютили его и нашли работу у купца красными товарами сначала мальчиком на побѣгушках, а потом и приказчиком на жалованьи. Его он тратил, главным образом, на покупку книжек самаго разнообразнаго содержания и так набирался знаній. Между прочим, он прочел тогда книжку, переведенную с нѣмецкаго, о способах дѣлать стекло. Купил он эту книжку не зря, а потому что наслышался о Ломоносовѣ, которым очень интересовался, и знал о первой стеклянней фабрикѣ, построенной Михаилом Васильевичем с разрѣшенія сената, на землях, пожалованных ему императрицей Елизаветой в Капорском уѣздѣ. Вычитанныя свѣдѣнія о выдѣлкѣ стекла Баранов на всякій случай припрятал у себя в головѣ.

Скопив денег на службѣ приказчиком, Александр вернулся на родину, женился неудачно, прижил с женой дочь, затосковал от домашних неурядиц и пошел мыкать свою тоску по большим дорогам коробейником, прихватив с собою помощником брата Петра. Так, бороздя Россію, добрался он постепенно до Иркутска. Было ему тогда уже тридцать три года.

Встрѣча в Иркутскѣ с двумя предпріимчивыми людьми, русским и нѣмцем, коренным образом измѣнили судьбу коробейника. Нѣмец купил за безцѣнок кирпичный дом послѣ пожара. Дом самый удѣлѣл, но стекла во всѣх окнах были выбиты. Купить было нельзя — иркутскіе купцы ждали новую партию оконнаго стекла из заграницы. Фабрика Ломоносова занята была другим дѣлом — она производила цвѣтное стекло для нужд самого Ломоносова, для его мозаик.

Баранов рассказал нѣмцу, что помнил о выдѣлкѣ стекла из книжки, прочитанной в Москвѣ в юности. Дѣло было новое в Россіи, выгодное. И, не долго думая, нѣмец рѣшил открыть в своем домѣ, в компаніи с Барановым и другим русским, фабрику для выдѣлки стекла с промышленными цѣлями. Баранов был поставлен во главѣ дѣла. Оно быстро пошло на лад. Но сидячая жизнь в конторѣ скоро прискучила Баранову. Ему нужны были воля и размах.

Кругом в Сибири шибко развивался пушной промысл. Вспомнился интерес к пушнинѣ в ранніе годы, и Баранов завязал сношенія с промысловыми компаніями, бывшими пушного звѣря части в Сибири, но, главным образом, в новых тихоокеанских владѣніях Россіи. Понявъ, что промысел этот — золотое дно, Баранов вскорѣ рѣшил открыть свое дѣло на рѣкѣ Анадыри, на Камчаткѣ, гдѣ пушного звѣря, особенно драгоцѣнных соболей, было непочатое богатство, так как в этот далекій угол на сѣверо-востокѣ Сибири охотники пока проникали еще рѣдко.

Поручив своим компаньонам высылать ежемѣсячныя денежныя выдачи женѣ с дочерью в Каргополь, что он дѣлал регулярно с тѣх пор, как разстался с ними, Баранов накупил всякаго торговаго добра, чтобы открыть мѣновую торговлю с анадырскими чукчами, погрузил его на свою барку и пустился в далекій путь со своим неразлучным спутником, братом Петром.

Расчеты Баранова оказались вѣрны. В теченіе двух лѣтъ он с братом накопил цѣлую гору драгоцѣнной пушнины в обмѣн на бакалею, красные товары, ружья, порох, дробь и пули. Деньги наличныя всѣ ушли в это дѣло, но в перспективѣ были крупныя барыши по продажѣ мѣхов в Иркутскѣ и на китайской зимней ярмаркѣ в Маймачинѣ. Но тут случилось несчастье, разрушившее всѣ планы Баранова. При помощи им же проданных чукчам ружей, разбойники-чукчи напали на барановскій обоз с пушниной в глухой анадырской тайгѣ и разграбили его. Это было полное разореніе. Бросив почти пустую лавку на Анадыри на руки брата, Баранов с большими трудностями добрался до Охотска и запил. Мы

уже знаем, какую глухую дыру представлял Охотск того времени. Мѣсто для заповя было самое подходящее.

В это время, на счастье или, может быть, на несчастье Баранова, пришли на своих «Трех Святителях» Шелехов из Русской Америки, куда он ходил наводить порядок в промыслѣ, благополучію котораго все больше угрожали соперничавшія компаніи и иностранцы. Григорію Ивановичу во что бы то ни стало нужен был для Русской Америки управляющій, вѣрный, энергичный и безстрашный, который продолжил бы его завоеванія, перенеся их на материк Америки. Еще до того, как Баранов уѣхал на Камчатку, Шелехов, хорошо знавшій его по Иркутску, предлагал ему мѣсто управителя Русской Америки. Но тогда, собираясь заводить свое дѣло на Камчаткѣ, Баранов отказался рѣшительно. Воспользовавшись теперь тѣм, что он без дѣла, Григорій Ивановичъ принялся снова улаживать его, встрѣтившись с ним в домѣ охотскаго коменданта Іоанна Коха; оба, Шелехов и Баранов, знали его по Иркутску и теперь пристали у него.

— Прямо скажу вам, вы мнѣ сейчас нужны до зарѣзу, Александр Александрович, — говорил Шелехов, угощая Баранова американским ромом, рѣдкостным по тѣм временам в Сибири. — Да и вам мое предложеніе как будто кетати ѡнѣ. Вам новое дѣло искать надобно, а тут оно готовенькое само к вам в руки просится. И какое дѣло! Новую, можно сказать, російскую державу в Америкѣ создать, гдѣ вы царем и богом будете.

— А для чего? — спросил Баранов. — Чтоб вам и вашим пайщикам мощну набивать?

— Ну, нѣт, это взгляд невѣрный, — отвѣтил Шелехов. — Дѣло наше государственное, всеросійскаго значенія.

— Всеросійскаго?

— А то как же! Завоевав Кадьяк окончательно, прогнавъ от туда других промышленников, мы на Аляску перекинемся. Настроив там фортов, мы послѣ вниз по западному берегу Америки потихонечку сползем к гишпанской Калифорніи. Слыхали небось? О ней сказы наши старинные поминают. Там, говорят, молочныя рѣки в кисельных берегах текутъ, вѣщая птичка Гамаюн на апельсиновых вѣтках сидит и райскія пѣсни распѣвает, нашу с вами богатую судьбу вѣщая.

— Красно и вы шюете, Григорій Иванович, — ухмыльнулся Баранов.

— Вѣрно говорю вам. Богатѣйшая страна. Хлѣбница всемірная. Ставъ в ней хозяевами, мы всю Русскую Америку, всю Сибирь гишпанским хлѣбом накормим. И не в этом только суть государственная нашего дѣла. Тут, в Америкѣ, большая у нас политика выйдет. Англичанка сильно на сѣверо-запад Америки прет, куда и мы мѣтим. В промысел наш суется, новыя мѣста, русскими открытыя, в англійскія оборачивает. Вот не так давно тому англійскій капитан Кук по приказу ост-индской компаніи новыя русскія береговыя мѣста обходил, на карту их намѣчал и англійскія

названія им давал. Гдѣ наша Нутка была, мыс короля Георга оказался, Чукотскій мыс наш в Кукставны у него угодил. И многія другія наши мѣста в такіе кукставны попали. Денной грабеж, можно сказать. Но тягаться Россіи с Англійей в такой дали невмочь. Кишка слаба. Россія Турціей занята. Надобно ей Боспором завладѣть, чтобы русскій крест над Софіей в Константинопольъ воздвигнуть. А там ей англійскій флотъ поперекъ дороги стоит. Вот мы в этомъ Россіи и поможем.

— Какъ это вы Россіи в такомъ дѣлѣ помочь можете? — усумнился Баранов.

— А очень просто. Мы мало-по-малу здѣсь свою могучую компанію заведем на манеръ ост-индской. Какъ ост-индская в Индіи, так мы в Русской Америкѣ крѣпостей настроим, флотъ и армію свои заведем. И начнемъ тормозить англійчанку, силу ея слабѣть тут, пока Россія с ней на Боспорѣ справляется. Это ли не всероссійская государственная задача, Александръ Александровичъ? Эй, не провороньте, говорю, рѣдкаго случая. Такой разъ в жизни дается.

Барановъ продумалъ ночь, выпилъ поутру еще чарку душистаго рома и ударилъ с Шелеховымъ по рукамъ.

Не добромъ поминалъ онъ впоследствии эту встрѣчу. Она разбила всю его жизнь, здоровье отняла. Когда онъ в первый разъ поплылъ на Кадьякъ с партіей 52-хъ промышленниковъ-охотниковъ, страшная буря разбила его корабль. Обломки его прибило къ острову Уналашка. Люди остались живы, и имъ удалось спасти свой скарбъ. Вырывъ землянки, питаясь акульимъ мясомъ, они кое-какъ перезимовали, с завистью глядя, какъ рядомъ с ними в довольствѣ живутъ промышленники соперничавшихъ компаній Панова, Орѣхова, Киселева, Лебедева-Гасточкина, а также англійскіе и американскіе промышленники, приплывавшіе на отличныхъ судахъ, полныхъ припасовъ. Но Барановъ не терялъ времени даромъ. За зиму онъ овладѣлъ алеутскимъ языкомъ, построилъ 26 складныхъ байдарокъ изъ тюленьей кожи, натянутой на деревянныя основы, и поплылъ къ Кадьяку, забравъ с собою желѣзо и обломки с погибшаго корабля. На Кадьякѣ пришлось прожить почти в тѣхъ же условіяхъ, что и на Уналашкѣ, еще два года. Наконецъ, одна изъ его байдарокъ чудомъ доплыла до Охотска, и Шелеховъ успѣвши послать ему корабль «Орелъ», подъ командой англійчанина Шилдса, раньше служившаго в русскомъ флотѣ. с грузомъ продовольствія и строительныхъ матеріаловъ. Изъ этихъ матеріаловъ и желѣза с погибшаго корабля Барановъ кое-какъ смастерилъ свой первый корабль, который Шелеховъ в своихъ рапортахъ в Петербургъ пышно называлъ «фрегатомъ». Пять лѣтъ, проведенныхъ послѣ этого на Кадьякѣ, были временемъ упорной борьбы с иностранцами и соперничавшими русскими промышленниками и купцами, пока Барановъ добился, наконецъ, того, что они волей-неволей должны были согласиться слиться с компаніей Шелехова-Голицына.

Уже послѣ этихъ пяти лѣтъ жизни на дикомъ Кадьякѣ в голодѣ и крайнихъ лишеніяхъ могучее здоровье Баранова сильно сдало. Замучили ревматизмъ и подагра, скрючившіе его в три погибели. И

послѣ смерти Шелехова в 1795 году он твердо рѣшил отпроситься у Компаніи в отставку, чтобы вернуться в Сибирь привести дѣла в порядок, пока не стал совсѣм калѣкой.

А дѣла его были очень плохи. Брат Петр, продолжавшій вести промысел на Камчаткѣ, извѣщал, что иркутская стекольная фабрика пришла в упадок, должники, с которых причиталось свыше двадцати тысяч, объявили себя несостоятельными, не из чего стало высылать выдачи семьѣ и пришлось тронуть деньги, причитавшіяся Александру Александровичу с анадырского дѣла. Кромѣ того, пушная компанія Лебедева-Ласточкина предъявила иск к наследникам Шелехова, отвѣтчиком привлекли и Баранова, и ему пришлось поплатиться нѣсколькими тысячами.

И Баранов послал просьбу об отставкѣ. Отвѣта долго не было. Он пришел лишь в октябрѣ 1797 года, когда «Феникс» вернулся под командой мичмана Талина из Охотска, куда «фрегат» ходил достраивать внутреннія помѣщенія. Отвѣт был подписан новыми тринадцатью директорами преобразованной шелеховской компаніи. Выражая большое сожалѣніе по поводу его желанія покинуть службу, но входя в его положенія, директора с большой неохотой соглашались на его отставку. В случаѣ, если бы он стал настаивать на ней, они просили его сдать должность посланному на том же «Фениксѣ» на остров Уналашку для временнаго завѣдыванія им пайщику Компаніи, Емельяну Ларіонову.

Баранов вздохнул с облегченіем и поторопился написать Ларіонову, что просит его пріѣхать поскорѣй принять от него должность. Одновременно он написал Компаніи о своем рѣшеніи и кстаті просил прислать как можно скорѣе продовольствія на Кадьяк, так как населеніе начинало голодать. Письмам этим пришлось, однако, полежать: они пошли лишь весною с тѣм же «Фениксом», снова ушедшим в Охотск, чтобы привезти архимандрита Иоасафа, ѣздившаго для посвященія во епископство в Иркутск.

Ларіонов не пріѣхал. Как впоследствии оказалось, «Феникс» погиб на обратном пути из Охотска, и Ларіонову не на чем было приплыть.

Между тѣм, условія жизни на Кадьякѣ все обострялись. К болѣзням Баранова и всяким другим неприятностям прибавились интриги мичмана Талина, оставшагося с двумя другими морскими офицерами на Кадьякѣ. Это был человек неумный, напыщенный, злобный. Офцер из неудачных, он предпочел службу «у купцов» на далеком Тихом океанѣ службѣ флотской, хотя подобно большинству морских офицеров того времени он штатских снобировал, а купцов презирал. Оставшись на Кадьякѣ, Талин поступил в полное распоряженіе Баранова. С этим он помириться не мог, настроился против Баранова и, вмѣстѣ со своими товарищами, стал сѣять смуту, распространяя ни на чем не основанные слухи, что царству «купцов» в Тихом океанѣ пришел конец, что Русская Америка скоро перейдет в вѣдѣніе морских офицеров и что он уже назначен правителем ея, указ о чем новаго императора Павла

придет не сегодня-завтра. Соловецкіе монахи, тоже имѣвшіе зуб против Баранова, который их не жаловал, приняли сторону Талина и возстановили против Баранова свою паству. Таким образом, стараніями офицеров и монахов почва для бунта была подготовлена. В это время Баранов, рѣшившій перебросить дѣло на Аляску в виду того, что промысловый звѣрь стал убывать на Кадьякѣ, отдал приказ промышленникам готовиться в путь. Тогда изголодавшіеся и чуть не поголовно больные цынгой промышленники и рабочіе подняли против Баранова бунт. На его несчастье, он в это время слег, невыносимо страдая от ревматизма. Голодная разъяренная толпа окружила его хату, требуя, чтобы он вышел. Еле дбигаясь, он вышел и стал убѣждать людей успокоиться, обѣдая, что продовольствіе должно притти по его просьбѣ с часу на час. Но ярость голодных людей росла, толпа угрожающе надвигалась, считая его виновником своих несчастій, и готова была его растерзать.

В эти критическія мгновенія на горизонтѣ показался корабль. — Вот она — ѣда к вам плывет! — крикнул Баранов, собирая послѣднія силы, сам не вѣря чуду. — Кто ко мнѣ сунется, — пулю в лоб! Остальные будут накормлены через два часа.

Корабль оказался «Елизаветой» под командой Бочарова, посланной Компаніей с юбилейным грузом продовольствія и на нѣсколько мѣсяцев застрявшей в пути. На нем прибыл Иван Иванович Баннер, посланный Компаніей смѣнить Баранова, если бы он продолжал на этом настаивать. Но Баранов не стал, так как новости, привезенныя Бочаровым и Баннером были необычайны: Павел утвердил проект Рѣзанова об образованіи новой «Россійско-Американской Компаніи»; в воздаяніе заслуг Баранова он был награжден орденом Владимира, утвержден в должности главнаго правителя Русской Америки и сдѣлан пайщиком Компаніи, отчислившей на его долю нѣсколько паев.

Вѣсти эти влили новыя силы в Баранова. Согнутая спина его выпрямилась. Глаза гнѣвно метнулись в сторону толпы, молча слушающей вѣсти Бочарова и Баннера и слѣдившей благоговѣнно глазами, как они прикалывали на грудь Баранова пожалованную царем награду.

— Слышали? Поняли, кто ваш главный правитель? — крикнул Баранов. — На этот раз я вас прощаю. Но помните; за малѣйшее ослушаніе в будущем — смерть!

Баранов воспрянул духом. Назначив Баннера начальником Кадьяка, он через нѣсколько дней пустился в путь на двух кораблях и на двухстах байдарках к сѣверо-восточным берегам Аляски, чтобы там основать столицу новаго русскаго царства. Но счастье все еще было против него. Буря разбила нѣсколько десятков байдарок, и много людей погибло. С остатками их Баранов доплыл до огромнаго острова миль в сто пятьдесят длиною близ берегов Аляски, извѣстнаго тогда под именем Титка или Ситха, а впослѣдствіи названнаго в честь Баранова его именем. Выйдя на берег,

измученные люди бросились на землю и заснули. Их разбудили страшные крики мѣстных индѣйцев из племени Тлинкитов, колошей или колошан. Настоящіе краснокожіе черти по виду, индѣйцы эти, шускаясь в набѣг, еще больше уродовали себя: проводили по лицу продольную черту сверху вниз, раскрашивали одну сторону лица красной краской, другую черной или бѣлыми и черными квадратами, волосы вымазывали охрой или смолой и посыпали пухом, надѣвали рога и страшные большіе зубы, сверкающіе и острые, наводившіе панику на русских и алеутов. Услыхав теперь адскій вой этих колошей, алеуты из барановской партіи ринулись на утѣк в лѣс и попали прямо в когти им. Оставшись втроем с двумя промышленниками, Баранов отстрѣливался до утра. На разсвѣтъ он собрал уцѣлѣвших людей и уплыл на байдарках. Но скоро он вернулся, и день за днем стал все глубже проникать в новую страну в поисках удобнаго мѣста для крѣпости и поселка, днем продвигаясь, к ночи возвращаясь на байдарки. Найдя, наконец, подходящее мѣсто, Баранов приступил к расчисткѣ его. Сами стихіи, казалось, хотѣли предостеречь его, пытаясь прекратить работу: пошел ливень с градом — дѣло было в апрѣлѣ, — сильный вѣтер леденил лица, покрывая слоем льда одежды людей. Но работа шла. Снова примчавшіеся колоши стояли теперь смиренно в сторонѣ, наблюдая за дѣйствіями русских. Взобравшись на высокій пенек, Баранов обратился к индѣйцам с рѣчью на алеутском языкѣ, рассказал о величій и могуществѣ русскаго царя, непобѣдимаго и сильнѣйшаго из всѣх земных владык, приславшаго его, Баранова, сюда, чтобы учредить промысловый поселок. В заключеніе, он провозгласил колошей подданными этого великаго царя и предложил им жить в дружбѣ и мирѣ с ним. Горячая рѣчь произвела впечатлѣніе на вождя колошей, Катлеута. И он согласился дружелюбно уступить русским выбранный ими участок земли в вѣчное пользованіе в обмѣн на нѣсколько ниток бус и другія бездѣлушки. В тот же день топоры барановских людей весело валили огромныя сосны в два обхвата толщиной для стройки крѣпости и изб поселка, пока другая партія промышленников ходила на первую охоту на выдру.

Так возник на Аляскѣ первый русскій поселок и крѣпость, названные Барановым Форт св. Михаила. Скоро поселок разросся, и жизнь в нем стала налаживаться. В это время прибыла еще одна большая партія переселенцев из Сибири, посланная правительством под начальством Баннера для заселенія новаго русскаго края. Баранов поѣхал с Баннером искать мѣсто для постройки новаго для них поселка. Колоши узнали об его отсутствіи чрез своих женщин, охотно становившихся наложницами русских, чтобы шпионить за ними, ночью напали на крѣпость, и когда Баранов на слѣдующее утро вернулся, он увидал только кучи пепла да головы русских, воткнутыя на колья вокруг пожараща. Приходилось начинать дѣло сызнова. Тут вскорѣ подошла «Нева», посланная Рѣзановым с Гавайских островов. И с помощью пушек Лисянскаго,

с громадным трудом поднесенных на руках к самой крѣпости индѣйцев, Баранов, отдѣлавшись только раненой рукой в горячей схваткѣ, заставил Катлеута сдаться и навсегда покинуть свою крѣпость. Бок-о-бок с ней Баранов заложил новый форт и поселок, которым суждено было стать административным центром Русской Америки на нѣсколько десятков лѣтъ вплоть до конца ея существованія.

Так возникла столица Аляски Ново-Архангельск, извѣстный теперь по старинному названію острова, на котором он стоит, под именем Ситка, и таков был его основатель, купец Баранов, человекъ безпредѣльной отваги, энергіи и необузданнѣйших страстей, в ведрах водки и в объятіях сотен женщин искавшій утѣшенія в том, что поддался на уговоры Шелехова и зарыл себя на всю жизнь в дикой Аляскѣ.

— Ежели на общій аршин мѣрять, грѣхов у нашего Александра Александровича очень много, — заключил Баннер свой рассказ. — Но прежде, чѣм казнить его за них, надо подумать, не повинны ли в грѣхах его и другіе, завлекшіе его в эту гиблую страну ради своих барышей, из которых он сам грошем мѣдным не воспользовался. Уж что-что, а человекъ он честнѣйшій. И милый человекъ притом. Да вот сами увидите.

Н. Сергіевскій.

(Продолженіе слѣдует).

ДЪЛА И ЛЮДИ

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ БЕРЛИНА.

Главной сенсацией мировой политики наших дней все еще остается поражение Москвы на главном фронте советской холодной войны: германском.

Твердая и хладнокровная политика Соединенных Штатов, Англии и Франции принесла таким образом первый, безцѣнный плод. Советская блокада Берлина снята, — до каких-либо переговоров по существу. Воздушный американский флот, питавший Берлин, временно оставлен на мѣстѣ. Сближение между союзниками крѣпнет, и "Совет Европы" в Брюсселѣ уже образован; в августѣ будет созван первый совѣщательный парламент Европы в Страсбургѣ. Как пишет английскій "Экономист" (7-го мая)

"никто еще не знает, о чем именно будет говориться на этом совѣщательном собраніи; важно лишь, чтобы делегаты десяти различных націй научились там **говорить по европейски**".

Первая побѣда мирового общественного мнѣнія над вызывающей политикой Москвы, — итак, — одержана.

Два года назад — Молотов демонстративно покинул парижскую конференцію, угрожающе возстав против плана Маршалла. Год назад Москва отвѣтила на зарождение европейскаго западнаго блока — созданием "осаднаго положенія" в Берлинѣ. Всѣ послѣдніе мѣсяцы советы довольно недвусмысленно запусивали войной, — чтобы теперь пойти на попятный.

Поэтому, как ни велики их успѣхи на Дальнем Востоке, какіе бы сюрпризы ни готовили они на Ближнем, — ущерб советскаго мирового престижа ясен.

В подлинной, кровавой войне отступление на главном фронте нерѣдко побуждает сторону, оказавшуюся болѣе слабой и потому отступающую, маскировать свой неуспѣх гдѣ-либо в другом мѣстѣ, по линіи наименьшаго сопротивленія. Но главный фронт всегда остается главным!

Большевики это понимают. А кромѣ того не в их интересах оттягивать сейчас общее вниманіе к дѣлам китайским или славянским. Они налегают главным образом на подчеркиваніе своего **миролюбія**, — а одновременно селятся перетянуть нѣмецкія симпатіи на свою сторону, пытаясь доказать нѣмцам:

во-первых, что Москва — сильнѣйшая военная держава;

во-вторых, что снятіе берлинской блокады — акт сталинскаго великодушія по отношенію к нѣмцам;

и в-третьих, что наибольшія выгоды в ближайшем будущем нѣмцы могут получить для себя не от англо-саксонскаго Запада, а из рук Сталина, который-де может вернуть им часть германской территоріи, временно отошедшей к Польшѣ или к Чехіи.

Но всѣ эти попытки разбиваются, пока, об упорное германское недовѣріе, — упорное, ибо основанное на опытѣ.

БОРЬБА ЗА НѢМЕЦКІЯ СЕРДЦА.

Маршал Соколовскій, из Берлина перекочевавшій на страницы московской “Правды”, пишет по поводу четвертой годовщины побѣды над Гитлером, что побѣду эту одержали всецѣло большевики, и только они одни. Будто бы роль нынѣшняго “Западнаго блока” в войнѣ была ничтожной и притом **подлой**.

Статья Соколовскаго завершает собою длинный ряд статей, печатавшихся послѣднюю зиму в берлинской коммунистической печати за подписью бывших нѣмецких офицеров под заголовками: “Американская война никогда не состоится”, “Типичный американскій блефф” и — чаще всего — “Сильнѣйшая армія в мірѣ”.

Партийно-коммунистическая газета “Берлинер Цейтунг” писала, наприимѣр:

“Для нас нѣмцев важнѣе всего помнить, что во Второй міровой войнѣ германская армія была разбита Советским Союзом, и только им одним. Одною из форм устрашенія и провокаціи со стороны американцев является утвержденіе, что СССР не был бы в состояніи справиться с Гитлером без американских военных поставок, без высадки во Франціи и созданія так наз. второго фронта...”

“Факты говорят совсѣм обратное(!).

“Благодѣтельная роль, сыгранная Красной арміей в исторіи германской націи заключается в том, что она вовремя отвратила ее с того империалистическаго пути, по которому повели ее тоталитарные вожди... Она же создала для германскаго народа возможность вступить на новый путь, который один лишь может привести к длительному расцвѣту...”

“Уже к концу войны советская армія была несравненно сильнѣйшей в мірѣ. А сейчас и говорить нечего: она не одна, а представляет ядро военных сил мирнаго фронта, простирающагося от восточно-европейских народных республик до Китая включительно”.

ГОЛУБИ МИРА.

Одновременно московскіе заправилы подчеркивают свои миролюбивыя намѣренія. Вслѣд за весенним “конгрессомъ мира” в Соединенныхъ Штатахъ, такой же конгрессъ устроенъ былъ в апрѣлѣ, по почину Москвы, и в Парижѣ.

Эмблемой этого конгресса былъ бѣлый голубь, вырисованный с необыкновенной для взбалмошнаго художника Пикассо аккуратностью: (на первый взглядъ это казалось просто стилизованной фотографіей). Но стройность организациі и воинственность рѣчей этого страннаго “мирнаго” конгресса жутко напоминали съѣзды гитлеровцевъ в Нюренбергѣ. Сомнительный, театральныи вкус нѣкоторыхъ “номеровъ” (вродѣ негрскихъ пѣсенокъ Павла Робсона), массовая истерія “своей” публики, и стремленіе поразить весь міръ многочисленностью “мобилизованныхъ массъ”.

Цѣль конгрессистамъ была дана заранее: ихъ роль — не думать или обсуждать, а слушать, соглашаться и выражать восторгъ. Вѣдь они собираются не для того, чтобы искать примиренія различныхъ точекъ зрѣнія, а для того, чтобы продемонстрировать всѣмъ и вся свою монолитность, пугать массовой солидарностью.

Парижскій конгрессъ вышелъ однако “комомъ”. Хотя на немъ и не выступилъ никто, заранее своей благонадежностью неизвѣстный, но англо-саксонскіе делегаты, какъ бы совѣтофильски ни были они настроены, все же не сумѣли взять нужнаго тона: пропѣли свои партіи фальшиво, пуская временами опредѣленно либеральныхъ “пѣтуховъ”.

Такъ было с пресловутымъ мистеромъ Зилиакусомъ, который — разумѣется — ораторствовалъ противъ Атлантическаго пакта, но заслужилъ всего лишь нѣсколько хлопковъ публики, позволивъ себѣ назвать англійскую рабочую партію “демократическимъ валомъ противъ всякой войны”. Другой англичанинъ, Харвей Мур, осмѣлился говорить о несомвѣстности мирныхъ заявленій в Парижѣ и грандіознаго военнаго наступленія на Дальнемъ Востокѣ.

Зато нескончаемыми оваціями были встрѣчены совѣтскіе делегаты, от Эренбурга до митрополита Николая Крутицкаго, всѣ “вышколенные” и безупречно спѣвшіеся.

Цѣна этой лживой пропагандѣ, однако, невысокая. Русскій эмигрантъ Г. П. Федотовъ на устроенномъ в Америкѣ митингѣ (Лигой борьбы за народную свободу), подъ общія рукоплесканія, спрашивалъ:

“Что означаетъ тотъ миръ, который защищаютъ совѣты, сами ведя повсюду непрекращающуюся войну? Ихъ “миръ” — это когда Сталинъ бьетъ. Ихъ “война” — когда Сталина бьютъ. Ясно, что такой войны они не хотятъ, а хотятъ, подъ прикрытіемъ своего мира, “съѣсть” весь міръ, какъ артишокъ: по листику”.

Этот слабый, эмигрантский, русский голос не одинок. Ему вторят, с гораздо большим мировым резонансом, голоса англосаксов.

ЛОРД ВАНСИТТАРТ.

Старый борец за культурно-политическую ценность Запада лорд Ванситтарт выступил недавно в Парижѣ, в театрѣ Мариньи с докладомъ, на котором присутствовало немало представителей дипломатическаго міра. Ванситтарт разоблачал московскій агрессивный нахрап, прячущійся за миролюбивыми завѣреніями, и призывал не вѣрять Москвѣ, усиливать англо-французское сотрудничество и общій западно-европейскій блок.

Любопытными чертами характеризовал Ванситтарта, по этому поводу, "Обсервер", сближая фигуру блестящаго англійскаго политическаго дѣятеля с фигурой Жоржа Клемансо:

"Всякому, знакомящемуся со статьями или рѣчами лорда Ванситтарта в Палатѣ Лордов, невольно представляется свирѣпый тигр, готовый растерзать своего противника на куски. В дѣйствительности же нѣтъ болѣе благожелательнаго челоуѣка, чѣм этот неистовый полемист. Но в нем есть священный огонь негодованія, когда он сталкивается с нагло торжествующей ложью, будь она произнесена по-англійски, по-русски, по-нѣмецки или на любом другом языкѣ. Страстность его контр-атак тогда безудержна. Но это не мѣшает ему разбираться в отдѣльных людях тѣх народов, против которых направлены его полемическія стрѣлы. Так, он дружил с нѣкоторыми нѣмцами во время всей мировой войны, хотя дипломатическая его карьера и была сорвана его непримиримостью к Германіи в дни Мюнхена. Начав свою службу в Форейн Оффисѣ как личный секретарь лорда Кэрзона, Ванситтарт быстро выдвинулся, занимал отвѣтственные посты в Тегеранѣ Каирѣ, Стокгольмѣ и Парижѣ; но из-за Мюнхена в 1938 г., внезапно был удален Чемберленом с активнаго поста и назначен "почетным" совѣтником при Министерствѣ Иностранных Дѣл.

Подав, в 1941 году, в отставку, Ванситтарт был пожалован лордом, и с тѣх пор его выступленія в парламентѣ сдѣлали его своего рода "бѣлой вороной" среди флегматических старых лордов. Горячность его вошла в поговорку, а нынѣшняя его кампанія против Совѣтов будит умы и сердца всѣх, кто сталкивается с этим, необычайно энергичным и в 68 лѣт политическим борцом..."

“ИСТОРИКУС”.

Одного мнѣнія с Ванситтартом о Сталинѣ Жорж Морган, бывший профессор философіи, а затѣм первый секретарь посольства Соединенных Штатов (в Москвѣ. О замѣчательной статьѣ Моргана (под псевдонимом Историкуса), мы уже упоминали в январьской тетради Возрожденія”. Он, оказывается, “прочел в подлинникѣ все, что Сталин напечатал с 1-го января 1929 по 29-е марта 1948 года”. Вот итог этого доскональнаго изученія:

“Вопреки довольно распространенному мнѣнію, Сталин вовсе не безпринципный оппортунист (с которым так или иначе всегда можно было бы сговориться), а упорный, хотя и хитрый фанатик, готовый в любой момент повергнуть мір в новую войну, а затѣм, если нужно, и в слѣдующую, и так далѣе, пока коммунизм не воцарится повсюду”.

При этом Историкус отнюдь не отрицает присущей Сталину гибкости, но он с фактами и с цитатами в руках доказывает, что Всесоюзная коммунистическая партія под руководством Сталина, опираясь на теоретическія предпосылки Ленина, с необычайной послѣдовательностью и ловкостью прелѣдовала одну и ту же цѣль в теченіе свыше четверти вѣка. Но вокруг неизмѣннаго ядра теоріи, имѣется нѣсколько наслоев: “программа” или “генеральная линія” на опредѣленный отрѣзок времени, затѣм “стратегія”, в зависимости от состоянія сил и дислокаціи противника, и наконец “тактика” различных коммунистических партій в разных странах, в зависимости от требованій минуты.

Какая же это “теоретическая предпосылка”? спрашивается. Да та, отвѣчает Морган, которую особенно часто цитирует Сталин, когда опирается на авторитет Ленина для прибиранія к рукам своих молодцов. Вот эта фраза Ленина:

“Мы живем, — говорит Ленин *), — не только в государствѣ, но и в системѣ государств, и существованіе Совѣтской Республики рядом с империалистическими государствами продолжительное время невысказимо. В концѣ концов либо одно, либо другое побѣдит. А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкновеній между Совѣтской Республикой и буржуазными государствами неизбежен...”

От себя Сталин обычно добавляет: “кажется, ясно”.

Ясно-то ясно, но когда наступит этот конец? Пока что, за 32 года, коммунизм уничтожил только миллионы русских людей и нигдѣ не пустил корней, ни в Сербіи, ни в Чехословакии, ни в Болгаріи. Всего менѣе пустил он корни в самой Россіи, гдѣ сталинская власть держится тюрьмами и насиліем. Рѣшаю-

*) Цитируем подлинный текст, а не в обратном переводѣ с англійскаго.

щей схватки с главными державами мира московское политбюро, явно, пока избѣгает. Теперь, со снятіем блокады Берлина, намѣчается новая “передышка”.

И опять “старый, добрый Джо”, как не без лукавства назвал Труман Сталина, будет пытаться обойти своих “незадачливых” — как он думает — противников, и опять неудачно, и опять будет новый обман, и опять создастся новый тупик.

ГОРНЫЯ ПРОПАСТИ И ЗИГЗАГИ.

Вот, кстати еще одна цитата из Ленина, приведенная недавно Гр. Токаевым в его открытом письмѣ Уэллсу (“Русская Мысль”):

“Вести войну за сверженіе международной буржуазіи, войну во сто раз болѣе трудную, длительную и сложную, чѣм самая упорная из обыкновенных войн между государствами, и наперед отказываться от лавированія, от использованія противорѣчій интересов (хотя бы временных) между врагами, от **соглашательства** и компромиссов с возможными (хотя бы и временными, непрочными, шаткими) союзниками, развѣ это не безконечно смѣшная вещь!

“Развѣ это не похоже на то, как если бы при трудном восхожденіи на неизслѣдованную гору мы заранѣе отказались от того, чтобы итти иногда зигзагами, возвращаться иногда назад, отказываться от раз выбраннаго направленія и пробовать различныя направленія”.

Но при таком блужданіи по скалам и горным кручам, при упрямом карабканьи все вверх, к мировой революціи, можно вѣдь — (продолжая ленинское сравненіе!) — поскользнуться и оборваться, полетѣть вниз, в пропасть.

ДИМИТРОВ И КОСТОВ.

До сих пор срывались и летѣли в пропасть дѣятели Коминтерна хоть и очень видные, но, пока что, не сам Сталин.

Этой весной гибли, главным образом, славянскіе альпинисты. Новая политика Москвы — “лицом к нѣмцам” — может потребовать в недалеком будущем постановки на очередь вопроса о восточных границах Германіи и это вызывает теперь уже тревогу и броженіе в славянских кругах, близких к правящей коммунистической власти, но не совсѣм еще утративших совѣсть и національное чувство. Давно ли славянская идея перерабатывалась Москвой на всѣ лады, чтобы идейно оправдать порабощеніе славянских земель московским Политбюро? Теперь она уже отброшена. Слѣпое подчиненіе Сталину, Совѣтскому Союзу, — единственное, что требуется. Ни национали-

стическія ни общеславянскія тенденціи и уклоны внутри мѣстных компартій уже не терпятся.

В Болгаріи “за неискренность по отношенію к СССР” и “бонапартизм”, смѣщен вице-премьер Костов.



Анна Паукер.



Смѣщенный болгарскій вице-премьер Костов.

“Сам” Димитров вызван в Москву, “для лѣченія”, в безсрочный отпуск. По всѣм славянским странам идут “чистки”, а в Чехословакіи и массовыя выселенія чешских патриотов в СССР. Чистки идут и в Румыніи, гдѣ уволены вице-премьеры Савулеску и Войтек. Зато неукоснительно продолжается блистательное выдвигеніе вверх Анны Паукер.

ДИКТАТОР В ЮБКЪ.

Еще один шаг, и Анна Паукер, недавно замѣстившая профессора Траяна Савулеску на посту вице-премьера, с сохраненіем за нею поста министра иностранных дѣл Румынской Народной Республики, окажется фактически на мѣстѣ изгнаннаго ею молодого короля Михаила. Заимствуем поэтому из амери-

канскаго еженедѣльника "Тайм" подробности ея примѣчательной біографіи.

Анна Рабинзон родилась в 1893 году, в Бухарестѣ, в семьѣ еврея-мясника, поставлявшаго евреям "кошерное мясо". Начав свое ученіе в мѣстной "ветхозавѣтной" школѣ, способная и живая дѣвочка довольно быстро эмансипировалась и, под влияніем одного молодого адвоката, ознакомилась с доктриною социализма. Была нѣкоторое время преподавательницей древне-еврейскаго языка в столичной еврейской школѣ и лишь сравнительно поздно попала в университет, на медицинскій факультет, сначала в Бухарестѣ, потом в Цюрихѣ. Но, познакомившись там со своим будущим мужем, румынским коммунистом Марселем Паукером, она скоро бросила ученіе, чтобы всецѣло отдаться политикѣ. Вступила в 1921 году, в румынскую коммунистическую партію, насчитывавшую тогда не полную сотню членов (сейчас их 500.000), и год спустя уже была членом центрального комитета партіи.

Много путешествовала по Европѣ, бывая то в Прагѣ, то в Вѣнѣ, то в Берлинѣ. В Парижѣ она познакомилась с Морисом Торезом, с которым ее с тѣх пор и связывает неразрывная дружба.

Принявъ участіе в волненіях 1933 года в Румыніи, Анна Паукер организовала кровавыя столкновенія желѣзнодорожных забастовщиков с полиціей и войсками, была арестована, но бѣжала. Схваченная вторично, она была приговорена к десяти годам тюремнаго заключенія, но полностью его не отбыла: в 1940 году она была выпущена румынским правительством в обмѣн на одного націоналистическаго румынскаго дѣятеля, арестованнаго совѣтчиками в Бессарабіи.

Прибыв в Москву, Паукер встрѣтила там своего мужа, но лишь для того, чтобы вскорѣ затѣм донести на него совѣтским властям, как на "троцкистскаго заговорщика". Обстоятельства гибели мужа Паукер впрочем туманны, но факт тот, что жена вскорѣ оказалась одним из "сталинопопослушнѣйших" членов исполнительнаго комитета Коминтерна. Подпись ея фигурирует на постановленіи о мнимом "самороспускѣ" Третьяго Интернационала. Вышинскій очень ее оцѣнил и лично представил Сталину.

Ей было тогда поручено формированіе в СССР "дивизіи Владимиреску", составленной из плѣнных румын и вошедшей затѣм в ряды красной арміи. С чином полковника и командира одного из полков этой дивизіи она и вступила в "освобождаемую" Румынію. Ея стараніями были организованы там пресловутые "совромы", совѣто-румынскія смѣшанныя предпріятія; благодаря семи главнѣйшим из них румынская экономическая жизнь фактически всецѣло зависит от совѣтской власти.

Скоро послѣдовало и политическое порабоженіе страны московскими эмиссарами. Не говоря о королѣ Михаилѣ, лиде-

рах буржуазных и других румынских партій, жертвами послѣдовательныхъ “чисток” сделались такіе казалось преданные большевикамъ люди, какъ ген. Ласкар, бывшій дивизіонный командиръ самой Анны Паукер (ставшей тѣмъ временемъ министромъ иностранныхъ дѣлъ), городской голова Бухареста Дончеа, какъ и Анна — полковникъ Красной арміи и членъ центрального комитета румынской коммунистической партіи, Лукреціей Ратрасчану, бывшій генеральный секретарь этой партіи и многіе другіе. Всѣ эти люди обвинялись въ томъ, что ставили интересы Румыніи выше совѣтскихъ...

Теперь уже не одна Румынія, а всѣ Балканы, всѣ національные дѣятели южно-славянскихъ странъ трепещутъ передъ Анною Паукеръ.

Помѣщенный выше, болѣе чѣмъ выразительный портретъ Анны Паукеръ служитъ не только эффектнымъ контрастомъ къ напечатаннымъ въ этой же тетради “Возрожденія” портретамъ живыхъ пушкинскихъ героинь, но и лучшей символической иллюстраціей къ основному энергическому завѣту Ленина: “Какъ только мы будемъ сильны настолько, чтобы сразить **весь** капитализмъ, мы немедленно схватимъ его за шиворотъ” (Соч. т. XII, стр. 385).

НО МІР НАСТОРОЖИЛСЯ.

Къ счастью, болѣе чѣмъ тридцатилѣтній опытъ дипломатическаго общенія съ совѣтчиками не пропалъ даромъ. Правительства всѣхъ странъ міра знаютъ, съ кѣмъ имъ приходится имѣть дѣло въ Москвѣ. “Гангстеры, — говорилъ въ заключительномъ словѣ на судѣ Кравченко, — опасны только въ темныхъ аллеяхъ”. Гигантскій прожекторъ всемірной исторіи бросилъ на московское политбюро достаточно свѣта. Спрятаться отъ правды почти уже невозможно.

Прочтите въ демократическомъ, но зубастомъ эмигрантскомъ журналѣ “Народная Правда”, выходящемъ въ Парижѣ, статью П. Берлина “Национализація преступленій”. Историческія имена Макіавелли и Борджіа служатъ автору примѣрами использованія чисто-головныхъ приемовъ въ борьбѣ за власть. Но, — пишетъ г. Берлинъ — “человѣчество далеко шагнуло впередъ. Въ совѣтскомъ коммунистическомъ государствѣ среди владѣтельныхъ большевиковъ не только ожили нравы Борджіа и теоріи Макіавелли, но приступлено къ грандіозной, впервые въ міровой исторіи национализаціи преступленій, къ объявленію государственной монополіи на всѣ и всякія преступленія.

“Въ сравненіи съ этой национализаціей преступленій, распространяющейся на шестую часть свѣта, преступленія итальянскихъ князей на пространствѣ какого-нибудь русскаго уѣзда кажутся просто какимъ-то любительскимъ спектаклемъ”.

Главное остріе статьи г. Берлина устремлено на то, чтобы

доказать — (данными, почерпнутыми из дѣла Кравченко) — как свирѣпо расправляется совѣтская власть за самыя пустяшныя и даже мнимыя преступленія с милліонами своих подданных; и как в то же время, эта же власть для себя создала **монополию** на самыя страшныя и подлыя преступленія.

Но правительство гангстеров остается вѣрным тѣм же приемам и в международной, внѣшней политикѣ, только прикрывает их безстыдною, “благочестивою” ложью. Во второй тетради “Возрожденія”, под заголовком “Дипломатическій штаб Америки”, были уже даны портреты, біографіи и характеристики четырех американских “спеціалистов по рускому вопросу”, министра Ачесона и его помощников Джессопа, Кэннана и Болена. (Эти имена будут в ближайшіе дни все чаще мелькать на столбцах парижских газет). Обмануть этих людей, как и дипломатов французских или англійских, мистериу Вышинскому будет ыряд ли под-силу. Придется проявить на дѣлѣ добрую волю, чтобы избѣжать разрыва и добиться соглашенія. Это чрезвычайно желательно — и так вѣроятно и будет.

Слишком “одинокими” в мірѣ сдѣлали себя сегодня большевики.

СССР И ИЗРАИЛЬ.

До послѣдняго времени, дружественную Совѣтам дипломатическую позицію занимало недавнее государство “Израиль”.

“Почему так вышло?” — спрашивает в той же “Народной Правдѣ” видный гражданин новаго государства, старый и почтенный кіевлянин Ю. Марголин. — Он отвѣчает:

“Во-первых, еврейская общественность, как в Палестинѣ, так и за ея предѣлами, считала себя особенно обязанной Совѣтскому Союзу за дипломатическую поддержку плана раздѣла Палестины. Для многих евреев “Декларациія Громыко казалась важнѣе “Декларациія Бальфура”.

“Во-вторых, еврейскія массы были благодарны Сов. Союзу за защиту от Гитлера и сокрушеніе нацизма.

В-третьих, всѣ без исключенія, партіи и направленія еврейскаго государства не могли не быть благодарны за реальную помощь, оказанную в критическій момент арабскаго вторженія. “Глас народа” **сильно преувеличивал** эту помощь, но возможно, что лѣтом 1948 года, не получая оружія из С. Штатов и Зап. Европы, Израиль был бы разбит.

“Эти три обстоятельства объясняют “крен на восток” сіонистскаго корабля”.

Но г. Марголин считает этот крен недолговѣчным, а по существу гибельным для еврейства. Коммунизм принципиально равнодушен к судьбам отдѣльных національностей, а практически всегда враждовал с еврейским сіонизмом.

“На территоріи СССР было истреблено гитлеровцами

1½ миллиона евреев, которые нормально, если бы не сталинская политика, нашли бы себя, в большей или меньшей части, место в Палестинѣ.

“23 августа 1939 года, сталинско-гитлеровскій пакт выдал на истребленіе нѣмцам болѣе половины еврейскаго населенія Польши (до двух миллионѣв человек). Всюду, гдѣ евреи оказывались под ногами совѣтскаго правительства, оно топтало их равнодушно.

“Весной и лѣтом 1940 года, много сот тысяч польских и западных евреев были насильственно выселены в глубь Сов. Союза и распределены по мѣстам ссылки и заключенія, как преступники”.

В наши дни антисемитизм в Совѣтской Россіи достиг неслыханнаго еще напряженія. Совѣтское правительство стремится наглухо отгородить рабов — своих подданных “железным” занавѣсом от всего міра. Евреи оказывают этому отчаянное сопротивление, селятся сохранить связи с Западом; отсюда гоненія.

Помощь, оказанная Израилю Совѣтами год назад против арабов, диктовалась исключительно желаніем Москвы ликвидировать англійское вліяніе в Палестинѣ. Этого вліянія больше не существует. Но допустить возникновеніе в Палестинѣ базы совѣтскаго вліянія — гибель (заклучает г. Марголин). “Этого не будет никогда, пока существует в еврейском народѣ элементарный инстинкт самосохраненія”.

ПОДСЧЕТ СИЛ.

Послѣ подписанія Атлантическаго пакта и такими державами, как Италія, Норвегія и даже Данія, из коих двѣ послѣднія непосредственно находятся под угрозой совѣтских войск, никакими софизмами не докажешь, что сила на сторонѣ Восточнаго Блока, или, — точнѣе, — что в эту силу вѣрят так внимательно, “шкурно-заинтересованно” приглядывающіяся к ней западно-европейскія государства.

Прямой **военный** подсчет сил Западнаго и Восточнаго блоков, разумѣется, крайне труден для печати, не располагающей знаніем военных секретов сторон, а по отношенію к Совѣтам даже умышленно вводимой в обман. Еще труднѣе судить о роли в будущей войнѣ пропаганды по радіо или о будущих настроеніях Красной арміи и совѣтскаго населенія.

Но опыт Германіи так недавно еще, с ослѣпительной яркостью, доказал, что и военное превосходство само по себѣ недостаточно и непрочно, если под ним нѣтъ настоящей **экономической** базы.

А вот как расцѣниваются французскими экспертами (“Фигаро”) сравнительныя экономическія силы Западнаго и Восточнаго блоков:

Среднее годовое производство к концу 1948 года:	в США. и странах "пл. Марш.":	в СССР и его сателлитах:
Угля (в миллионах тонн) .	1.064	218
Стали „ „ „ .	85	18
Нефти „ „ „ .	124	26
Электрической энергии (в миллиардах киловатт) .	472	75
Тракторов	834.000	96.000
Автомобилей	5.687.000	525.000
Локомотивов	4.097	1.509

Разница, понятно, еще значительнее, если заглянуть в область производства продуктов широкого потребления, того пресловутаго "ширпотреба", о котором советскому обывателю всё уши прожужжали, но которого на его долю приходится столь плачевно мало.

Вместо этого, его "утешают" разговорами о русском прошлом и о советском будущем.

СОВЕТСКАЯ ПОХВАЛБА.

Знаменитое советское "догоним и перегоним Америку" не сходит со столбцов московской печати. Гоголевскаго Хлестакова они давно догнали и перегнали! Модный новый "посул" политбюро — строительство небоскребов. Еженедельник "Тайм" (2-го мая) так высмеивает эту затею: (2-го мая) так высмеивает эту затею:

"В Нью-Йоркѣ, рѣшили совѣтчики, можно побывать из любопытства, но жить бы они в нем не хотѣли. "Вечерняя Москва", бросив взгляд на "Манхатенскій силуэт", пренебрежительно находит, что это "всего лишь нагроможденіе плоских поверхностей, хаотическое смѣшеніе всѣх стилей, нѣчто вродѣ чудовищных сталагмитов... Жить в Манхатенских безглавых башнях не только неудобно, но и опасно. В вѣтренные дни лампы в них качаются и вода расплескивается... Обитатели Эмпайр Стэт Билдинг вряд ли испытывают большое удовольствіе, когда эта огромная постройка раскачивается по вѣтру, и можно явно различать жуткіе скрипы и треск".

Расхваливая собственные советскіе планы постройки в Москвѣ восьми новых "небоскребов" (от 16 до 32 этажей), "Вечерняя Москва" предсказывает, что московскій новый силуэт будет празднично-приятным для глаз — не чета американскому!

"Вот мы в вестибюлѣ новаго отеля. Мы выходим на открытую галерею и любимся Москвою. Как она измѣнилась. Изящная, легкая, но вмѣстѣ с тѣм величавая и

торжественная, вздымается она над міром в сіяніи своих рубиновых звѣзд. Волненіе охватывает сердце, волненіе и гордость за родину, за совѣтскій народ, за творческій



Взорванный в Москвѣ храм «Христа Спасителя».

труд, вдохновленный геніем величайшаго и самаго дорогого нам человѣка, товарища Сталина”.

Но так ли трудно москвичам “совладать” с требуемым от них восторгом? Вѣдь они же помнят первую совѣтскую попытку построить свой небоскреб в Москвѣ — Дворец

Совѣтов, который должен был стать величайшим и высочайшим зданием в мірѣ. “Памятник этот будет воздвигнут в сквэрѣ на берегу Москвы-рѣки”, говорилось в проектѣ, утвержденном Молотовым. “Сквэр этот будет расширен за счет имѣющаго быть снесенным храма Христа Спасителя”. И москвичи дѣйствительно увидѣли, как их любимый собор с золоченым куполом был взорван и сравнен с землею. Послѣ того вырыли гигантскую яму и начали закладывать фундамент. Но вдруг выяснилось, что грунт для такой постройки неподходящ, и всѣ работы были прерваны.

Было это пятнадцать лѣтъ тому назад, а яма так и осталась по сію пору. “Надо думать”, — заканчивает “Тайм”, — “что москвичи все же знают разницу между небоскребом и огромной ямой в землѣ”...

ЦАРСТВО ЛЖИ — И ЮБИЛЕЙ “ПРАВДЫ”.

Да, москвичи знают, что они давно сидят “в ямѣ”; ни прославленіям, ни обѣщаніям режима не вѣрят. Настолько, что в частных разговорах, когда хотят сказать “это ложь”, — усмѣхаясь, говорят: “пропаганда”.

Но, с нѣкоторых пор, в совѣтскую Россію стали проникать, на русском языкѣ, англо-саксонскія передачи по радіо. Эти передачи дѣлаются довольно умѣло; ограничиваются точным сообщеніем *фактов* международной жизни. Но и самые эти факты за послѣднее время для большевиков убійственны! Можно себѣ представить, какое ошеломляющее впечатлѣніе производят на жителей СССР эти первые, свободныя, громкія слова правды по радіо. Совѣтская власть ведет с ними яростную борьбу, всячески их заглушая, — так нѣмцы в дни оккупации Франціи заглушали англійское “Би-би-си”. В свою очередь Англія и Америка усиливают звучность волн. Эта “борьба воздушных волн” достигла теперь небывалого раньше напряженія.

Свою ложь совѣтчики, как извѣстно, именуют и всегда именовали “Правдой”. По этому поводу, американская печать не без удивленія отмѣтила, что московское радіо в началѣ мая возвѣстило о предстоящем празднованіи — (в этом году почему-то “с особым блеском”) — очередной, 37-ой годовщины со дня основанія газеты “Правда”, органа коммунистической партіи. При этом Москва подчеркивала: с какими цензурными скорпіонами приходилось тогда, при царском режимѣ, имѣть дѣло коммунистической газетѣ (основанной еще в 1912 году, до великой войны), легально существовавшей в Россіи.

Американцы были поражены: “Как! царское правительство допускало печатаніе “Правды”, почти неприкрытаго революціоннаго органа! Жизнь “Правды” конечно не была сладкой; цензурный контроль “душил свободную мысль”; но газета все же выходила, болѣе ими менѣе регулярно, и сыграла важную роль в распространеніи большевицких идей. Даже настолько, что “сам” Сталин назвал “Правду”

1912-го года краугольным камнем большевицкой побѣды 1917-го года”.

ЛЕНИНСКАЯ “ПРАВДА” И ГОРЬКІЙ.

В этом отношеніи, как и во многих других, дорогу большевикам к успѣхам и к власти несомнѣнно проложил, своим тогдашним литературным обаяніем и шумной славою, Максим Горькій. “Тот самый” Горькій, котораго в 1936 году, по утвержденію Троцкаго, отравил “тот самый” Сталин. Троцкій подробно разсказал об аптекѣ, устроенной начальником ГПУ Ягодой, фармацевтом по образованію; в аптекѣ была рѣдкая, драгоценная для Сталина коллекція сильнѣйших ядов; ими и отравляли “кого слѣдовало”, запугивая кремлевских врачей и дѣлая их орудіями преступленій диктатора.

Но за что же пострадал Горькій? — Вмѣшивался, путал карты, иногда сбивал с толку и самого Сталина; таково объясненіе Троцкаго.

Безспорно, Горькій в сталинской Москвѣ роль играл; всего за нѣсколько мѣсяцев до смерти именно он подбил Сталина произнести в Кремлѣ знаменитый тост “*За непартийнаго большевика*”, — тост, вызвавшій восторг в обывателях и бурю в нѣдрах коммунистической партіи.

— “Но Горькаго так цѣнил Ленин...” Да, Ленин, с его острым взором и циническим чутьем быстро схватил: какой клад для партіи — литературная слава Горькаго! Горькій проник в 900-х годах в петербургскіе вліятельные салоны (напр., баронессы В. И. Иксуль); помогал партіи получать разрѣшенія на изданія; в свой толстый журнал “Новая Жизнь” привлек в литературный отдѣл, всѣ громкія беллетристическія имена (на этом основаніи, кстати, г. Солоневич недавно объявил, в своей аргентинской газетѣ, будто повинны в русской революціи вовсе не неудачная война и не тыловой неизвѣстный солдат, и даже не политическія нестроенія, а “Бунин и Тэффи”!).

Но заслуги Горькаго были в прошлом. Теперь Горькій опредѣленно “мѣшал”, как раньше стал мѣшать Сталину и Ленин, тоже предназначенный, по увѣренію Троцкаго, к отравленію... Только Ленин умер сам, убивать не понадобилось.

Приведем в дополненіе интереснѣйшій отрывок из воспоминаній кремлевскаго врача Александрова (“Новое Русское Слово”):

“Отчеты о процессѣ д-ра Д. Д. Плетнева, присужденнаго к смертной казни, читались на страницах “Правды” и “Извѣстій” как дешевый бульварно-полицейскій роман. Отравленные ковры в кабинетѣ Менжинскаго, шкафчики с сильнѣйшими ядами в распорядкѣ Ягоды... Казаков, умерщвляющій по наущенію Ягоды вождей, проф. Плетнев, убивающій Максима Горькаго “сердечными средствами” и т. д.

Обстановка итальянскаго средневѣковья, нравы Византийской придворной жизни. В Москвѣ говорили открыто: “до чего наши вожди разложились! Со шприцами друг за другом бѣгают!”

БУРЕВѢСТНИК НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Фигура Максима Горькаго в прошлом, многими своими человѣческими чертами, и одаренностью, и напором, и живописностью напоминает другого “буревѣстника”, буревѣстника наших дней. Только этот новый буревѣстник пророчит большевикам бурю уже не торжества, а крушенія: Виктор Кравченко, “плюющій в глаза” Совѣтам.

— “Гордо рѣет между молній, над ревушим гнѣвным морем... Пусть сильнѣе грянет буря!” Он — на гребнѣ волны.

Времена, впрочем, измѣнились. В отличіе от Горькаго, Кравченко вовсе чужд романтизма, как чужда романтизму и вся та новая среда, та новая Россія, которую он представляет и *которая им гордится*. Динамизм, находчивость, отчаянная смѣлость, а вмѣстѣ с тѣм дѣловая хватка, любовь к риску — и талант удачливаго организатора... Таковы черты этого “героя нашего времени”, из Америки сумѣвшаго посадить в *Парижѣ* Москву на скамью подсудимых!

Подлинный “застрѣльщик русскаго освобожденія”, Кравченко ярко написал свою книгу, *превосходно организовал свой процесс*. “Да будет ему триумф” — не только от новой эмиграціи, но и от старой!

НАСТРОЕНІЯ НОВОЙ ЭМИГРАЦИИ.

Новая эмиграція, недавно вырвавшаяся из волчьих зубов большевизма и сейчас перебивающаяся кой-как, на скудном международном пайкѣ, по походному, в лагерях — поставлена судьбой в совершенно исключительное положеніе.

Она живет и дышет только своей политической накаленностью, жгучим, но пока безысходным, порывом к дѣйствию. Это — не сѣрл эмигрантская масса, поглощенная повседневною борьбой за существованіе и с трудом “раскачиваемая” вождями. Наоборот, именно рядовые бѣженцы Ди-Пи с яростным нетерпѣніем, от митинга к митингу, ищут и торопят вождей: “Да гдѣ же вы? что вы ничего не дѣлаете? когда же мы в Россію? когда же мы всѣ начнем дѣйствовать? *Вот как Кравченко!*”

Вернуться в Россію при большевиках? — лучше смерть. Тщетно московское радіо (на англійском языкѣ) возобновляет лицемѣрные жалобы “на ужасныя условія” жизни Ди-Пи не только в германских лагерях, но, будто бы, и на мѣстах новаго, далекаго разбѣянія. Администрація ИРО сочла даже нужным напечатать опроверженіе этих московских жалоб. Но, вѣрно, что устройство на новых мѣстах затягивается. Ни одна страна особенно не стремится принять к себѣ этих шумных, безпокойных бѣженцев, за исключеніем развѣ молодых квалифицированных рабочих. Да и многіе ли из Ди-Пи сами так уж рвутся за океан? Не предпочитают ли они, в душѣ, “досидѣть здѣсь” — до участія в русском освобожденіи?

Как же представляет себѣ новая эмиграція условія этого освобожденія?

“ПОЛИТИЧЕСКІЙ СПЕКТР ЗАРУБЕЖЬЯ”.

С живѣйшим, волнующим интересом берешься за недавно выпущенный в Германіи, на русском языкѣ, “Бюллетень освободительнаго движенія народов Россіи” (март-апрѣль 1949 г.).

Отлично и спокойно написана статья Ю. К. Мейера: “Объединеніе необходимо”. — “Мы похожи — пишет автор — на рабочих в туннелѣ. Пять лѣтъ мы упорно долбим каменную породу непониманія иностранцами взаимоотношенія наших народов — и большевистской власти. И вот теперь стѣна, стоявшая все это время перед нами, начинает осѣдать, дает трещины и свѣтъ начинает проникать с той стороны”.

Теперь-то и надо предстать нам перед иностранцами не врозь, а единым фронтом. Старая эмиграція привыкла к внутреннему политическому дробленію; новая, наоборот, стихійно тянется к *объединенію*. Под ея влияніем, старая ей уступает: “Русскіе социал-революціонеры и социал-демократы меньшевики выбрасывают из своего словаря слово “социализм” и говорят о своем *демократизмѣ*. Монархисты очищают свои ряды от политических примитивов и оголѣвших”...

Внутри эмиграціи слабѣют, по мнѣнію г. Мейера, идейныя разногласія, и даже личныя “амбиціи” (так ли это?). Вождей нѣтъ, нѣтъ людей, на имени которых сошлись бы всѣ; а искусственно создавать “имена” нельзя. Но если анти-коммунистическое объединеніе эмиграціи найдет отклик на родинѣ, то *будут и вожди оттуда*. И мы, скромные анонимы, сможем передать сдѣланное нами в твердыя и вѣрныя руки”.

Таково введеніе. Иначе подается “главное блюдо” Бюллетеня — статья Н. Мельникова: “Политическій спектр Зарубежья”. По мнѣнію г. Мельникова, для объединенія эмиграціи двѣ основных базы уже заложены, приняты. Первая — *борьба с коммунизмом*. Вторая — признаніе *демократизма* основной политической идеей. На этих двух базах и надо строить “единый патріотическій фронт”. И г. Мельников дѣлит всю политическую эмиграцію на два разряда: 1) признающіе начало единаго фронта и 2) его отвергающіе, — “сепаратныя” теченія.

К первым, достойным одобренія, (“пайнкам”) автор относит семь групп; ко вторым (“бьякам”) шесть. И тѣх и других он разбирает подробно.

В первом, “достойном” разрядѣ, основным ядром для собиранія сил должен бы стать, имѣет наибольшія к тому возможности, АЦОДНР, то-есть: антикоммунистическій центр освободительнаго движенія народов Россіи, — (он-то и выпускает “бюллетени”). Этот центр “уже вобрал в себя наиболѣе активную и боеспособную молодую эмиграцію”.

На втором мѣстѣ идет у автора РОВС, общевоинскій союз. РОВС по началу отгородился-было от новых эмигрантов, но впоследствии исправил эту ошибку. РОВС — *за* широкое объединеніе всей антибольшевистской эмиграціи, и он представляет сильную организацію, “имѣющую отдѣленія во всем мірѣ”.

Особо, хотя и в связи с “Ровсом”, г. Мельников называет англо-бельгійскую группу “Часового”. Орѣхов, Байкалов, Чаплин “и вѣро-

ятно (?) полковник Токаев". В укор этой группѣ ставится отношеніе "власовскаго" движенія к прошлому, в похвалу — принятіе почти полностью "программы" власовцев. Подробно обсуждается, далѣе, изданная за подписью А. В. Байкалова "программа мѣропріятія на переходный період", сейчас же вслѣд за крушеніем совѣтской власти.

На третьем мѣстѣ "Союз борьбы за свободу Россіи", — Мельгунов, Карташов, Херасков; о них — с большим уваженіем.

Дальше идут у автора "монархисты". Это — "явленіе сложное". — "Чухновскій монархизм" отвергнут (реакціонеры, и не поняли Кравченко!). Но "Высшій Монархическій Совѣт" — упомянут с одобреніем.

В заключеніе, довольно скомканно говорится о "туркуловцах", не проявляющих замѣтной дѣятельности, но могущих в нужную минуту дать "военных руководителей"; о группѣ "Русской Мысли", "самой распространенной зарубежной газеты демократическаго направленія", не дающей впрочем "достаточно матеріала для сужденія о ея политической программѣ". Наконец, о "солидаристах" (національно-трудоваго союз), отзыв сдержанный: "они полезны", но свою программу им надо пересмотрѣть.

Всѣ эти *положительныя* группировки должны бы немедленно слиться; это "вопрос ближайших дней" и Бюллетень удивляется, что этого до сих пор не случилось.

К отрицательным, "сепаратным" теченіям Бюллетень относит: 1) социалистов-меньшевиков, ибо они — марксисты; 2) "Лигу Борьбы за народную свободу" (Керенскій-Николаевскій); правда, автор тут же спохватывается и признает положительныя черты Лиги, открывая ей путь к спасенію: "*если она приблизится к позиціям единого фронта*", то может сыграть извѣстную роль, в противном случаѣ она умрет". Отвергнуто (3) и близкое к Лигѣ Керенскаго "россійское народное движеніе" (Р. Гуля), — на нем "слишком отчетливо замѣтна фабричная марка Соціалистическаго Вѣстника", да оно будто бы уже и кончилось, — "из него ничего не вышло". Рѣзко отвергнут (4) Союз андреевскаго флага, — САФ: это "монархисты-реакціонеры"! Забракованы (5) "русскіе анархисты", — канадскій журнал "Дѣло Труда" с его лозунгом: "к чорту всѣ политическія партіи!" Наконец, осужден и упомянут лишь для полноты (6) антирусскій "Прометей", он же "интернаціонал свободы": видимо, это кавказскіе сепаратисты, утверждающіе, будто большевизм и коммунизм типичны для русскаго народа и что "все зло", для Запада и для проживающих на территоріи Россіи малых народностей, — в характерѣ русскаго народа, по природѣ своей насильника.

Таковы общія построенія "Бюллетеня". Они явно непрочны, шатки и продиктованы не столько логикой жизни, сколько временными *повелительными* "настроеніями", которыми живет сейчас в лагерях "Ди-Пи" раскаленная, взбудораженная эмигрантская масса.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЪЧАНІЙ.

“*Два вѣка ссорить не хочю*” (А. Пушкин).

Может быть, самое любопытное в настроеніях новой эмиграціи — именно то, что она вспылчиво, с мѣста в карьер, отвергает самое дѣленіе эмиграціи на старую и новую; кто так говорит, уже их враг. Эмиграція — едина, но в ней есть люди молодые и люди старые, вот и все. Так, видимо, смотрит на дѣло и Кравченко: есть “мы” и есть “старыки”. А если так, вывод ясен: дорогу молодым; вести будем “мы”.

Кто же эти мы? “Самые активные и самые боеспособные”, “власовцы”. И выходит, что самые лучшіе в первом разрядѣ, признающем единый фронт, — для г. Мельникова *власовцы*, входящіе в АЦОДНР. А самые худшіе, отнесенные в послѣднюю категорію сепаратных теченій (дальше остаются только анархисты и антирусскіе “прометеевцы”) члены САФ’а, т. е. тоже *власовцы*, только отколовшіеся и отпавшіе в “союз андреевскаго флага”.

Возглавленіе АЦОДНР начинает с утвержденія: “первая обязанность — *свято* блюсти основные завѣты Андрея Андреевича Власова”. Это может быть “свято” только для власовцев. На этом объединить *всѣх* нельзя.

Отсюда невѣрная оцѣнка *удѣльнаго вѣса* различных групп и теченій. Тѣ, у кого есть свои *органы печати*, будь то “Русская Мысль”, или “Часовой”, или “Народная Правда”, или “Посѣв”, имѣют огромныя преимущества: у них гораздо больше шансов стать, дѣйствительно, “общим адресом” русской эмиграціи, — адресом и для иностранцев и для подсоветской Россіи... Чтобы стать таким адресом, — раз нѣтъ объединяющих “имен”, надо органам печати выдвинуть вѣрные, объединяющіе лозунги и умѣть, в борьбѣ, их отстаивать.

В одном отдадим должное “власовцам” — редакторам Бюллетеня: в них жива патриотическая тревога за Россію. Они выдвигают формулу “освободительная революція”, рѣзко отвергают для себя постыдную роль “простых наемников иностранных сил”, Говорят и о живом “національном комплексѣ Россіи”; но, учитывая острогу споров *внутри* “содружества многих народов, проживающих на просторах російскаго государства” (формула А. В. Байкалова), они не вводят національнаго вопроса в число тѣх “баз”, на которых должна быть построена теперь же, за рубежом, Вавилонская башня все-эмигрантскаго объединенія. Правильно ли это? Можно допустить любой широты формулу “россійскаго федерализма”, но нельзя оставить все на волю случая: куда кривая вывезет *потом* и как скажут *мстныя* “Прометей”... Сговор необходим *теперь*.

Интересы тѣх же малых народов Россіи, в нее входивших, требуют сохраненія над ними единой крыши на случай дождя. Этого требуют и интересы идейной борьбы с Советами: если одни большевики будут отстаивать единство бывшей Россіи, а мы выступим как люди допускающіе ея расчлененіе и распад, тогда слишком сильныя козыри перейдут в советскія руки.

АЦОДНР (NB: мало-удобное для объединенія названіе!) пред-

лагает объединиться на двух базах: во-первых, “анти-коммунизм”, — (да, конечно), во-вторых, “демократизм” — (да, понятно). Но гдѣ же *третій и главный “кип”*, — гдѣ Россія? Уступить *большевикам* позицію великой державы, а самим строить анти-советскій блок с полным умолчаніем о Россіи, — нельзя; это *ошибка*.

СКОНЧАЛСЯ Е. В. САБЛИН.

Очень немного упѣлѣло в русской эмиграціи имен, которыя сами по себѣ служили бы уже “русским политическим адресом”: и для иностранцев, и для соотечественников.

Легче всего сходятся и русскіе, и в особенности иностранцы, на именах русских *дипломатов*. Эти люди были *призваны*, уже своею профессіей, *представлять Россію* перед другими державами. Работа их протекала в тайнѣ и оставалась скрытой; значит, имѣть дѣло с ними — не рисковать преждевременною оглаской. Их положеніе всегда обязывало к объективности, — вѣдь они представляли не ту или иную партію, не тѣ или иные интересы, а родину. Наконец, иностранныя правительства, иностранная печать и общественное мнѣніе просто привыкают к таким именам: N. N. уже представлял Россію и представлял с достоинством; к кому же обратиться, кого спросить о Россіи, с кѣм посоветоваться, — как не с ним?

Если не ошибаемся, в живых остались у нас из видных дипломатов царскаго времени, в преклонном возрастѣ, — Н. Н. Шебеко и В. Н. Штрандтман; а из дипломатов, представлявших за-границей Временное Правительство, В. А. Маклаков во Франціи и Б. А. Бахметев в Соед. Штатах.

Скончавшійся в Лондонѣ Е. В. Саблин пользовался исключительной популярностью, и в дипломатических кругах и в русской колоніи. Основатель и предсѣдатель Русскаго Дома в Лондонѣ, человекъ рѣдкой обаятельности, привѣтливый, свѣтскій, серьезный, — он сочетал в себѣ одаренность — и положительность, вѣрность Россіи — и чутье к современности, такт — и смѣлость.

С первых же шагов его дипломатической дѣятельности Саблину сопутствовала удача. Всего через нѣсколько лѣтъ послѣ окончанія лицей, попав секретарем в Персію, он случайно остался как-то в Тегеранѣ, в жару, один (старшіе поразѣхались) — и как раз возник дипломатическій инцидент. Саблин не растерялся, сдѣлал всѣ нужныя заявленія и проявил столько достоинства, мужества и спокойствія, что на докладѣ министра иностранных дѣл Государь сдѣлал тогда же отмѣтку: “Саблин — *молодчина!*”

Так, это — “молодчина Саблин” — укрѣпилось за ним на всю жизнь. А теперь, когда его уже нѣтъ, многіе русскіе люди со вздохом скажут: — “Хорошій был человекъ”.

80-ЛѢТІЕ В. А. МАКЛАКОВА.

21 мая этого года исполнилось 80 лѣтъ Василю Алексѣевичу Маклакову. От всяких “чествованій” Маклаков рѣшительно отказался. Его юбилей будет ознаменован только изданіем — вѣроятно, к осени —

небольшого сборника лучших его рѣчей, сказанных когда-то в старой Россіи (в судѣ, в Гос. Думѣ, в литературных обществах) — и двух-трех политических статей. Таким образом, мы же, читатели, получим от юбиляра “цѣнный подарок”. — Блестящее предисловіе к сборнику уже написано М. А. Алдановым.

Кружком друзей и почитателей В. А. Маклакова ему прислан адрес, собравшій во Франціи, Америкѣ и других странах русскаго разсѣянія множество подписей. Вот его текст.

Дорогой Василій Алексѣевичъ,

Въ день Вашего 80-лѣтія, мы, русскіе изгнанники, разсѣянные по всему міру, приносимъ Вамъ пожеланія силъ и здоровья еще на долгіе годы.

Въ старой Россіи, съ трибуны Государственной Думы, въ русскомъ Судѣ, въ русской печати, Вы не только блистали яркимъ разнообразіемъ Вашихъ дарованій и всѣмъ богатствомъ русской культуры, — Васъ не только одушевлялъ стремительный порывъ къ свободѣ, — но Вамъ всегда свойственны были черты, крайне рѣдко встрѣчающіяся въ такомъ сочетаніи: исканность къ малѣйшему нѣсправедливости, чутнарушенію правъ чело-вѣка и гражданина, врожденное отвращеніе къ фальши, широкій взглядъ на вещи, глубокая тревога за Россію, стремленіе примирять враждующихъ и личное обаятельное благородство.

Вотъ почему, уже давно, на имени Маклакова, свѣтломъ, громкомъ, безспорномъ имени, сходились русскіе люди самыхъ различныхъ толковъ и настроеній.

Эта объединяющая роль арбитра русской общественности еще прочнѣе укрѣпилась за Вами, — она какъ бы приросла къ Вамъ, — въ эмиграціи. Къ Вамъ тянутся, на Васъ сходятся многочисленныя русскія нити. И къ Вашему голосу, одному изъ немногихъ, съ уваженіемъ прислушиваются иностранцы.



Адрес заканчивается словами:

Изю дня въ день несете Вы на себѣ хлопотливый трудъ безсмѣннаго опекуна надъ русскими бѣженцами. Но для всѣхъ насъ Вы гораздо больше, чѣмъ «Директоръ Русскаго Оффиса въ Парижѣ». Для насъ Вы остаетесь и теперь, какъ были всю Вашу жизнь, защитникомъ русской свободы, величія русскаго государства и правъ русскаго человѣка.

Примите нашу глубокую благодарность.»

Издательство и редакция "Возрожденія" приносят В. А. Маклажову свои поздравленія".

НОТАБЕНЫ

6. О СМЫСЛѢ ЦѢЛОМУДРІЯ

Имѣют свою судьбу не только книги, но и слова. Есть слова еще только ползающія на четвереньках, есть и — умирающія. Язык умирает в 1000 лѣт. Язык Пушкина на 10 процентов умер. Другія слова выживают, мѣняя смысл. Тогда интересно смыть наслоения открыть первоначальную «фраску» слова. Так напримѣр, цѣломудріе в старину означало прежде всего цѣльность, цѣлокупность сознанія. Ее цѣнили, как зѣницу ока. Трещина в сознаніи считалась катастрофой. Об этом как раз и говорит молитва «дух же цѣломудрїя, смиренномудрїя ... даждь ми». «Прелюбодѣйный» смысл был сюда привнесен позднѣе.

Претендующим на «учительство жизни» являть зрѣлище со-блазна, сближенія с насильниками («сжег все, чему поклонялся») — не подобает, это непристойно в отношеніи самого себя и окружающей среды». Приличіе тут в том, чтобы сжегшій хотя бы «поклонился всему, что сжигал». И ежели иной іерарх философіи вздумает снабжать тюремщиков доводами против свободы и будет ими за это чествуем, это будет недостойно его самого, и тѣ, сердца коих болѣзненно сожмутся, обнаружат только любовь к подлинному и грусть к «слишком человѣческому».

7. НИ БОГУ СВѢЧКА...

В недавней статьѣ о Блокѣ («Рус. Мысль») И. Тхоржевскій привел замѣчательныя слова Тургенева о том, что творчество писателя должно прежде всего соответствовать его жизни. Вот, в двух словах, и вся тема! Когда нѣсколько десятков книг «Пути» ведут в Эммаус, а заводят на площадь Мальзерб («сорных трав») — в совѣтское консульство, и впрямь кажется пророческой народная мудрость: «кто в два берда (трацких гребня) бьет, в том пути не живет». Предложеніе обезсмыслить изгнаніе, помириться на том, что мы проищачили жизнь, и только, — успѣха не имѣло.

Но вот что важно: незадолго до смерти Бердяев повернул вспять. Буквально по Далю: «бердить — отставать от дѣла, узнав его трудность» (I. 311). В доказательство я дал цѣнную выписку из его письма (впервые по-русски) к одному его почитателю (см. «Возрожд», № 2). И вот это Г. Адамович в своей газетѣ (13 мая) называет «непристойной замѣткой». Почему? Почему нельзя среди семи Бердяевых выбрать себѣ по вкусу одного, основного? Потому, что для совѣтской газетки невесело узнать, что их Бердяев оказался вовсе не их!

8. ВЕКСЕЛЯ БЕЗ ПОКРЫТІЯ

Нѣкое духовное неблагополучіе сам Бердяев в себѣ уже давно ощутил. Он даже пытался написать путеводитель по самому себѣ. В предисловіи к «О рабствѣ» (1939), озаглавленном: «о противорѣчїях в моей мысли», он говорит о «кризисах и самоотрицанїи» в нем, о том, что «по активности и воинственности (?) моего характера, я періодически во многое вмѣшивался и это меня мучило, вызывая разочарованїя»... И что хотя «личность есть неизмѣнность в измѣненїи», но когда «любовь к свободѣ замѣняется любовью к рабству и насилию, — происходит измѣна».

Почему об этом нельзя спорить? Почему «не касаясь вопросов»? Откуда табу и вето? С каких пор? На этом шахматном полѣ я засыплю Адамовича, если нужно, цитатами из святых отцов интеллигенціи, с головой. Что за жандармскїя покрякиванїя? Что за чинопочитаніе?

«Так писали в «Земщинѣ» о Толстом», намекает Адамович. Прежде всего, Бердяев не Толстой. Жизнь Толстого ясна, пряма, свои векселя он покрыл. Он «ушел». Бердяев же дальше своего крыльца не уходил. Как писали в «Земщинѣ» сорок лѣтъ тому назад, не упомяну, а вот как газетка Адамовича отозвалась о Толстом этой осенью, помню хорошо, как предѣлы непристойности! Толстой, мол-де, каждую ночь высовывается из портрета на фермѣ своей дочери и кричит «не могу молчать», от негодованїя, что Александра Львовна прїютила пытавшуюся укрыться у нея от гешеу Косьенкину. Кстати, не кончается ли как раз «Не могу молчать» словами: вы можете разстрѣлять тысячи народу, но не заставите его думать, как вы хотите?

Да, да, конечно, мы уже не тѣ. Мы уже не скажем «пригонит нужда к поганой лужѣ», а наоборот, «если хочешь, пойдѣ согрѣши». С высот страданїя откылись дали, многїй прах отрясли. Однако есть и кое-какой опыт, даже двухтысячелѣтній...

«Когда нечистый дух выйдет из человѣка», то ходит по безводным мѣстам, ища покоя, и не находя, говорит: *возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришедши, находит его выметенным и убранным. Тогда идет, и берет с собою семь других духов, злѣйших себя, и вошедши, живут там. И бывает для человѣка того послѣднее хуже перваго*» (от Луки).

Не хотѣлось теревить рану, касаться темы, на фонѣ которой испепелена была наша жизнь. Но Г. Адамович помянул о моей непристойности. Поговорим, стало быть, теперь об его пристойностях...

9. ПОЧТИ ПРЕСТУПЛЕНІЕ

«Неважно, что говорят, важно, как проговариваются». И еще важнѣе, о чем умалчивают. Так, «Чичиковскїя Новости», орган нехристїанскаго синдиката, пытающагося торговать мертвыми эмигрантскими душами, за все время, что мы имѣли неудовольствїе

его читать, ни разу не рискнул и заикнуться о судьбѣ смѣновѣховцев. Говорить ю веревкѣ повѣшеннаго не принято, особенно въ домѣ новаго сердитаго барина. Глухарям медвѣдь на ухо наступил. Гдѣ брат твой Авель? Мовчат, бо надѣются (о, недотепы!) на благоденствіе. Гдѣ Слащев, Савинков, Неандер, Устрялов, Ключников, Лукьянов, Бобрищев-Пушкин, Святополк-Мирскій, Цвѣтаева?.. И заглушаютъ собственную тайную жуть страшнымъ гуломъ и звѣрскимъ нажимомъ на правую педаль.

Г. В. Адамович, единственный страдивариусъ в осенних скрипкахъ (точнѣе, осенних скребкахъ) румынскаго оркѣстра «Чичиковскихъ Новостей», перевоплотившись, срочно заявилъ: «если движеніе направлено къ справедливости и равенству, то тысячу тысячъ раз, *любой цѣной*, да будетъ то, что будетъ» («Русскій Сборникъ»).

Позвольте, товарищ, какое же тутъ можетъ быть «если»? Разъ «если», значитъ вы не увѣрены, что «движеніе кончится добромъ»? Тэк-с, тэк-с... А если нѣтъ? А если это «если» — только ступень, чтобы провалиться в челоуѣческую мясорубку? Тогда миллионъ разъ нѣтъ?

Не тотъ ли, кстати, это Адамович, который писалъ, что «въ большевизмѣ обезображена мечта о справедливости»? («Посл. Нов.», № 6214). И что «отвѣтить да, не убѣдившись в полной невозможности дать иной отвѣтъ, не отмѣривъ съ легкимъ сердцемъ, съ допустимостью риска, и значитъ, ошибки, — было бы почти преступленіемъ»? («Встрѣчи», № 1).

10. ОТ ЕГОРІЯ ЧТЕНІЕ

И не тотъ ли это Георгій Адамович, который четверть вѣка занимался антисовѣтской пропагандой, считалъ, на примѣръ, что «тьма, надвинувшаяся на Россію» и «татары» — «вѣрный и живой символъ Совѣтовъ»? («Совр. Зап.»). Что «надо» было бы намъ здѣсь для пользы и нуждъ Россіи заняться популяризацией антимакинизма, показать несостоятельность его предъ лицомъ современной науки», что «если нужны в Россіи книги, то тѣ, в которыхъ неопровержимо будетъ вскрыта ошибочность макинизма» («Посл. Нов.», № 3487), ибо «никогда, в самыя мракобѣсныя времена, в самыхъ позорныхъ листкахъ, не проповѣдывалось что-либо подобное» («Посл. Нов.», № 3466)?

Но вынче почти преступный перелетъ нашъ, съ перепугу, широкимъ жестомъ загулявшаго купца, «разрываетъ счетъ крови совѣтской власти» (!) и щедро швыряется миллионѣчи жизней. Ученые демографы и статистики, проф. Анцыферовъ, Мигулинъ (и, помнится, А. Марковъ?) считали общую убыль населенія Россіи, в результатѣ «интереснаго опыта» в 40 миллионѣвъ душъ. Правда, выведено 300 новыхъ породъ мухъ, с голубыми и розовыми глазами, хотя в мухахъ у насъ никогда нехватки не было...

11. ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ

Тов. Адамович провел четверть вѣка в эмиграціи и этим, вѣроятно, удвоил себѣ жизнь. Похоже, что он, по-тургеневски, «чувствует уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской». Никак нельзя сказать, чтоб он страдал отсутствіем чувства благодарности к пріютившей его странѣ. Напротив, он желает ей всяческих благ.

А именно (вниманіе!) —

«Я не только (заявляет он в «Autre Patrie». стр. 243) принимаю коммунизм как нѣчто неизбежное, но даже

привѣтствую и зову его,

...ибо нѣтъ другого способа осуществить социальную справедливость». Поэтому он «абсолютно согласен с совѣтскими патріотами». В новой эпохѣ, видите ли, «может быть даже еще больше будет чудес и оборотов» (судя по взрыванію их, вряд ли!). Еже писах, — писах. Это важный момент, отмѣчаемый у католиков колокольчиками... Venite, adoremus!

Читал о новом достиженіи совѣтской науки. Введенная в стекловидный раствор «карбонид» и вынутая из него роза, сохраняется годами, как живая. Опустим же в него бережно и медвяную словесную розу (скорѣе туберозу...) тов. Адамовича.

12. К ТИПОЛОГИИ АКТИВА

Люди без масок не захотѣли быть вмѣстѣ с людьми в масках. Этим, нацупавшим новую заповѣдь, пришлось (из парижского союза писателей и журналистов) уйти шеренгой, под водительством унтера Адамовича. Куда? «Только на государственной службѣ познаешь истину», «простую, как мычаніе» —

«Эччеленца, прикажите,
Аппетит наш не велик,
Лишь заданье дадите,
Все исполним в тот же миг» (Маяковскій)

Уходя, тов. Адамович о честности высокой говорил, о новых горизонтах (алеутских?) подлинной свободы, которая состоит (кенст ду дас ланд, во ди наганен блюэн?) — в отказѣ от нея... Молде и Платон... С отказом от свободы тут вышел разнобоек с газетным генералом Михайловым (замѣнившим разстрѣляннаго проф. С. Лукьянова на посту редактора «Journal de Moscou»). Этот, в залѣ Ена доказывал, что в Совѣтландіи куда большая свобода, чѣм на Западѣ. Позднѣе, один из поэтов «Чич. Нов.» (Адамович отмѣтил «точность его образов») грустно обронил —

«В ошейникъ иль старом шиджакѣ,
(не все ль равно?) мы вышли на дорогу».

Как все равно? По наблюдениям старожилов, пріятіе совѣтскаго ошейника магически омолаживает эмигрантскіе пиджаки...

13. СВОБОДА В ГУСИНОЙ КОЖѢ

Орбита кающихся бѣлобандитов изучена. Данс макабр начинается с призыва к соборному подвигу и от шечки Платона. Но сейчас же оказывается, что мы в Сартръ, в свободном избраніи зла. Уточняя еще, — в Шигалевъ, «отправляясь от безграничной свободы, доходим до безграничнаго рабства». Вообще, без свободы выбора, вся философская постройка, — любая — разваливается. «Тварь дрожащая, или право имѣю?». Спиноза, Кант особо подчеркивали отсутствіе страха принужденія. «Иди, куда влечет тебя свободный ум». А какой же свободный ум, когда гусиная кожа?

Поддѣльный совѣтскій человекъ выбираетъ опричнину. Савинков тоже выбрал ее. Его выбросили из 5-го этажа. Настоящій совѣтскій человекъ (М. Коряков) избрал «даже не свободу, а нѣчто гораздо большее — долг». Что, кстати, думаетъ Адамовичъ о Косьенкиной, выбравшей прыжокъ с 3-го этажа (стѣна Бесѣдовскаго была только двух-этажной) — из царства необходимости в царство свободы?

14. КУПИТЕ БУБЛИЧКИ

Кто-то хорошо сказал, что свободу можно подарить только Богу. Увы, такіе подарки нынче рѣдки. Чаще продаютъ разное бѣженское барахло 19-го вѣка, вроде достоинства, совѣсти, чести и прочей чепухенціи для старушенцій, вмѣстѣ со старомоднымъ цилиндромъ «нравственно-сторожевой службы». Хотя и тут предложеніе превышаетъ спрос.

Какъ разъ тѣнь Платона-то лучше было бы не тревожить! Отправившись на службу к сиракузскому тирану Діонисію, онъ едва не былъ проданъ въ рабство и еле унесъ ноги. Куда умѣстилось было бы вспомнить Аристотеля, слова его о томъ, что человекъ есть политическое животное... В орбитѣ перелета всегда трехтактный ритм. От отталкиванія от сѣрой данности, через нѣкую неизмѣнную «даденность», в лоно заданности темы и ея трактовки (напр. акафиста Грозному). Такъ что, товарищъ, с Платономъ вамъ бы полтономъ ниже. Пишется Платонъ, а выговаривается охранка...

О, бѣлая мечта! Она была мечтой поэта... Ее, несчастную, ты пожалѣй...

15. ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ

Однако Платонъ упомянутъ не зря. Наши неоплатоники не вульгарно-гѣлесно (упаси Богъ) любятъ родину, а какъ рыбы, безъ физическаго контакта, на разстояніи (отсюда тяготѣніе ихъ къ гренельской

икрѣ...), словом, платонически. «Они не любят родину, а любят любить ее». Платон-то им друг, но еще большая подруга — советская «Правда», запиваемая, и в этом горячая точка платоновской идеи, парящей в воздухѣ, — именно монпарнасским пивом..

16. В ДВѢНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПО НОЧАМ

...выползает «чудасія». Казалось бы «вѣчное разставаніе», «иди, душа, во ад и буди вѣчно плѣнна»? Чорта с два! Уже намѣчается стратегическое отступление. Будучи «абсолютно согласен с советскими патриотами», Адамович «с абсолютной точностью, не колеблясь ни секунды, не может присоединиться к здоровым эмоціям побѣды Россіи». Его абсолютность вѣсом с пером... Он за побѣдоносный коммунизм, но иностранный... Grattez le russe vous trouverez un tartare...

Не всегда, иногда Тартарена. Сикстинскую Мадонну социальной справедливости Адамович просит не отказать принять искреннія увѣренія в глубоком уваженіи и преданности. Поет ей серенады на испанскій манер, через желѣзную рѣшетку. Однако предпочитает от сей лютой тигры держаться подальше. Лично себѣ он намѣтил тихій уголок на родинѣ Мистрала, «в южной части долины Рюны» (но не Лены!), может быть Тараскон?, гдѣ и собирается, покачиваясь на гамакѣ (но не на фонарѣ!) наблюдать в бинокль социальные передраги.

Видимо это и есть тот искус самоотреченія, подвиг самопожертвованія («во имя того, что послѣ»), коему оч не так уж давно нас учил. Это, конечно, lache, говорит он, (т. е. в самом мягком переводѣ — трусливо), но «послѣ меня хоть потоп». Буржуазный космополит. С живѣйшим любопытством будем мы слѣдить за дальнѣйшим рядом волшебных измѣненій милого лица нѣкоторых полунощных, полупочтенных полупатриотов в красной полумаскѣ.

17. ВОВА РАЗЛОЖИЛСЯ

Между прочим, Адамович сознается, что «не побѣдет, даже если пустят». Якобы потому, что ему не по нутру все возрастающій дома націонализм. А давно уже его «подташнивало от катковолонтерских настроеній». На самом дѣлѣ, думается, потому, что в социальном пафосѣ наш бѣлоручка смыслит столько, сколько «ухвертка в падающих звѣздах».

Нѣтъ, скажут ему трудящіеся массы. Это увовсе не в доску свой шарень, а хворменный регенат прямо на ять, извращающій партійный лозгун и к тому же, сгусяводист! Послѣ чего он будет подвергнут оргвыводу и пентотальному уколу. Ему откатегорятуюсю его тарасконскую систему. Он признает себя лѣвоуклонщиком, правозагибщиком, троцкистом, махистом, хвостистом, люксембургянцем, цѣпным псом германскаго капитализма и пожирателем жи-

вых младенцев. Дѣло будет направлено к депортации, дефенестрації и, вообще, — гумилевизации.

Но как раз в этом пунктѣ Адамович, все-таки, расходится с Платоном, учившим, что естественная судьба мудреца в челоуѣ-ческом обществѣ — быть убитым. Этот номер его лично не устраивает... «Ну и комики же, прости Господи, эти эмигранты!» повторял добродушно парижскій эччеленца. Адамович тут даже «рѣшительно остается апатридом».

А потому легче поймать намыленного поросенка, чѣм заманить нашего провансальца на гар дю Нор. От одного вида этого грозно-свинцового массива, возникающаго на сѣверѣ Парижа, у г. г. вампукмейстеров сосет под ложечкой. Они, суевѣрно крестясь в карманѣ, объѣзжают этот квартал в подзѣмкѣ.

18. ЭЧЧЕЛЕНЦА, ПРИКАЖИТЕ!

Упакуйте! Погрузите! Да присмотрите, как бы, подобно пришвинским ракам, что шептались в корзинѣ перед смертью, товарищи, вмѣстѣ связанные хвостами, не нашли дырки и не уподзли до границы. По Платону-то у них три души. Выясните, которую именно они ангажировали. Не оставили ли, про запас, виѣшпартійную-второпатрійную?

19. ФОТОМАТОН

Автопортрет Г. В. Адамовича во «Второй родинѣ» — со странными наплывами. Зовет коммуны, но не Россію. А сам норовит задать стрекача. Идентита эта довѣрія не внушает.

Оставь надежду навсегда,

Портрет уж твой совѣм без сходства.

«Нельзя ѣхать с грузом прошлаго на плечах» (пьянино вывезти можно) сказал эччеленца. А сбросил ли с себя Адамович ветхаго Адама? Впрочем, чего там ѣхать, когда счастье грядущих поколѣній так близко, так возможно! И что ючень удобно, пріѣдет само. Оно діалектически вылушится, увѣряют нас, из несчастья сущих поколѣваній. Фонарь, что против подѣзда упомянутаго товарища, начинает пріобрѣтать, в вечерних сумерках, особо вѣ-щую рельефность.

20. ТРАВА ЗАБВЕНІЯ

Но он все же старается. «Безсмысленно тосковать о прошлом» («Рус. Сборн.»). А вот Устрялов, глава смѣновѣховцев (тогда еще не разстрѣлянный) писал — «мы не забываем дорогих могил». А Пришвин так вспоминает чеховское время — «давным давно это было, но быльем еще не поросло, и я не дам порости, пока сам буду жив». Учитесь, г. г. старатели, достоинству и не только отѣнку, но и подлинному благородству таких строк.

По Бергсону мы только из прошлаго, непрерывно нарастающаго, и состоим. «На могилѣ выросла трава забвенія. Но приходит

верблюд и съѣдает ее» (арабская пословица). Поэзію травы, не только сорной (забвенія), но и цвѣтущей (памяти) — он загоняет в кишки. На то он и верблюд.

21. ЛАЗЕЙКА В НЕБО

Самое замѣчательное, что тов. Адамович-Отступницік (который еще недавно божился, что святые туманы, с их небесными раками и невѣстами агнца, ему абсолютно чужды), собирается, как ни в чем не бывало, шоставить по секрету, на всякій случай, еще на одну карту — засѣсть, в итогѣ дней своих, совсѣм уж по «Бѣсам», у ног Христа! Тут у разбойника благочестиваго (тарасковскаго распѣва) пол страницы многоточій. «Вмѣсто строчек только точки. догадайся, мол, сама».

Вряд ли, думается, ждет его на том свѣтѣ любезный пріем. Начать с того, что встрѣтится он у подножья с Мережковским. Не подаст ему старик даже мизинца. Это, конечно, не важно и понятно. Ибо, по Бердяеву, Мережковскій «лишен моральнаго чувства» («Рус. ид.»). А за плохое поведение и сам Адамович разжаловал его из гениальных шровидцев в «пустого и сухого, поддѣльнаго большого писателя».

22. ВОВА СМАТЫВАЕТ УДОЧКУ

Наш звукоподражатель — на всѣ руки. В примилоковских «Новостях» — писал одно. В приступнищком хилом эрзатцѣ — другое, вспомнил, что по святцам, Адам — «красный муж» (января 14-го). В своей французской кнѣгѣ — сразу третье и четвертое. Раньше это называлось — и нашим, и вашим. Нынче — многогранным плюрализмом и веригами лжи. Не папильон ли?

Во всяком случаѣ, он роняет нѣсколько меланхолических медитаций о... долгѣ писательской правды, которая «с годами превращается в потребность» (бывают случаи, что и раньше?)... Кстати, не тот ли это Адамович, который писал, что «едва ли не самая главная заслуга в Совѣтской Россіи — это ложь»? («Посл. Нов.» № 6360).

Адамович загадочно спрашивает себя: «не предал ли я то, чего не хочу предавать, не оказался ли в союзѣ с тѣм именно, что мнѣ ненавистно и враждебно?». Не ломайте голову, товарищ. — оказались! Измѣнили и Пушкину и Достоевскому, т. е. — Россіи. И вы это прекрасно знаете. Потому-то вы и дѣлаете намек «с волками жить...» Не собирается ли наш блудный волчок (как его ни корми...) переизбрать свободу? Говорят, Бунин давно написал ему: «не ходи по кособору, — сапоги стопчешь!». Так оно и вышло. Сапоги сношены до дыр. Возвращаться на Запад придется с позором — босиком.

23. ФИЛЬМ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Однако, не слишком ли много об Адамовичѣ? Он был когда-то умен и тонок, хотя и кончил «карикатурой на самого себя». Но все же не заслуживает барабаннаго бѣя. Но дѣло вовсе не в Адамовичѣ, а в перекрывающей его темѣ. Об устрично-овечьемъ духѣ, о «баранизаціи» и «капорализаціи» мозгов...

«Быстры, как волны»... «подобны тѣни» мелькающіе дни. Тѣни прохожих... Лента кончается. Все прошло, «как бѣлый яблонь дым». Еще нѣсколько поворотов, и... Говорят, что тут-то и посѣщает человѣка панорамическое узрѣніе жизни, ея иллюзіи, ея черныхъ проваловъ и голубыхъ взлетов. Если не в хлѣбѣ, то в зрѣлищахъ судьба намъ не отказала.

Не раз писалось о тысячелѣтнихъ циклахъ. Быть можетъ фильмъ русской исторіи раскручивается в обратномъ порядкѣ? От петербургской имперіи, черезъ монгольское иго (с «моторизованнымъ Атиллоу»), черезъ варяговъ, къ крещенію Руси? Быть можетъ, послѣ прописанія намъ атомической ижицы, придется начинать с азовъ, с Адама? Утопив в Днѣпрѣ Чернобога, по мечтѣ Розанова «лѣпить русскую свѣчку в мірѣ из остатковъ русскаго сальца»?

Увы, даже не с Адама, который все же вѣрил в древо познанія добра и зла, но только с адамовичей, къ нему постыдно равнодушныхъ и даже, в случаѣ чего, избирающихъ именно второе.

24. ВЫВОДЫ?

«Лучше безъ нихъ. Иначе невольнo уйдешь в общія размышленія о человѣкѣ и о томъ, во что превращается онъ подъ прессомъ исторіи и подъ разными другими прессами» (Адамовичъ, «Посл. Нов.», № 6200).

25. ПРЕСТУПНИЦКАЯ ТРОПА

Ступникъ — битая, торная тропа в лѣсу» (Даль)

Ступа — «ловушка на глухарей; в верхней части ея устраивается фальшивая точка опоры, сѣвши на которую, птица проваливается внутрь» (Брокгаузъ и Эфронъ)

Ступняки — «разрядъ животныхъ, подобныхъ медвѣдю, ходящихъ на цыпочкахъ» (Даль)

Таковой способъ передвиженія тов. поводырей и слѣдопытовъ весьма разумен. Сами вампукмейстеры-дебруярары, медвѣжьихъ услугъ мастера, понятно, ни в какую ступу попадать не склонны. Полакомиться медкомъ «можно, можно, даже должно!», но при малѣйшемъ шорохѣ — шарахнуться в кусты. «Блаженъ рабъ, его же обрящутъ бдяща».

Понится, мы начали с того, что один мудрец (пріятель Платона) сказал, что не провѣрить семь раз свое «да» (новой ступени сознанія и порядку бытія) — почти преступленіе». Это! «почти» рискует и вовсе отвалиться, если рѣчь идет о совѣтѣ другому. Самая лучшая провѣрка совѣта — примѣрка на самом себѣ. И семикратная!

Однако, особенно-то примѣрять арестантскій халат не позволяют. Изящнее, мол, кокетство. А о саванѣ и говорить нечего. Все-таки ревизская душа подумывает — тропа-то хороша, а вот, как бы не оступиться...

Всякій пузырь взъскует шила. Большіе люди всегда были протыкателями пузырей исторіи. И мы, простые смертные, и в маленьких исторіях должны им посильно помогать.

Ибо, хотя бы мы и жили не только под подвѣшенной над головами, на паутинкѣ, атомной бомбой, но и под качающейся сѣкирой-серпом, как у Эдгара По, — все же неугасимой голубой лампадкѣ русской правды послѣдній вздох.

26. ШАГИ КОМАНДОРА

Счастье: е грядущих поколѣній не за горами. Все же, созерцать его надо с достоинством. Не то червячок «эндшипля» тихой пристани на землѣ отцов, окажется фальшивой мушкой с целлюлоидовыми крылышками и свирѣпѣйшим крючком. Ибо, по французской поговоркѣ, «еще не было, и не будет, чтобы мышь свила гнѣздо себѣ в ухѣ кота».

Англійскій журналист прощался с геніалиссимусом.

— Напишу все только хорошее о вашей чудной странѣ.

— Почему же только хорошее? Напишите и о плохом. У нас много и плохого.

Увы, я только «странник, играющій под сурдинку». Но, вот, с высочайшаго разрѣшенія — нѣчто и о плохом. Плохо не то, что глухари ѣдут, а то, что ступняки, потирая руки, остаются.

М. Веселитскій

ОПЕЧАТКА:

Напечатанные во второй тетради «Возрожденія» стихи «Воспоминаніе» принадлежат графинѣ Елизаветѣ (не Еленѣ) Шуваловой.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОЗРОЖДЕНИЕ“

73, Av. des Champs Elysées, Paris 8e, 2-ой этажъ.
Тел.: ELYsées 06-03. Compte ch. Postaux, Paris 781-81.

Гурко. Царь и Царица (Опыт характеристики)	0.60
Ген. Данилов. Великий князь Николай Николаевич, его жизнь и дѣятельность	2,—
Ген. Данилов. То-же, номерованн. экз. на роскошной бумагѣ	4,—
Ген. Доманевскій. Мировая война. (Кампанія 1914 г. Достиженія строн за первый мѣсяц кампаніи, август)	1,—
Зайцев. Тишина (роман)	1.50
Дѣло Бориса Коверды	0.40
Коровин. Шалаяпин. (Встрѣчи и совмѣстная жизнь)	2.—
Корчемный. Человѣкъ с гераніем	0.60
Крчковскій. Избранные рассказы	0.60
Лоло. Пыль Москвы (Лирика и сатира)	1.—
Лукаш. Дворцовые гренадеры	0.60
Лукаш. Бѣдная любовь Мусоргскаго, роман	1.—
Мережковскій. Мессія (роман в двух томах)	1.20
Масловскій. Мировая война на Кавказском фронтѣ	2.—
Муратов. Магическіе рассказы	0.60
Муратов. Герои и героини	0.60
Нестерович-Берг. В борьбѣ с большевиками (Воспоминанія)	0.80
Плещеев. Что вспомнилось (за пятьдесят лѣтъ). Театр. воспоминанія	1.50
Половцев. Дни затменія. Воспоминанія Главнокомандующаго войсками Петроградскаго военнаго округа	0.60
Попов. Храм Славы (Подвиги русских войск) 2 тома, с иллюстраціями	2.—
Суворин. Фазан (Роман без любви)	0.60
Тхоржевскій. Русская литература. (2-ое изданіе готовится к печати)	
Чириков. Между небом и землей	0.60
Шмелев. Пути небесные. 2-ое изданіе. 2 тома	5.—
Шмелев. Степное чудо	0.40
Яблоновскій. Дѣти улицы (повѣсть)	0.60

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙТЕ

„Часовой“

Орган связи Россійскаго Национальнаго Движенія
под редакціей В. В. ОРБХОВА.

Цѣна отд. номера во Франціи — 40 фр. Подписка на количество не менѣе 3 номеров исходя из расчета 35 фр. номер.

Главная контора: « La Sentinelle », Boite Postale 31, Ixelles
4. Bruxelles, Compte-chèques 392503.

Генеральное Представительство во Франціи:
Librairie « LA RENAISSANCE », 73, Av. des Champs-Elysées,
Paris (8^e).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЯ ТЕТРАДИ
„ВОЗРОЖДЕНІЕ“

РЕДАКЦІЯ, КОНТОРА, ПОДПИСКА И ПРОДАЖА
ОТДѢЛЬНЫХ НОМЕРОВ

Tél. Elysées 06-03. Compte Ch. Postaux, Paris 781.81.

ГODOВАЯ ПОДПИСКА НА 6 ТЕТРАДЕЙ ВО ФРАНЦИИ
750 фр.— Загр. Ам. дол. 5.— Отдѣльные номера во Фран-
ции 150 фр., загр. Ам. дол. 1.—

БЕЛЬГИЯ, ГОЛЛАНДИЯ И ЛЮКСЕМБУРГ

Год. подписка 180 Бельг. фр. Отд. номера 35 Бельг. фр.
«La Sentinelle», Boite Postale 31, Ixelles 4 Bruxelles.
Compte Chèques 392.503.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Год. подписка 1 Англ. ф. Отд. номера 4 шил.
Russian Book Shop, 26, Tottenham Street; London; W. 1.

ЗАПАДНЫЯ ЗОНЫ ГЕРМАНИИ.

Год. подписка 30 марок. Отд. номера 6 марок.
Georg Meyer.

С. А. С. Ш.

Годовая подписка Ам. дол. 5.— Отд. номера 1 Ам. дол.
Gregory A. Alexieff. 39 West 54 Street, New-York 19, N. Y.
Tel. Circle 75914
A. Beltchenko. 435-20, The Ave. San Francisco 21, Calif.

АРГЕНТИНА.

Годовая подписка Ам. дол. 5.— Отд. номера 1 Ам. дол.
D. Lasko, Calle 3590. Beazley. Buenos-Aires.